ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

АЛЬМАНАХ

ОДЕССКИЙ

23

ОДЕССА, 2005

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)''452.2''

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн. 23 Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь. — Одесса: "ВМВ", 2005. — 320 с.

ISBN 966-8099-99-0

Д $\frac{\textbf{4702640204}}{\textbf{2004}} + \frac{\textbf{0503020902}}{\textbf{2004}}$

Редактор Феликс Кохрихт
Редколлегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора)
Олег Губарь

Редакционный совет:
Виталий Амурский (Париж), Андрей Добролюбский, Игорь Коваль, Татьяна Липтуга, Григорий Поженян (Москва), Игорь Померанцев (Прага), Аркадий Львов (Нью-Йорк), Александр Мардань, Юрий Стоянов (Санкт-Петербург), Михаил Рашковецкий, Нелли Харченко (Берлин), Кармелла Цепколенко.
Фото:
Вячеслав Теняков, Иван Череватенко, Олег Владимирский.

Editor Felix Kokhrikht
Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar

Editorial council:
Vitaliy Amoursky (Paris), Andrey Dobrolyubskiy, Igor Koval, Tatyana Liptuga, Gregory Pogenyan (Moscow), Igor Pomerantsev (Prague), Arkadiy Lvov (New York), Alexander Mardan, Yuriy Stoyanov (St. Petersburg), Mikhail Rashkovetsky, Nelly Kharchenko (Berlin), Karmella Tsepkolenko.
Photos by:
Viacheslav Teniakov, Ivan Cherevatenko, Oleg Vladimirskiy

ISBN 966-8099-99-0
© Авторство художественных текстов, 2005

От редакции

Так уж заведено, что мы на исходе года подводим его итоги. Отмечаем, что же оставило в нашей жизни наиболее заметный след – радостный или печальный... Разумеется, у каждого – свои приоритеты. Члены редколлегии альманаха, как говорится, посовещавшись, определили для себя следующие события:

Шестидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне – пожалуй, последний круглый юбилей, который мы отметили с фронтовиками...

Столетие погромов 1905 года, в ходе которых впервые стало ясно, что и в таком солнечном, веселом, многонациональном городе, как Одесса, люди делятся на тех, кто способен растерзать младенцев, их матерей, бабушек, и тех, кто готов отдать жизнь для их защиты. К счастью, вторых больше...

Перезахоронение в возрожденном кафедральном Свято-Преображенском соборе праха губернатора Новороссии светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова и его супруги Елизаветы Ксаверьевны. Поразительное единство и взаимопонимание, проявленные при этом руководством города, области и одесситами разных возрастов, социального положения и вероисповедания...

Среди горестных утрат вспомним уход из жизни замечательного поэта, участника обороны Одессы, члена Редакционного совета нашего альманаха Григория Михайловича Поженяна, просвещенного мецената, истинного патриота Одессы Александра Ильича Павловского, блистательного художника Валентина Хруща...

Рождение тысяч маленьких одесситок и одесситов, которые, уверены, обязательно станут достойными горожанами, хорошими людьми...

Впервые в истории подобных изданий московский журнал "Октябрь" отдал целый номер литературе одного города – Одессы. Редколлегия с удовлетворением приняла к сведению заявление его главного редактора Ирины Барметовой о том, что при составлении спецвыпуска она отчетливо ощутила: альманах "Дерибасовская – Ришельевская" создал в городе высокую литературную ситуацию. Это тем более приятно еще и потому, что большинство авторов, отобранных взыскательным московским оком, давно нашли свое достойное место на наших страницах.

Будем и впредь дружить журналами и городами.

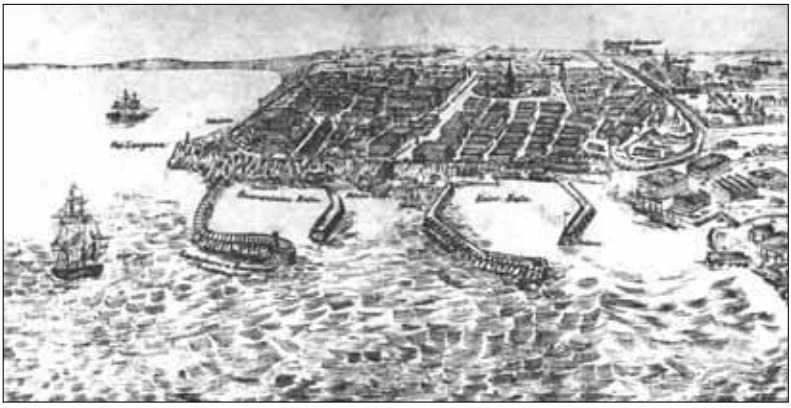
Увидимся в новом году!

Александр ТРЕТЬЯК

Система порто-франко в Одессе

Просуществовав с 1817 по 1858 год, порто-франко (в пер. с итальянского — *свободная гавань*) породило не только в Одессе, но и в самых разнообразных промышленных и торговых кругах, и даже на правительственном уровне тогдашней Российской империи прямо противоположные суждения относительно его политической и экономической целесообразности. Более того, до настоящего времени нет единого мнения среди ученых и экономистов-практиков, в каком качестве рассматривать историческую роль данного торгового режима для развития территорий Северного Причерноморья, с одной стороны, и есть ли положительные моменты в этой системе для применения в современных экономических условиях, с другой. Впрочем, последнее положение нередко путают с понятиями *свободная экономическая зона* и *система свободной гавани*, что, говоря нормальным одесским языком, есть две большие разницы.

Для этой противоположности взглядов имеется весьма существенная причина. Во-первых, как сторонники, так и противники порто-франко рассматривали, да и рассматривают его до настоящего момента вне контекста социально-экономической и политической обусловленности данного явления в рамках собственно империи и складывавшегося к тому времени мирового рынка. А во-вторых, указанная система не может рассматриваться в качестве некой аморфной данной без понимания постоянного видоизменения в определенном хронологическом отрезке ее сущест-



План Одессы

вования. Ведь нельзя же применять то, что полезно взрослому человеку, грудному младенцу и наоборот на том основании, что и здесь, и там мы имеем дело с человеческой личностью. В этом отношении можно сказать, что введение порто-франко в Одессе несколько запоздало, так же как и его отмена. Но посмотрим, хотя бы кратко, на основные этапы развития собственно черты порто-франко.

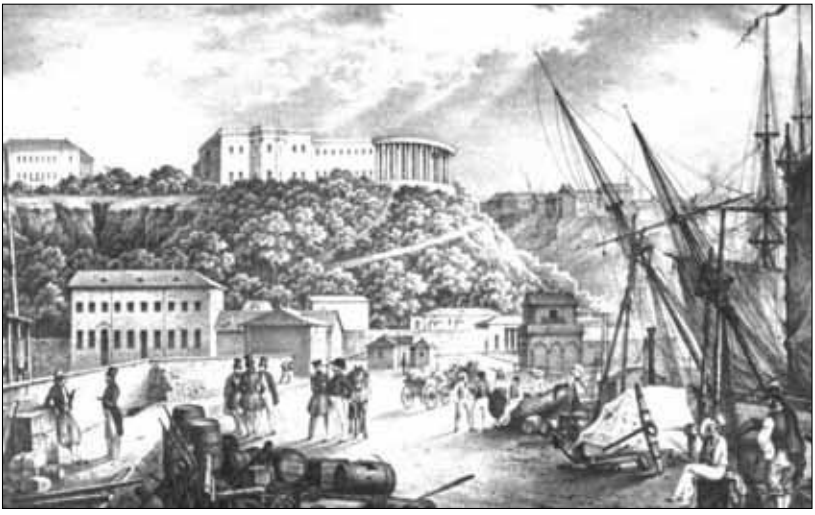
В современном понимании данного термина порто-франко — порождение тех явлений, которые косвенно можно назвать фритредерством. В условиях перманентной государственной нестабильности, как, например, итальянские государства XVIII в. или, наоборот, в условиях попытки жесткой монополизации экспортно-импортных операций в период меркантилизма в странах, к каковым относилась и Россия с унитарным правлением, система порто-франко могла служить неким подобием рычага, который способствовал развитию свободной торговли.

Заступив в 1803 г. на пост одесского градоначальника, а затем и главы огромного Новороссийского края, герцог Ришелье, европейски образованный политический деятель, великолепно понимал, что с целью привлечения иностранных купцов в одесский порт режим свободной гавани на тот момент был наиболее благоприятным в товарообмене Восток—Запад, Запад—Восток. Однако в Петербурге тогда о системе порто-франко не могли даже слышать. Слишком свежи были еще приснопамятные указы покойного Павла I о даровании порто-франко Феодосии, а затем всему Крымскому полуострову, немало насмешившие европейских политиков и экономистов. Тем не менее, Ришелье, используя свои личные дружеские связи с Александром I, сумел добиться в 1806 г. такого важного элемента для развития фритредерства, как беспошлинное складирование товаров в одесском порту сроком до двух лет и необлагаемого транзита товарной массы в Молдавию, Валахию и Пруссию. Естественно, эти и другие меры, как, например, учреждение независимого коммерческого суда в Одессе, не могли не привлекать иностранных купцов, всегда с опаской относившихся к непонятной для них системе внутреннего управления Российской империи и ее законодательству.

Между тем герцог Ришелье, заняв в 1815 г. пост премьер-министра и министра иностранных дел Франции, не оставлял мысль о наделении "любезной моему сердцу Одессе" режима порто-франко. В письмах к Александру I и при личных встречах с императором он неустанно приводил аргументы в пользу данного шага, который стал бы своеобразной брешью в монопольном огосударствлении внешней торговли. Царь при-

слушался к доводам своего друга, а потому, несмотря на многочисленные возражения со стороны целого ряда правительствующих чиновников, 16 апреля 1817 г. был издан соответствующий манифест. Срок действия пожалованной Одессе системы порто-франко определялся в тридцать лет.

Первоначальный проект черты порто-франко, а всего их было три, разработал Жозеф-Филипп Мейффреди; этот проект и был представлен на одобрение царю Новороссийским генерал-губернатором и одесским градоначальником А.Ф. Ланжероном. Отсутствие опыта в этих вопросах самым негативным образом сказалось на оборудовании первой черты. Дело в том, что она планировалась в рамках не только города, но и всего градоначальства, и ее граница охватывала более 36 км, включая 12-километровую зону Куяльницкого и Сухого лиманов. Между лиманами необходимо было вырыть ров длиною в 23 км и шириною по верху до 3 метров. Глубина этого рва составляла 2,1 м. Кроме того, перед ним была возведена насыпь, оборудованная деревянными рогатками. Для охраны черты порто-франко было построено 17 караульных будок, а для обложения вывозимых за черту товаров возведено две таможни. В целом, эта во многом бессмысленная затея обошлась для Одессы в весьма значительную сумму — 150 тыс. рублей. Ее недостатки стали очевидны сразу же после официального открытия таможенной линии 15 августа 1819 г. Удержать поток контрабанды на таком зна-



Одесский порт

чительном протяжении практически не представлялось возможным, что дало повод для реальной угрозы отмены порто-франко для Одессы вообще.

Уже указом от 1 июня 1821 г. первая линия порто-франко была фактически ликвидирована и ограничивалась только карантинной гаванью, т. е. лишь частью одесского порта. Однако в июне 1822 г. черта вновь была восстановлена, но с частичными изменениями — ввозимый в Одессу товар облагался одной пятой налога. Одновременно стал разрабатываться новый проект проведения таможенной линии, которая была открыта 14 мая 1823 г. и охватывала уже собственно только город. Пикантность состояла в том, что вплоть до 4 августа этого года существовали обе линии, так как многие контрабандисты, зная о новом проекте, аккумулировали значительные партии товаров в пространстве между новой и старой чертой. Впрочем, данные меры не дали никаких положительных результатов и, судя по официальным отчетам, контрабанда беспрепятственно проникала во внутренние губернии.

Вторая черта порто-франко, проходившая по нынешней улице Старопортофранковской вплоть до Дачи Ланжерона, обладала не менее значительными недостатками, но уже другого характера. Дело в том, что предместья Одессы — Молдаванка, Слободка и Пересыпь, — к тому времени уже почти вплотную подходившие к городу, оказались за пределами линии, и это порождало существенные неудобства. С одной стороны, значительная часть рабочих людей проживала именно в данных предместьях, и выход их из города требовал соответствующего таможенного досмотра



Карантин

и уплаты налогов за проносимый товар, независимо от того, где он был произведен, в городе или в иноземном государстве. А с другой, недостаток собственной пресной воды в Одессе в тот момент компенсировался ее привозом в огромных бочках, главным образом с так называемой Водяной балки. Можно себе представить картину, когда беспрепятственно приезжавшие в город водовозы с наполненными бочками вечером этого же дня, но уже порожние, скапливались числом более тысячи подвод возле Тираспольской заставы, дабы пройти особо тщательный досмотр. Между тем указанные и целый ряд других недостатков отнюдь не компенсировались главной целью второй линии порто-франко — борьбой с контрабандой. Напротив, нелегальный вывоз товаров приобрел качественно новые, специфические только для Одессы черты.

Молдаванка, как уже говорилось, застраивалась к тому времени практически вплотную к городской черте. Причем дома, строившиеся в этом районе, как правило, возводились из ракушечника, т. е. камня, добывавшегося здесь же. В образовавшихся катакомбах можно было без особых трудностей делать подкопы в противоположную сторону подо рвом, разделявшим черту порто-франко. Наиболее предприимчивые даже покупали дома, стоявшие друг против друга по разным сторонам рва и соединяли их соответствующим подземным ходом. Разумеется, что использовались и различные способы переброски контрабанды через ров, а их разнообразие диктовалось уже чисто технической стороной.



Площадь Старого базара

Обилие недостатков второй линии порто-франко вызывало серьезное неудовольствие и жителей Одессы, и представителей властей. Это хорошо понимал заступивший в мае 1823 г. на пост Новороссийского генерал-губернатора Михаил Семенович Воронцов. Под его непосредственным руководством был разработан проект третьей черты порто-франко, ставшей окончательной для последующих 32 лет. Проект был утвержден в январе 1826 г., и новая черта была открыта уже 1 июля 1827 г.

Воронцов сумел избежать негативных сторон первого и второго проектов. Третья таможенная линия охватывала основные предместья Одессы, включая Пересыпь, Слободку, Молдаванку, Ближние и Дальние Мельницы, и замыкалась между Малым и Средним Фонтаном. Общая протяженность данной черты равнялась 16 км, но оборудована она была, не в пример первой, куда более основательно. Так, были вырыты два рва на расстоянии от 20 до 40 метров друг от друга, построено 12 караульных помещений для объездчиков, созданы две въездные заставы и две таможни.

С точки зрения социально-экономического развития Одессы, не знавшей в XIX в. себе равных по темпам роста не только в Восточной Европе, но и в мировой урбанизации, система порто-франко вряд ли может рассматриваться в качестве основополагающего фактора. Об этом свидетельствует уже хотя бы тот факт, что развитие города шло с неизменной динамикой и накануне введения режима свободной гавани, и особенно бурно именно после его ликвидации. Вместе с тем нельзя не отметить, что в руках такого искусного политика, каким являлся светлейший князь М.С. Воронцов, порто-франко являлось на определенных хронологических отрезках весьма эффективным средством. Прежде всего, это касалось кризисных периодов, связанных с войнами, эпидемиями или неурожайными годами. Аккумулированные в одесском порту и в городе товарные массы позволяли избежать полной стагнации коммерческой жизнедеятельности Одессы.

Собственно линия черты порто-франко служила надежным санитарным кордоном и в период появления чумы либо холеры во внутренних губерниях либо в годы их проникновения из соседней Оттоманской империи, как это имело место в 1831 и 1837 годах. Немаловажным фактором являлась также дешевизна товаров потребления и продуктов, завезенных со всех концов света. Правда, частичному налогообложению импортные товары подвергались — вначале одной пятой пошлины, а с 1844 г. двумя пятыми. Однако это не мешало третьему по величине городу империи являться самым дешевым городом и, уступая обеим столи-



Герб Одессы, 1798 г.

цам количественно, Одесса намного превышала по своим доходам на душу населения и С.-Петербург, и Москву. Впрочем, оговоримся, что это являлось результатом отнюдь не только режима порто-франко, но и целого ряда не менее, если не более важных факторов. Хотя обилие дешевых заморских вин, экзотических фруктов, шелковых и хлопчатобумажных тканей и т. п., без сомнения, являлось результатом именно системы свободной гавани.

К недостаткам порто-франко следует отнести, прежде всего, однобокость развития промышленности. Город и его предместья в основном производили лишь то, что необходимо было собственно для их потребления и беспрепятственного функционирования одесского порта. Вывоз хлеба создал целую сеть мукомольных заводов, вывоз шерсти — шерстомойки, потребность в шкиперском оборудовании — канатные заводы и т. д. Между тем при вывозе одесских изделий во внутренние губернии они подвергались такому же налогообложению, как и заграничные импортные товары. Правительство мотивировало это тем, что невозможно было доказать, из какого материала или сырья были изготовлены те или иные товары, а потому разделить их внутреннюю себестоимость не представлялось возможным. Конкурировать же с качественными и дешевыми иностранными товарами молодой одесской промышленности было отнюдь не просто, если вообще возможно.

Преувеличенное значение системы порто-франко для развития Одессы следует отнести к разряду своеобразных легенд. Главным образом это сложилось под воздействием тех субъективных оценок современников, которые складывались при посещении города. Не находя объяснения причинам столь бурного развития "истинно европейского города", отечественные и зарубежные наблюдатели с завидным постоянством оперировали именно к свободной гавани, не беря в расчет основополагающего фактора — свободы жизнедеятельности именно граждан Одессы. Не случайно все попытки правительства, предпринимаемые в течение существования режима порто-франко с целью ограничения либо ликвидации его как такового, неизменно порождали устойчивые слухи о ближайшей "ги-

бели" Одессы. Однако статистика, которой стали широко пользоваться уже во второй половине XIX в., свидетельствовала об обратном. Во-первых, доля импорта в грузообороте одесского порта всегда была в десятки раз меньше экспорта, и положительное сальдо на зависть любому другому региону мира составляло около 90%. Во-вторых, собственно система порто-франко была не более чем орудием, хотя и эффективным на определенном этапе, в политическом и социально-экономическом управлении краем и городом в руках такого незаурядного политического деятеля, как М.С. Воронцов. В свою очередь, сам масштаб личности Воронцова гарантировал гибкий подход к достаточно противоречивой системе, когда необходимо было "включать" или "выключать" те или иные механизмы режима свободной гавани в зависимости от внешних и внутриполитических факторов.

Вместе с тем было бы ошибочно недооценивать положительную роль порто-франко как для Одессы, так и для Северного Причерноморья в целом. Специфика появления юной Одессы на территории Очаковской области, не имевшей ни устойчивых поселений, ни постоянного населения, создал уникальную формулу в мировой урбанизации. В отличие от генезиса подавляющего большинства городов Европы Одесса не только не была, но и не могла быть производным сельской инфраструктуры. Поэтому город, созданный изначально политическим решением, вынужден был искусственно создавать для себя ту инфраструктуру, которая обеспечивала бы его жизнедеятельность. Касалось ли это иностранных колонистов либо крестьян, переведенных из внутренних губерний, либо беглых крепостных — все они должны были получить то, ради чего переселялись на новые территории, — землю и волю. Но процесс этот шел достаточно сложно и не столь быстро. Поэтому установление режима свободной гавани в главном политико-административном и экономическом центре огромного Новороссийского края как бы компенсировало начальную нехватку тех товаров, выработка которых находилась в зачаточной форме либо вовсе была невозможна в местных условиях. Не забудем при этом, что контрабанда, противоречившая государственным интересам в целом, позволяла получать иностранные товары близлежащим от Одессы селениям и городам по значительно более низким ценам, чем в остальных регионах империи.

Между тем положительный этап существования порто-франко исчерпал себя уже к середине 40-х гг., и пролонгация его функционирования особенно пагубно сказалась в период Крымской войны. По требованию

населения и властей Одессы в 1856 г. была подана просьба о его полной ликвидации. Тем не менее, правительство продлило срок порто-франко еще на два года. Мотивировалось данное решение тем, что в городе скопилось большое количество китайского чая, а также колониального сахара и др. товаров, каковые после немедленной отмены таможенной черты хлынули бы во внутренние территории империи, разоряя тех купцов, которые заплатили ранее пошлину в полном размере.

31 марта 1858 г. решением Государственного совета система порто-франко в Одессе была ликвидирована, и 18 апреля этого же года таможенные караулы были сняты. Катастрофы, как ожидалось некоторыми, естественно, не произошло. Одесса вступила в новый этап своего развития, не менее значительный и величественный.



Елена ПОЛЕВЩИКОВА

Неизвестное и известное о маркизе де Кастельно



В замке Вердюзан, расположенном в исторической области Базадэ на юго-западе Франции (департамент Жиронда), хранится портрет кисти неизвестного художника XVIII в. На нем изображен элегантный тридцатилетний дворянин с мальтийским крестом — Габриэль де Кастельно. Тем, кто интересуется ранней историей Одессы, это имя хорошо известно: речь идет об авторе одного из первых фундаментальных трудов по истории Новороссии и близком друге герцога Ришелье. Между тем в биографии Габриэля де Кастельно немало "белых пятен", порождающих и недосказанность, и неточности. С помощью документов, найденных в архивах России, Франции и Украины, попытаемся более внимательно проследить его путь из родового имения на берега Черного моря[1].

Габриэль, барон де Кастельно д'Орос (Орос — коммуна Базадэ) родился в 1757 г. в семье служилого. Титул баронов Орос получили первые владельцы замка, построенного в XIII в. в одном из самых живописных уголков этого края. В 1623 г. сеньория Ороса перешла к Кастельно, которые присоединили этот титул к своему родовому имени.

Отец Габриэля — Пьер де Кастельно (умер в 1789 г. в возрасте 65 лет) — дослужился в армии до капитана и кавалера Св. Людовика. В 1756 г. он женился на Анне-Марии-Анжелике Букье, семья которой принадлежала к бордоскому клану адвокатов. Своим положением в обществе семья была обязана участием в местном парламенте.

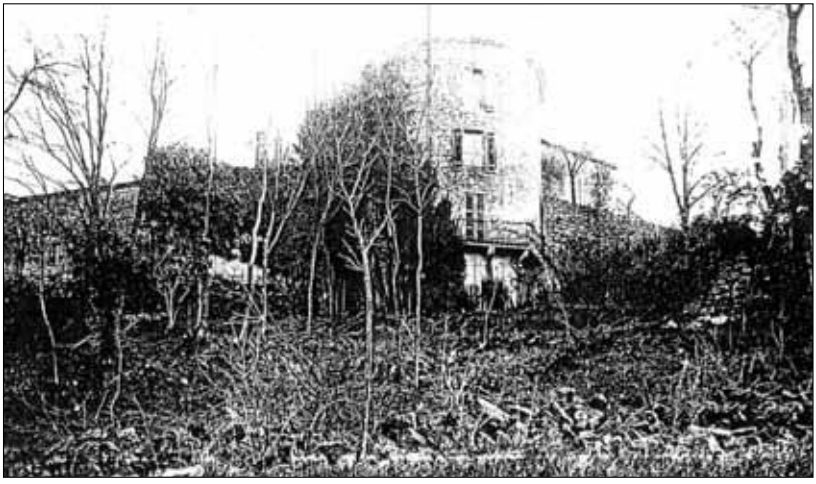
Габриэль де Кастельно получил образование в знаменитом коллеже Сор-

рез, основанном в XVII в. в бенедиктинском аббатстве. Однако в XVIII в. здесь обучали не только теологии и схоластике, уделяя большое внимание литературе и философии. Для будущего летописца Новороссии подобный характер полученного образования был немаловажным обстоятельством.

После учебы Габриэль стал адвокатом, а впоследствии — советником палаты дознания местного парламента. Он оставался на этой должности до 1790 г., вплоть до упразднения парламента. Именно тогда, очевидно, и был написан упомянутый портрет.

10 мая 1789 г. Г. де Кастельно принял участие в собраниях дворянства в качестве "секретаря дворянства Базадэ и советника короля и парламента Гиени"[2]. Он не был избран депутатом Генеральных Штатов, но со всей серьезностью отнесся к роли секретаря дворянского сословия сенешальства Базаса (административный центр Базадэ), редактируя его наказы.

Кроме выполнения функций магистрата Г. де Кастельно активно участвовал в интеллектуальной жизни местного общества. После смерти отца Габриэль был вынужден покинуть Бордо (где, заметим, семье принадлежал грандиозный особняк в центре города, который дал имя прилегавшей к нему улице) и удалиться в родовое поместье. В революцию ему вместе с младшим братом пришлось покинуть и свой замок. В 1794 г. имущество Кастельно было национализировано (всего 10 лотов) и продано. В 1793 г. стены замка, три башни и подъемный мост были разрушены. От этого памятника Средневеко-



Замок Кастельно д'Орос (XIII-XIV вв.)

вья осталась лишь круглая башня, квадратный главный корпус, стены и укрепления западной части. У Кастельно были основания много лет спустя написать: "Мне хорошо известно, что богатство — не более чем временное состояние, оно редко достается нескольким поколениям в семье, которая им владеет...".

Лишившись своих владений, Габриэль, однако, сохранил жизнь. В мае 1791 г. братья Кастельно покинули Францию. Они провели в армии Бурбонов кампанию 1792 г., а затем направились в Англию. Здесь пути братьев разошлись: младший — Габриэль-Леонард-Антуан де Кастельно д'Орос (1763-1847) — уехал в Мартинику. По поручению английского правительства он основал ботанический сад на экзотическом острове (его-то потомкам и принадлежит теперь замок Вердюзан с упомянутым портретом). Старший же переехал из Англии в Германию, где инспектировал фабрики во владениях герцога Брауншвейгского. А в 1797 г. Габриэль де Кастельно по приглашению императора Павла I отправился в Россию.

В России Габриэль де Кастельно д'Орос был известен как маркиз де Кастельно. Маркизы среди Кастельно действительно были, но принадлежали к другой ветви этой многочисленной семьи. Любопытно заметить, что он фигурирует в этом качестве во всех документах, найденных в русских архивах, в то время как в бумагах французского происхождения он неизменно сохранял свой истинный титул: Габриэль де Кастельно, бывший барон д'Орос и советник парламента Бордо.



Замок Вердюзан, где находится портрет Г. де Кастельно

28 ноября 1798 г. он стал цензором французских спектаклей при дворе. Вполне вероятно, что Кастельно относился к тем французским эмигрантам — рыцарям Мальтийского ордена (на портрете он изображен с Мальтийским крестом, да и в биографических заметках называет себя таковым, хотя его принадлежность к ордену не признается бесспорной), на роль покровителя которых претендовал Павел. Известно о намерении бывшего члена бордоского парламента, "вдохновленного чувством самого чистого роялизма", написать "Историю Мальты" и посвятить этот труд российскому императору. Этот замысел, оставшийся, впрочем, неосуществленным, не мог не встретить сочувствия Павла. В некоторых источниках содержатся глухие намеки на то, что француз был личным секретарем Павла и что он участвовал в литературных опытах императора. Достоверно известно лишь то, что Г. де Кастельно без какого-либо определенного ранга действительно служил при дворе. Из документа, хранящегося в архиве МИД Франции, узнаем также некоторые детали его жизни при дворе российского монарха: "Е. В. Император Павел ценил его литературный талант, он ежедневно ходил к этому монарху за распоряжениями, особенно касательно театральных пьес, игравшихся при дворе; иногда он получал из рук в руки небольшие презенты, как то часы, кольцо и украшения и, наконец, ежегодную пенсию около 1200 рублей". За это время он опубликовал несколько литературных сочинений: оперу "Генрих IV у виноградаря" (первое представление состоялось в Гатчине летом 1799 г.), аллегорический роман "Приключения Клеона, или Четыре храма" (СПб., 1800). После смерти императора Павла I Кастельно покидает двор. Вскоре последовала реформа театральной дирекции, и его должность была упразднена, что было равносильно для него "смертельному приговору". В довершение всех бед Габриэль получил известие о распродаже своего состояния. После увольнения от должности 5 февраля 1802 г. он еще несколько месяцев провел в Петербурге, тщетно пытаясь сохранить свое прежнее жалованье.

Нас, конечно, интересует, когда же они могли встретиться с Ришелье? Возможно, это произошло при дворе Павла, обедать с которым, по данным курьер-фурьерских журналов, герцог неоднократно приглашался осенью 1797 г. и в 1798 г. Не исключено, что они встретились в начале 1802 г. во время недолгого пребывания дюка во Франции. Как раз тогда Кастельно опубликовал в Париже свой роман "Вальмор, или Страсти, исправленные добродетелью". Как бы то ни было, можно утверждать, что он последовал на берега Черного моря вслед за новоиспеченным градона-

чальником Одессы. Дату обоснования Кастельно в Одессе можно определить довольно точно. Документы о предоставлении места для застройки и выдаче открытого листа "маркизу Кастелно" сохранились в Государственном архиве Одесской области. 28 мая 1803 г. в Одесский городской магистрат поступило соответствующее распоряжение градоначальника, а 14 июня 1803 г. городской голова Иван Андросов подписал документ, предоставлявший французу участок "под малой крепостью под № 4, кое метров длиной по берегу 20, а шириной 40 сажень, с тем, чтобы оное непременно в течение одного года расстроено было магазином". Впрочем, в городе Кастельно проводил лишь часть своего времени, предпочитая проживать... в Дальнике. Так изгнанный революцией из фамильного замка барон ("маркиз") Кастельно обрел прибежище в деревне под Одессой, где жил просто и уединенно, с удовольствием предаваясь аграрным опытам: у мальтийского рыцаря были собственные отары овец! Заметим, впрочем, что случай вовсе не был уникальным, так как свой след в истории и экономике региона (садоводстве, виноделии, разведении высокопородных видов овец) оставили немало французских эмигрантов, обосновавшихся на юге Российской империи.

Но не только занятия сельским хозяйством увлекали Габриэля де Кастельно. Здесь, в глуши южноукраинских степей, сполна реализовалась его склонность к литературной деятельности и историческим изысканиям. Вскоре после назначения Ришелье губернатором Новороссии герцог поручил своему другу собирать документы и сведения с целью написания сочинения по истории края.

Итак, именно Ришелье был "автором идеи". Об этом свидетельствует письмо Кастельно на имя Александра I от 8 марта 1812 г. Исходя из убеждения важности и полезности южных провинций для всей империи, Ришелье, по словам маркиза, "задумал план предоставления Европе точного знания о местоположении, продукции, торговле этих краев", а также исторических сведений и поручил эту работу Кастельно. Должно быть, подобный замысел возник у Ришелье не позднее конца 1805 — начала 1806 г. 6 апреля 1806 г. дюк писал одному из корреспондентов: "Я собираю везде сведения... для сочинения, которое я заказал и которое обещает быть интересным". Этому и посвятил себя Кастельно. В 1808 г. герцог ходатайствовал о получении его соотечественником чина статского советника. В прошении на имя министра внутренних дел Ришелье писал: "На протяжении двух лет я использую его для сочинения произведения о Новороссии, которое хотел бы напечатать после получения разрешения прави-

тельства. Сейчас г-н де Кастельно, бывший во Франции синдиком дворянства Гиени и статским советником, обосновался в России и обзавелся здесь небольшим имуществом, желал бы получить милость Е. В. Императора — чин статского советника, который обеспечил бы ему достойное существование". Герцог отметил, что одобрение ходатайства императором он будет рассматривать "как доказательство, что он вполне доволен моей службой", ведь речь шла о человеке, к которому он испытывал уважение и дружеские чувства. Однако статским советником в России Кастельно так и не стал (возможно, причиной была личная неприязнь между Ришелье и тогдашним министром внутренних дел — А.Б. Куракиным?).

Между тем некоторые французские эмигранты стали возвращаться на родину. 6 апреля 1809 г. появился декрет об амнистии эмигрантов, которым захотел воспользоваться и Кастельно. 27 августа 1810 г. он написал французскому консулу в Одессе, Анри Мюру: "Как вам известно, мой отъезд во Францию надолго задержался в связи с сочинением работы по истории Новороссии по поручению губернатора". Габриэль надеялся без дальнейшего промедления воспользоваться амнистией. Напомнив, что он не участвовал в военных кампаниях против императора, он просил принять у него присягу на верность и выполнить все прочие причитающиеся по этому поводу формальности. 18 сентября 1810 г. такая присяга была принесена, о чем свидетельствует запись в отчетах французского консула в Одессе. В рапорте на имя министра иностранных дел Франции консул следующим образом аттестовал Кастельно: "его литературные занятия в этих краях, а также сдержанное и острожное поведение помогли ему завоевать любовь всех обосновавшихся здесь французов". К тому же "политические события никогда не занимали его, а его мнения по этому поводу всегда оставались в рамках приличий".

Сведения французского консула в Одессе были предоставлены в министерство полиции и скрупулезно там изучены. Бордоские власти также





Замок д'Орос

получили предупреждение о возможном приезде бывшего члена парламента. 26 апреля 1811 г. префект Бордо докладывал наверх о мерах, предпринятых по установке наблюдения за г-ном Кастельно.

Переписка между консулом в Одессе, вышестоящими инстанциями во Франции и властями в Бордо длилась без малого два года. Когда же рассмотрение прошения Кастельно близилось к завершению, русско-французские отношения подошли к критической точке, и возвращение на родину опять стало невозможным.

Между тем работа над историей Новороссии приближалась к концу. Ее автор признавался впоследствии: "Я посвятил 10 лет работе, которая была бы для других утомительной, а для меня была легкой, поскольку я надеялся быть полезным России в целом, и в особенности же — жителям южных провинций этой империи". Труд с позволения Александра I был посвящен российскому императору, который наградил Кастельно орденом Св. Анны 2 степени (соответствующий указ был подписан 9 апреля 1812 г.). Однако прошло немало лет, прежде чем совместный проект Ришелье и Кастельно был окончательно завершен.

После Реставрации Габриэль де Кастельно совершил поездку в Петербург, а затем, вслед за Ришелье, направился в Париж. Здесь он стал кавалером Св. Людовика, а главное — при Людовике XVIII ему удалось официально получить титул маркиза. Но блестящей карьеры на родине Кастельно не сделал, довольствовавшись скромной должностью. В октябре 1816 г., в период первого министерства Ришелье, при помощи старинного друга Габриэль получил место в архиве департамента иностранных дел, где ему было поручено "ведение исторических и политических памятных записок". Скучные заседания в министерском бюро мало интересовали этого интеллектуала. Главным и, в общем-то, единственным развлечением парижской жизни Кастельно были его визиты в дом своего покровителя. По свидетельству современников, маркиз, которого часто принимали за





Замок д'Орос

секретаря или адъютанта герцога, буквально боготворил Ришелье. Их связывали общие воспоминания об эмиграции и о годах, проведенных в далекой, но ставшей столь дорогой Одессе.

Без сомнения, самым значительным событием в жизни маркиза де Кастельно была публикация его труда по истории Новороссии. Три тома сочинения вышли в свет в 1820 г. в Париже (в 1827 г. книга была переиздана). Длинный заголовок на титульном листе дает представление о предмете исследования: "Опыт древней и современной истории Новороссии. Статистика провинций, ее составляющих. Основание Одессы, ее успехи, ее настоящее положение; подробное описание ее торговли. Путешествие в Крым... С картами, видами, планами и т. д.".

Первый том книги охватывает историю Северного Причерноморья в античности и в Средние века, начиная со скифского периода вплоть до взятия Константинополя турками. По оценке современного историка, это "живо написанный свод исторических данных, которыми располагали образованные дилетанты конца XVIII в.", который "не представляет сейчас никакого интереса". Во втором томе повествование доходит до завоевания нашего края Россией при Екатерине II. Здесь содержится географическое описание Новороссии и изложены размышления автора о перспективах аграрного развития края. Г. де Кастельно стремился убедить местных землевладельцев в необходимости внедрения передовых на то время сельскохозяйственных приемов, в особенности в сфере садоводства и разведения скота, ведь он на собственном опыте знал проблемы и возможности развития сельского хозяйства. Он с горечью замечал, что нигде, пожалуй, так небрежно, бездумно и с такой ленью не обрабатывалась столь изобильная и плодородная земля, как в Новороссии. По мнению С.Я. Борового, обращавшегося к книге Кастельно в контексте изучения проблем черноморской торговли в последней трети XVIII — начале XIX в., размышления французского эмигранта о средствах ведения сельского хозяйства на Правобережной Украине были не лишены антикрепостнических мотивов. В этой связи историк высказывал предположение о возможном интересе, который вызывали соответствующие пассажи в опусе Кастельно со стороны русского дворянства, близкого к декабризму[3].

Третий том сочинения посвящен историческим событиям, современником и свидетелем которых был сам автор. Один из основных и наиболее разработанных сюжетов связан с тем, "чем была Одесса до завоевания, чем она стала вплоть до 1803 г. и какова она сегодня". Главной целью сочинения было познакомить иностранцев с еще малоизвестными краями

и предоставить необходимую информацию европейским торговцам, заинтересованным в перспективах черноморской торговли. Кастельно уделяет особое внимание роли Одессы в развитии хлебной торговли (т. 3, глава 21). Он подробно останавливается на характеристике таких учреждений, как карантин, таможня, банки, биржа, коммерческий суд и др. Автор стремится показать, что Одесса отнюдь не "дикий город" на "краю мира", здесь обеспечены все необходимые условия не только для успешной коммерции, но и для приятной светской жизни. Он знакомит читателя с образовательными учреждениями Одессы, городским театром, залом для проведения балов, публичным садом и т. д.

Сочинение завершалось пространным описанием путешествия автора в Крым. Однако позднее была добавлена глава, посвященная эпидемии чумы в 1812 г. в Одессе и дополняющая картину страшного бедствия, известную по свидетельству очевидцев (Ш. Сикара, Л.-В.-Л. Рошешуара, графа де Лагарда и др.). Для дюка и его сподвижников эпидемия была настоящей личной трагедией. Кастельно высоко оценивает суровые и эффективные меры градоначальника Одессы и новороссийского губернатора и личное мужество Ришелье, оказавшегося на высоте положения и, по словам графа де Местра, в этих обстоятельствах превзошедшего самого себя. Свою же роль в оказании помощи больным во время эпидемии Кастельно, разделивший с дюком все тяготы и бдения, из скромности обошел молчанием.

Выше уже говорилось об участии Ришелье в подготовке этого труда. К работе над книгой был привлечен и адъютант дюка, тогда совсем еще юный И.А. Стемпковский (впоследствии ставший известным археологом, в последние годы своей недолгой жизни — градоначальник Керчи). Он снабдил Кастельно своими заметками об античных древностях на территории Новороссии, подготовленными в июне 1812 г. (т. 1, глава 23). Иваном Алексеевичем была также написана глава "Меннониты, колонисты и соседи ногайцев. Черноморские козаки" (т. 2, глава 10). По данным С.Я. Борового, Кастельно использовал также материалы, собранные еще одним близким другом Ришелье в Одессе — французским негоциантом Ш. Сикаром.

В работе цитируются десятки античных авторов и современных Кастельно французских, итальянских, немецких, польских и русских историков. Количество подобных ссылок слишком велико, чтобы автор мог полагаться на память! Где же в недавно основанном городе могли обнаружиться столь разнообразные книги по истории? Читателем какой личной библиотеки был Кастельно? Была ли это та "прекрасная библиотека" из книг на французском, английском, итальянском, немецком и русском

языках, благодаря которой юный граф Рошешуар пополнил свои познания в литературе и древней и новой истории? Немногочисленные данные о первых книжных коллекциях Одессы, которыми мы до сих пор располагаем, не дают определенного ответа на эти вопросы[4]...

В распоряжении автора находились интересные свидетельства очевидцев важных исторических событий (например, рассказ полковника Аркудинского, участника штурма крепости Хаджибей), а также не дошедшие до нас официальные документы. Согласимся с С.Я. Боровым, что это придает труду Кастельно значение первоисточника, не утраченное сегодня. Таковым он был и для современного автору читателя. Напомним, что именно из этого сочинения Дж. Байрон почерпнул сведения о взятии Измаила, описанном в его "Дон Жуане". В предисловии к песням VI-VIII поэмы отмечается, что детали об осаде Измаила "взяты из французской работы, озаглавленной "История Новороссии". Помимо письменных источников сведения о предмете своего исследования автор добывал во время путешествий по Новороссии (предпринятых за свой счет!): так, он посетил руины Ольвии и место Полтавской битвы.

Книга прекрасно иллюстрирована: ее украшают выполненные в технике акватинта гравюры живописных видов Крыма и юной Одессы. Помещенные здесь карты (трех новороссийских губерний и Крымского полуострова) должны были помочь читателю яснее представить себе место действия описываемых исторических событий. Спустя почти два столетия этот иллюстративный материал вызывает большой интерес у исследователей.

В появившихся осенью 1820 г. во французских журналах рецензиях отмечалось, что "г-н Кастельно смог первым представить нам полную и беспристрастную историю народов, до сих пор малоизвестных в Европе". Впрочем, приведенное мнение критика "Энциклопедического обозрения" грешит явным преувеличением. Рецензируемая книга была результатом изысканий просвещенного дилетанта конца XVIII — начала XIX в., и ее автор не мог претендовать на первенство в разработке сюжетов по древней и новой истории Новороссии. Предшественниками Кастельно были ученые с академической репутацией С. Паллас, В. Зуев, И.А. Гильденштедт, Я. Потоцкий, автор работы по истории Крыма Богуш-Сестренцевич. Назовем также имена французских дипломатов Ш. де Пейссонеля и Лешевалье, негоцианта д'Антуана, барона де Сен-Жозефа. Кроме того, в конце XVIII — начале XIX в. были опубликованы многочисленные описания путешествий по краю, совершенных англичанами, французами, русскими и содержавших как экскурсы в историю и географию Новороссии, так и рассуждения о перспективах

здешней торговли. Однако попытка Кастельно свести воедино доступные ему сведения с целью создания фундаментального труда была действительно одной из первых в своем роде. Напомним, что трехтомный "Опыт истории..." вышел в свет до записки "Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае", поданной И.А. Стемпковским М.С. Воронцову в 1823 г. (на русском языке опубликована в 1827 г.). За этим последовало открытие музеев в Одессе и Керчи, появление работ А.А. Скальковского (который, кстати, весьма скептически отозвался о труде Кастельно) и учреждение Одесского общества истории и древностей. Тем не менее, даже в конце столетия книга Кастельно признавалась историками серьезным и интересным чтением и для иностранного, и для русского читателя. Приведем мнение известного историка Д.И. Багалея: несмотря на промахи и пробелы, это сочинение "могло дать иностранцам наглядное и довольно верное представление о крае, сильно интересовавшем и привлекавшем их своею торговлей и промышленностью... Автор этой книги имел все данные, чтобы написать хорошее сочинение на избранную тему: он долго жил в Новороссии, путешествовал по ней, делал наблюдения над местным климатом, находился в непосредственных отношениях к местным деятелям и, что самое важное, получил от представителей местной администрации и устные, и письменные известия о недавнем прошлом и современном состоянии края..."[5].

Однако вернемся к нашему автору. Можно представить, с каким нетерпением маркиз ожидал появления своего сочинения и как вместе со своим другом и покровителем радовался его выходу в свет. Но довольно скоро ему предстояло тяжкое испытание: смерть Ришелье была настоящим шоком для Габриэля. Получив скорбное известие, он писал одному из друзей герцога, маркизу де Вераку: "Господин маркиз, я заперся у себя и полностью предался своему горю, когда Ваша записка привела меня в чувство, поскольку я обрел друга, разделяющего со мной положение, в котором я оказался. Но сколь ужасен был для меня этот удар! Едва мне сообщили о его состоянии, я поднялся по лестнице, мне говорят: Он умер! В тот же момент я, казалось, потерял рассудок"[6].

Последние годы жизни маркиза проходили в однообразном уединении. Он не был женат, законных детей у него не было. Он по-прежнему ходил на службу, вплоть до смерти в декабре 1826 г. На отпевание в церкви Успения Богородицы пришли несколько близких друзей покойного. Титул маркиза перешел к его младшему брату, затем к сыну последнего. После смерти в 1861 г. бездетного Луи-Габриэля маркизом де Кастельно стал Жан-Мари-Гийом де Кастельно д'Эссено (1822-?). Известный археолог

и историк архитектуры, занимавшийся историей своей родной Жиронды, член академии Бордо, в марте 1866 г. он заинтересовался своим покойным родственником, запросив в МИДе сведения о нем.

В Одессе маркиза де Кастельно помянули сразу же после получения известия о его смерти. "Одесский вестник" откликнулся некрологом, помещенным в номере за 12/24 февраля 1827 г. Напомнив перипетии жизненного пути маркиза, некролог заканчивался следующими строками: "Жители Новороссии будут ему, безусловно, признательны за его добрые и похвальные намерения, за его утомительные труды на благо нового и малоизвестного края, который на некоторое время стал ему приемной родиной, и они почтят его память вместе с немногими друзьями, которые до сих пор сохранились у г-на де Кастельно в этих местах и в особенности в городе Одессе". Предпринятый здесь анализ вклада де Кастельно в изучение истории Новороссии побуждает нас предположить, что некролог был написан старинным знакомым маркиза — И.А. Стемпковским, принявшим, как мы видели раньше, самое активное участие в подготовке "Опыта истории".

Французы, оказавшиеся в Одессе в годы правления здесь Ришелье, составили небольшую, но блестящую колонию. У каждого из них была своя необычная история. Однако дух авантюризма, столь присущий многим эмигрантам (назовем хотя бы Ланжерона и Рошешуара!), отразившийся в их мемуарах и свидетельствах современников, был чужд Габриэлю Кастельно д'Орос. Он сосредоточился на исторических изысканиях, проявив свои литературные дарования и качества исследователя и эрудита. Из всех сочинений, написанных маркизом де Кастельно за годы его долгой эмиграции, самым знаменитым и долговечным оказался труд, на который его вдохновили история Новороссии и дружба Ришелье.

[1]Подробные ссылки на цитируемые документы и библиографию работ о жизни Г. де Кастельно до его эмиграции см. во французском варианте статьи: Polevshchykova Elena. Un Bazadais a Odessa, Gabriel de Castelnau d'Auros" // Les Cahiers du Bazadais. — 2e trimestre 2003. — № 141. — P. 5-14.

[2]Гиень — историческая область на юго-западе Франции в бассейне реки Гаронны с центром в Бордо. В XVII-XVIII вв. составляла с Гасконью одно губернаторство Гиень и Гасконь.

[3]См. Боровой С.Я. Франция и внешнеторговые операции на Черном море в последней трети XVIII — начале XIX в. // Французский ежегодник. 1961. — М., 1962. — С. 502-503.

[4]Rochechouart, comte de. Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration. — Paris, 1889. — P. 86-87. См. также Фельдман В.С. На заре одесской книжности // Есть город у моря. Краеведческий сборник. — Одесса, 1990. — С. 136-147.

[5]Багалей Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его на пути культуры. Исторический этюд. Киевская старина, 1889. С. 2-3.

[6]Rougé A., comte de. Le marquis de Vérac et ses amis. 1768-1858. — Paris, 1890. — P. 240-241.

Олег ГУБАРЬ

Военный спуск

Продолжаем серию публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ними ретроспективным общественным бытом. Неизменный спонсор рубрики – агентство недвижимости "Капитал", давно и плодотворно работающее на отечественном рынке недвижимости. Предлагаемый вниманию читателей сюжет касается небезынтересной во многих отношениях истории Военного спуска.

Сменил множество названий. Причина довольно простая. Отсюда начиналась одна из самых главных транспортных артерий — соединявшая город с Практической (Военной) гаванью. Дорога пролегала по тальвегу Военной балки, пересекала Дерибасовскую, Греческий базар, шла по Александровскому проспекту до Вольного рынка и далее — до Привозной площади. Таким образом, все это была как бы одна длинная улица, одновременно именовавшаяся Александровской, Гаванской и Старобазарной. Впоследствии оная магистраль "распалась" на фрагменты: спуск, проспект,



улицу и три рыночные площади. В свою очередь, спуск сначала именовался просто Военной балкой, затем Портовым, Военным, Гаванским, Сабанеевским, Сабанеевым, Сабанским, Военным гаванским, Воронцовским, Казенным спуском, а также Портовой улицей. Все эти названия тоже понятны — по воинским казармам (на генеральном плане Одессы, составленном между 1803 и 1807 годами, ближе к правому склону балки различимы шесть казарм) и Военному молу, размещавшимся по бортам балки, Сабанееву мосту (в свою очередь, получившему имя по дому генерала И.В. Сабанеева, впоследствии принадлежавшему греческому негоцианту Зарифи; здание это стояло на углу Гаванной и Малого переулка), дому княгини Воронцовой на углу спуска и Приморской улицы, Казенному саду.

Военная балка заканчивалась близ Греческого базара, и через нее были перекинуты каменные мосты: Сабанеев (1828-1836 гг.; в эти годы он несколько раз перестраивался и укреплялся), так называемый Дерибасовский или Гимназский (1811-1812 гг.) и еще один, безымянный, — на пересечении нынешних Ланжероновской и Гаванной (1810 г.). Впоследствии верховья оврага засыпали вместе с двумя последними мостами, и этот участок фактически составляет нынешнюю улицу Гаванную, застроенную довольно рано: в середине 1820-х здесь было не менее дюжины зданий. А вот в пределах Военного спуска частные домостроения в первой половине XIX столетия единичны — слишком неудобное, да и небезопасное место на косогоре.

Помимо казарм и кузниц — как же без кузниц на столь оживленном гужевом тракте? — здесь числятся (1848 г.) дом и магазин наследников Цибульского, "пустопорожнее место, принадлежащее к магазину Гари", магазин купца Шейнца (Шейнса), дом князя Гагарина, дома и магазины статского советника Вороновского, коллежского советника Молчанова, наследников купца Манеса, жены титулярного советника Мищенко и, пожалуй, всё. Любопытно, однако, что многие из этих домов ничем не уступают расположенным в элитарном центре. Скажем, строения, принадлежащие Цибульским, оценены в 16 тысяч рублей. Для сравнения заметим: дом Прокопеуса на углу Екатерининской и Греческой ("Два Карла"), например, оценен в 15 тысяч.

На плане города, составленном архитектором Г.И. Торичелли в 1826 году, помимо строящихся объектов Воронцовского дворца мы видим в левом борту Военной балки всего лишь два небольших дома, вероятно, хлебных магазина. Казармы к этому времени уже ликвидированы, и на всем протяжении оврага до самого сочленения с нынешней Гаванной улицей нет ни

единого строения. На другом плане, предположительно составленном Ф.К. Боффо в середине 1830-х (тогда склоны балки основательно укреплялись, о чем будет сказано ниже), почти та же картина, с тою лишь разницей, что два упомянутых домика в левом борту балки соединены в один.

Совершенно очевидно, что оный дом — типологический "хлебный магазин" — вполне сохранился до сих пор: это нынешняя высокая одноэтажная с характерными полукруглыми наличниками "Автошкола" по Военному спуску, № 5. Пока остается открытым вопрос, кому из перечисленных особ он принадлежал в первые эпохи существования, но это дело наживное. А первостепенны его датировка и высокая степень сохранности в оригинальном практически виде.

Еще один дом, сравнительно больших размеров, близ которого видна еще маленькая хозяйственная постройка, появился в том же левом борту балки, но значительно выше, за достраивающимся Сабанеевым мостом. В связи с этим пристальное внимание привлекает дом князя Гагарина — нынешний дом № 11, приземистый, двухэтажный, на цоколе, изрядно обветшавший. Мы когда-то осматривали его вместе с видным историком градостроительства В.А. Чарнецким (прежде в одной из его стен красовалось ядро, угодившее сюлда в ходе бомбардировки Одессы 10 апреля 1854 года). Внешний облик фасада, примыкающих со двора галерей, размер использованных блоков известняка, характер наличников и другие обстоятельства создавали впечатление, что он мог быть построен даже в конце XVIII или начале XIX столетия. Примерно тогда же, когда и два небольших дома Феликса де Рибаса, расположенных поблизости: двухэтажный, в начале Гаванной, и одноэтажный, в Малом переулке.

Во всяком случае, дом этот построен ранее 1848 года (угол здания виден на одной из гравюр начала 1840-х), поскольку тогда оценен для взимания полупроцентного сбора с недвижимости в городскую казну. В пользу его большей давности говорит и довольно скромная сумма оценки — 1.800 рублей, сравнимая, например, с первобытными домиками, примыкающими к Греческому базару, — купцов Кехрибаржи, Милованова, Кудрявцева. Сопоставляя все имеющиеся в нашем распоряжении документы, можем сделать вывод, что дом Гагарина построен в интервале между 1826-м и серединой 1830-х годов. В реестре объектов культурного наследия ни это строение, ни еще более старый дом № 5, к несчастью, не значатся. Жильцов дома № 11 отселяют, и этот древний обитатель города, живой свидетель "младенчества Одессы", вот-вот будет уничтожен.

К этому же времени, несомненно, относится постройка нынешнего до-

ма № 14, классической архитектуры, с пилястрами по фасаду, мощным цокольным этажом, внешним обликом напоминающего лучшие хлебные магазины второй четверти XIX столетия, в частности, магазины Боффо на Ольгиевской и Нарышкинском спуске. Атрибуция его связана с некоторыми сложностями из-за неоднократной смены владельцев и нумерации, и едва ли возможна по косвенным данным. Дело в том, что оценка этого строения должна быть довольно высока, а таковая — одновременно у дома и магазина наследников Цибульского (16.000 руб. серебром), магазина купца Шейнца (8.100 руб.) и дома с магазином статского советника Молчанова (8.181 руб.). Если сравнить с аналогичными строениями (хлебными магазинами или зданиями, переоборудованными в такие магазины) в нагорной части города, вырисовывается любопытная картина: дом и магазин почетного гражданина Константина Папудова на Преображенской — 7.800 руб., дом купца Рафаловича на Греческой — 16.600 руб., два магазина наследников помещика Иеронима Собанского на Канатной — 8.640 руб. С другой стороны, на Херсонской, Ольгиевской, Софиевской, Нарышкинском спуске оценка магазинов достигала 20 и более тысяч! Впрочем, упомянутые магазины архитектора Боффо оценены в 11.418 и 7.146 руб., и второй (ныне — в Валиховском переулке) из них внешним видом весьма схож с домом по Военному спуску, № 14. В начале прошлого века он принадлежал семейству Дьепп, а в 1870-1880-х — либо Ковалевскому, либо Манук-Бею.



Как сообщается в издании, выпущенном муниципалитетом к 100-летию Одессы, Военный спуск был замощен первым в городе — как наиболее важная транспортная развязка. Дело в том, что приходившие порожняком суда по указанию начальства привозили в качестве балласта прочный камень со средиземноморских островов, за что мореходы получали льготы в ходе пребывания в гавани и загрузки зерном. Именно этим камнем и было в 1821 году вымо-

щено "дно" балки, и только потом принялись обустраивать подобным же образом Карантинный, Польский и Херсонский спуски, также важнейшие городские магистрали. Впоследствии (подряд взят в 1828 году) в целях обеспечения безопасности борта балки были укреплены контрфорсами (без сводов — 120 погонных сажен, со сводами — 85 погонных сажен), что, конечно, активизировало строительство здесь жилых домов. В 1835 году возведена подпорная стена поблизости от достраиваемого в очередной раз новыми подрядчиками Сабанеева моста.

К концу третьей четверти позапрошлого века Военный спуск был застроен уже довольно плотно. Правда, менее удобная нечетная сторона вмещала лишь семь домов, а четная — десять. Любопытно, опять-таки, что в числе домовладельцев почти сплошь известнейшие в старой Одессе фамилии: Воронцовы (№ 1), Тюнеевы (№ 3), Бодаревские (№ 5), Маврокордато (№ 7), Гагарины (№№ 9, 11 и 18), Вучина (№ 2), Шульц (№ 8), Ковалевские (№ 10), Манук-Бей (№ 12), Чижевич (№ 14), Толстые (№ 16), Гурович (№ 20). В 1910-е годы четная сторона вмещает уже 12 домостроений, при этом из прежних хозяев мы встречаем лишь княгиню Воронцову-Дашкову (№ 1), греческого негоцианта Маврокордато (№ 7), представителя известного семейства думцев Шульца (№ 12 по тогдашней нумерации), князя Манук-Бей (№ 16), графини Толстой (№ 20). Как раз в это время дом крупного общественного деятеля и мемуариста О.О. Чижевича (тогда № 18) переходит во владение германских баронов Бутвиля, Крауса и Золингена. Появляются новые звучные (по крайней мере, в пределах города и региона) имена: Евангелиди (№ 8), Бурназо (№ 10), Дьепп (№ 14), Колачевский (№ 22; правда, этот дом известного медика и гласного Городской думы скорее относится к Сабанееву мосту), Вассал (№ 24) и др.

Хотя, как было сказано, склоны балки укрепили, а все же строительство на косогоре вызывало определенные затруднения. Если пройтись по нынешнему Военному спуску, отлично видишь, как дома приноравливаются к рельефу, идущему под уклон. Так, высота дома № 1 уменьшается по ходу подъема в гору от 3,5 до 2,5 этажей, № 3 и № 6 — от 4-х до 3,5, № 8 — от 3-х до 2-х и т. п. В ходе постройки домов нередко производилась отсыпка грунта толщиной в два и более метра!

Практически все перечисленные дома были, конечно, доходными или же использовались под "хлебные магазины" (то есть амбары для хранения и просушки зерна) — разумеется, жить здесь одесская элита не помышляла, а вот удачно разместить капитал — пожалуйста. Между прочим, не-

сколько объектов этой ретроспективной недвижимости сделались уже мемориальными и включены в реестр охраняемых памятников архитектуры и градостроительства. Это, в частности, дома: Наума, № 3 (начало XX века, архитектор А.С. Панпулов), Бурназо, № 10 (начало XX века), Чижевича, № 18 (1875 г., архитектор В.Г. Брунс). Почему-то не охраняются примечательные дома №№ 1, 5, 11 и 14.

Местоположение спуска предопределило его функциональное, так сказать, назначение. Даже в большей степени, нежели Карантинный и Польский, Военный спуск как бы прислуживал порту, выполнял его разнообразные заказы, удовлетворял всевозможные потребности — не только в материальном, но и гуманитарном смысле. Здесь помещались представительства соответствующих заводов и обществ, мастерские всех морских профилей, специализированные склады, здесь находились конторы корабельных маклеров, магазины дешевого готового платья для мореходов, грузчиков, мастеровых, пивные и съестные лавки, трактиры, подозрительные погребки и "меблирашки", короче говоря, все то, что нужно сошедшему на берег морскому волку, подгулявшему грузчику или биндюжнику типа Фроима Грача.

В обширном доме княгини Елизаветы Андреевны Воронцовой-Дашковой, № 1 (не путать с дворцом, числящимся по Николаевскому бульвару), скажем, размещалась обширная специализированная слесарно-механическая мастерская Василия Мясоедова, ремонтировавшая судовые котлы и машины всех типов. В следующем доме, № 3, принадлежавшем Жаку Андреевичу Науму, находилось представительство Русского общества Смеловских корабельных цепей и якорных заводов, обеспечивавшее порт соответствующим сортаментом. В реестре "магазинов пароходных принадлежностей" видим сразу четыре на Военном спуске: Осипа Винника — в доме № 18, Хавы Израильсона и Крейна Маргулиса — в доме № 1, Мойше Лехтцинда — в доме № 3 и Авраама (в других источниках он назван Иосифом) Маргулиса — в доме Голдсмита, № 6. Если вы полагаете, что к пароходным принадлежностям относятся исключительно машины и механизмы, то сильно заблуждаетесь. Здесь можно было приобрести и саквояжи, и баулы, и ватерпруфы, и зонтики, и ночные вазы, и оптику, и ткани, и столовые приборы, и "керосиновые кухни", и, например, специальные часы — устойчивые, приспособленные к условиям качки, и сувениры, и вообще массу полезных вещей, необходимых в ходе путешествия.

В том же доме № 6 практиковал корабельный маклер Абрам Анисимович Грагеров — человек небезызвестный и заслуженный. Потомственный

почетный гражданин, купец второй гильдии, он состоял присяжным корабельным маклером Биржевого комитета, был членом Совета правления синагог и молитвенных домов и ряда благотворительных обществ. Опять-таки в доме Э.Я. Голдсмита помещалась контора другого авторитетного корабельного маклера — Н.А. Розенфельда. Он тоже купец второй гильдии, член Общества вспомоществования нуждающимся воспитанницам женской гимназии Масловой и Градской и проч. Розенфельд "принимал" также в доме Софьи Тимофеевны Дьепп, № 14, естественно, доходном. Одно время Грагеров и Розенфельд работали в тандеме. В доме Дьепп практиковал еще и другой корабельный маклер, Яков Маркович Розенблит, владевший домом на Слободке-Романовке, по Наличной улице.

Магазины готовой одежды для простонародья назывались "Крестьянским платьем", хотя на самом деле покупали тут больше городские жители. К "крестьянскому" относилось и флотское платье. Крупнейшим "реализатором" в течение ряда лет выказал себя предприниматель Гессель-Лейб Нухимович Брустейн. Здесь уместно заметить, что одно время Брустейн был ведущим шипчандлером (то есть поставщиком всего судового оборудования, включая продовольствие, как бы снабженцем) одесского порта. В безразмерном доме № 6 помещался его собственный магазин, а в 1-м номере (этот дом и в самом деле огромен даже по нынешним меркам) — другой, ко-



торый он держал совместно с компаньоном, Гершем Срулевичем Симаковым. Между прочим, они были совладельцами не только магазина, но и домостроения по улице Малой Арнаутской (тогда Суворовской), № 19. В доме Хаи Шварцер, № 2, такой же одежный магазин содержали Александр Хаймович и Мендель Барченко, а в доме Георгия Стамовича Евангелиди, № 8, — Исаак Цукерман (по другим источникам — Цунман). А в доме № 4 находился магазин флотской одежды Рафаила Бошняка.

Объявление, помещенное в одном из старых путеводителей, наглядно объяснит причины обилия подобных магазинов на Военном спуске, в непосредственной близости от порта. Становится понятной и причина, по которой шипчандлером был именно предприниматель, специализирующийся в данной отрасли. "Специальная торговля мужских платьев и флотской формы М.Х. Барченко. Специальный выбор флотских форм: зимние и летние формы для матросов и классных учеников, костюмы трикотовые и суконные, также разные синие костюмы для машинной команды и непромокаемые плащи. Большой выбор разного рода доброкачественного мужского белья, также фуражки форменные матросские и образцовые штатские, ленты для матросов прочной краски, готовые и по заказу".

Увеселительные заведения представлены двумя основными разновидностями — забегаловками и, прямо скажем, сомнительными "меблированными комнатами". Поражает также обилие так называемых "домашних обедов". Во все тех же поистине хрестоматийных домах №№ 1, 6, 8 находим как бы домовые кухни П. Групоренко, Е. Гайдамакиной, И. Влахо, Е. Иванова, М. Теливной. Плюс "меблирашки" Барбары Заржицкой в доме Павла Павловича Пигуренко, № 4, и В. Юхим — в доме № 2. Как Божий день ясно, что большинство из этих заведений представляли собой закамуфлированные дома свиданий, о чем встречаешь немало скандальных откликов в дореволюционной периодике. В первом номере была даже парикмахерская или, во всяком случае, заведение (армянская цирюльня К. Чиндинова), именовавшееся парикмахерской.

На изломе спуска (№ 13) и Гаванной улицы функционировали довольно популярные в свое время "Варшавские бани", содержателем которых был некто К.Ш. Окунев. В начале прошлого столетия бань в Одессе было три с половиной десятка. Однако в путеводителях персонально упоминаются лишь три лучшие, "мраморные" — "Варшавские", Исаковича и "Славянская". Недавно на месте дома № 13 развернулось масштабное строительство. Производитель работ, краевед и коллекционер А.М. Хазан, демонстрировал мне извлеченные из котлована три великолепные мраморные ванны,

каждая из которых высечена из монолита. Работа местных мраморщиков-итальянцев поражает своим изяществом. На дне ванны — небольшая ступенька-сидение, наружная боковая стенка украшена имитацией двух колец со скобами, якобы предназначенных для опрокидывания ванны.

Числящаяся по Военному спуску, № 9 (дома №№ 9-11 тогда перешли от Гагариных к крупному банкиру Рувиму Зонштейну), фешенебельная гостиница "Крымская" относится к нему чисто номинально, поскольку фактически выходила на Сабанеев мост и Екатерининскую площадь. Ее роскошный ресторан разного рода портовый люд навещал едва ли, разве что зарубежные капитаны и штурманы. А "босоту" вполне удовлетворяли: казенная винная лавка № 571, помещавшаяся в доме № 8 (сиделец — Софья Игнатьевна Клейнрених или Клейнгених), "Погреб русских вин" (то есть отечественных — бессарабских, крымских, кавказских) Семена Синихчянца в доме Жака Наума, № 3, а также съестная лавка Шмуля Фридмана на углу Приморской улицы и Военного спуска, числящаяся по Приморской.

К слову, первый казенный кабак, в доме Шейнса, на торгах, регулярно проводимых в городской управе, брался в аренду не очень охотно — народ-то кругом больно шустрый, да и, прямо скажем, небогатый. Если за питейный дом, скажем, на Греческом базаре, выкладывали более трех тысяч (!), то за эту забегаловку едва вносили две сотни. Впрочем, были здесь заведения и якобы солидные: чайный трактир Василия Станева в доме № 2, пивная зала, так называемый "бирхолл" или "биргалле", Михаила Нелена в доме № 4 и его же ресторация в доме № 10.

Наиболее экзотическими представляются заведения в ближайшем к порту доме Хаи Шварцер, № 2 (чайный трактир, "меблирашки" и проч.), как и сам его внешний облик, запечатленный на старой почтовой открытке. Домик этот, как и соседний, четвертый, давно снесен, а над пустошью нависает Тещин мост. А прежде... В первом этаже — бакалейная и табачная торговля, во втором — пряные припортовые кабачки, вынесенные на покрытие полосатыми навесами (так называемыми маркизами) балконы-галереи на "сваях", в третьем — комнаты для свиданий. Чудо! На другой открытке — вид Военного спуска сверху, от Сабанеева моста. Как он, однако, оживлен! Я насчитал не менее десятка дрожек на отменной булыжной мостовой, да сколько-то праздношатающихся там же и на тротуарах.

Прямо скажем, шумно здесь бывало. Припоминаете старую песенку одесских подворотен: "Идут, сутулятся, сметая с улицы, и клеши новые трещат по швам... Они идут туда, где можно без труда достать бутылку рома и вина, где пиво пенится, где жизнь не ценится..." — это как раз о Военном спуске.

Елена ДЬЯКОВА

А будет ли праздник на улице Щепкина?

Есть в Одессе улицы с чудными именами: Ясная, Тенистая, Радостная, Отрадная, Уютная, Морская... И есть улица хоть и не с таким благозвучным названием, но одновременно и ясная, и уютная, и тенистая, и чуточку морская (потому что северный ветер доносит сюда свежий запах моря, виднеющегося с перекрестка). Беря качало от ул. Конной (Артема), минуя ул. Торговую (Красной Гвардии) и ул. Дворянскую (Петра Великого) и заканчиваясь на ул. Преображенской (Советской Армии), именуется эта недлинная изумительная улица — ул. Щепкина.

Как говорит Большая Советская Энциклопедия, Щепкиных, оставивших значительный след в истории, было четверо.

Щепкин Михаил Семенович (1788-1863 гг.) — великий русский актер-демократ, основоположник реализма в русском сценическом искусстве.

Щепкин Вячеслав Николаевич (1863-1920 гг.) — русский ученый-славянист, языковед, палеограф, историк древнерусского искусства (внук актера М.С. Щепкина).

Щепкин Евгений Николаевич (1860-1920 гг.) — внук актера М.С. Щепкина, русский историк. В 1898-1906 гг., 1917-1920 гг. — профессор всеобщей истории Новороссийского университета в г. Одессе. В 1919 г. вступил в коммунистическую партию.

М.М. Щепкин в начале XX века вывел свиней сального типа (Щепкинские свиньи). Используя лучших животных белой породы, вывезенных из Англии, и помеси, полученные от их скрещивания с местными свиньями, М.М. Щепкин путем отбора, подбора, улучшения условий содержания и правильного кормления переделал тип животных, приспособив их к кормовым и климатическим условиям центральной полосы России. Впоследствии они вывозились на Украину.

Еще старожилы рассказывают, что в годы Второй мировой войны в дома по ул. Щепкина, №№ 11, 15, 17, угодили бомбы, оставив от сооружений лишь пару стен да кучу щепок. Но не этот факт, конечно, послужил данному названию улицы.

Улицей Щепкина официально стала называться она с 1921 г. в честь Евгения Николаевича Щепкина — профессора всеобщей истории Новороссийского университета, члена I Государственной Думы, который в 1919-1920 гг. был комиссаром высших учебных заведений г. Одессы. Кроме основной научной и преподавательской деятельности по истории

древнего мира, Средних веков, истории Византии, истории философии, народному творчеству народов стран Северной Европы, русско-французских дипломатических отношений, Е.Н. Щепкин занимался отчетами по Пушкинскому дому Одесского общества вспомоществования литераторам и ученым (1911-1913 гг.), вел переписку по делам общества (1914-1915 гг.). Ему также принадлежит проект устава Одесского социально-экономического и политического музея.

А потому данное после его смерти наименование улицы, где расположена значительная часть корпусов самого университета, прочно закрепилось в истории Одессы. Первоначальное название — Елисаветинская — улица получила в 1828 г. в честь Елисаветы Ксаверьевны, жены генерал-губернатора графа М. Воронцова. Хотя... краеведы упоминают ее в 1819 г. как ул. Вицмана по местоположению дома Вицмана В.А. Невзирая на две попытки (в 194I-1944 гг. — в годы румынской оккупации — и в 1994 г. — в первые годы независимости Украины) вернуть улице имя Елисаветы, память благодарных одесситов вновь и вновь возвращала заслуженное — ул. Щепкина.

Не секрет, что к середине XIX века благодаря порту Одесса становится не только торговым центром, но и научно-образовательным, и культурным, привлекая к себе внимание многих стран мира. Эти годы характерны интенсивным строительством по проектам лучших архитекторов того времени, многие из которых получили образование в столичной Академии художеств. И скоро благодаря их стараниям Одесса по красоте и правильности застройки становится третьим городом в Российской империи, соперничая лишь с Петербургом и Варшавой. Не обошел этот процесс и ул. Елисаветинскую. Естественно, что расположение на ней большей части корпусов Новороссийского университета, основанного на базе Ришельевского лицея в 1865 г. по предложению Н.И. Пирогова, обязывало и саму улицу быть "под стать" учебному заведению такого высокого ранга. Соответственно, улица была вымощена брусчаткой с устройством ливневой канализации. Широкие тротуары, обрамленные высоким гранитным бордюрным камнем, в середине своей и по всей длине имели газоны. На них на разном расстоянии высаживались разнообразные породы деревьев, специально завезенные в Одессу из Европы. Но изюминкой благообразия было обрамление газонов по периметру. Для этой цели пароходами из Италии (не жалея средств) завозился в больших количествах неимоверно прочный камень вулканического образования. Обработанный в Италии темно-серый камень (размером 35х35х15см) приближал облик черноморского портово-

го города, родившегося не на скалистых, а на глинистых берегах, к облику европейских городов. Велика его роль была и с эстетической, и санитарно-гигиенической точки зрения, особенно после дождей, когда в размокшей глине увязали и прохожие, и даже экипажи.

Конечно же, и здания, возводимые на этой улице, соответствовали запросам времени и моды. Недаром большинство из них и до сих пор — в реестре памятников архитектуры. А благодаря проживавшим в них знаменитостям — в реестре памятников истории.

Под государственным охранным номером 1055-ОД находится, пожалуй, два корпуса-ветерана. Этот жилой дом, построенный в первой половине XIX в. архитектором Пономаренко, является на сегодняшний день общежитием Одесского национального университета по ул. Щепкина, 2.

Напротив, по ул. Шепкина, 1, под № 1054-ОД — доходный (ныне — жилой) дом, имеющий два корпуса. Построен в 1824 г. архитектором Ф. Фраполли. От разрушения его спасают два все еще прекрасных атланта у входа. Угловой дом по ул. Щепкина, 5 (центральный вход — по ул. Торговой, 8), — дом Мейера, построенный архитектором П.У. Клейном в 1881 г., — здание гимназии. С 1999 г. — Ришельевский лицей, переживающий второе рождение.

Интересен планировочным решением дом-квартал с тройным проходным двором, соединенным арками. Построенный в 1883 г. архитектором Э.А. Шейнсом и А.К. Вейтко доходный дом (домовладелец инженер-химик Арнольд Перкель, доверенный фирмы "Леопольд-Геллерт"), расположился вдоль ул. Торговой с выходами-воротами на ул. Пастера, 19, и ул. Щепкина, 4. Здесь останавливался в сентябре 1902 г. Д.И. Ульянов, здесь проходили съемки эпизодов фильма "Зеленый фургон"... И несмотря на то, что и это здание находится под гос. охранным номером, 1057-ОД, 563-ОД, пребывает оно сегодня в плачевном состоянии, впрочем, как и многие другие его "друзья по несчастью". Обрушиваются карнизы, рискуя пришибить зазевавшегося прохожего, зачем-то выкрадываются чугунные ограждения-перила у мраморных внутренних лестниц, не говоря уже о самих мраморных ступенях!..

На Щепкина, 8, под охранным номером 1058-ОД числится жилой дом, построенный в 1903 г. в стиле "модерн" архитектором. М.И. Сталем.

Далее один за другим следуют корпуса зданий университета: административный корпус, корпус исторического факультета, Интересно решен комплекс зданий физического и химического факультетов, обращенных друг к другу, с обширным внутренним двором, клумбой в центре, ог-

раждением чугунного литья, с выходами на ул. Пастера, 27, и ул. Щепкина, 12/14. Здания построены в 1897-1898 гг. архитектором Н.К. Толвинским (№ 567-ОД).

Примыкает к ним торцом главный корпус, имеющий парадный вход со стороны ул. Дворянской, 2, (№ 594-ОД). Изначально в 1852-1857 гг. по проекту архитектора А.О. Шашина здание было построено для Ришельевского лицея. Но по инициативе Н.И. Пирогова с 1865 г. здесь утвердился созданный на базе лицея Новороссийский университет. И сегодня фасад главного корпуса является "визитной карточкой" этого высшего учебного заведения, известного чуть ли не всему миру. (Правда, в разные исторические периоды менялось и его название. В Союзе Советских Социалистических Республик назван он был Одесским государственным университетом им. Мечникова. А с 2000 г. имеет статус Одесского национального университета им. Мечникова. Это обстоятельство приводит в особый восторг тех, кто уверен, что одессит — это национальность.)

В былые годы напротив главного входа в университет на ул. Дворянской, № 1, красовалось во дворе с оградой двухэтажное здание Дворянского собрания. На его месте сейчас — величественное здание, возведенное в 1936-1938 гг. по проекту архитектора А. Минкуса (№ 593 ОД) для нового учебно-лабораторного корпуса Всесоюзного механико-технологического института консервной промышленности (поскольку в начале 1930-х годов в стране появилась потребность в хорошо оснащенных отраслевых институтах). В годы румынской оккупации в здании обосновались подпольщики. А в октябре 1944 г., когда преподавательский состав вернулся из эвакуации в освобожденный город, институт возобновил работу, расширив помещения (за счет примыкавших зданий), организовав производственную лабораторию технологии для дальнейшего производства консервов. С 1948 г. заслуженным деятелем науки и техники УССР В.Г. Мартыновским была основана кафедра холодильных машин, а с 1949 г. д. т. н. С.Г. Чуклиным — кафедра холодильных установок. В 1970-е годы институт получает название Одесского института низкотемпературной техники и энергетики. А в 1994 г. в независимой Украине получает статус Академии холода как итог истории зарождения холодильной техники в 1922 г.

Если неспешно экскурсией пройти дальше по тротуару (рискуя сломать каблук в выбоине или наступить на продукт жизнедеятельности очень престижных пород собак), то в кружеве ветвей и листвы можно разглядеть столь же кружевной фасад в восточном стиле номера 18, поразив-

шись, откуда вдруг такая роскошь и витиеватость среди строгих, почти классических форм. И удивиться тому, как давно этот изумительный фасад не ремонтировался — впрочем, как и само здание. В 1876 г. оно было построено по проекту архитектора В.Ф. Мааса. Четверть столетия спустя — перестроено А.О. Бернардацци под гидропатическое заведение (водолечебницу). Но дом вошел в историю города не только благодаря своему мавританскому стилю и подъемной машине (лифту), а благодаря своему подвалу, где размещалось ванное отделение с мраморными скамьями. Среди них в августе 1920 г. обосновалось кафе "ХЛАМ" ассоциации "Художественно-литературно-артистическая молодежь" под руководством Пролеткульта. Маяковский, Олеша, Багрицкий, Владимиров, Ильф, Кирсанов, ак. Алексеев, Шенгели... далеко не все имена побывавших в этих стенах личностей. Ныне здание входит в состав помещений Академии холода.

Доходный дом по адресу ул. Щепкина, 20, выстроен в 1900 г. архитектором С.А. Ландесманом. Сейчас первый его этаж занимает банк "Пивденный". И хотя вход в помещение банка — с угла дома, и имеет он адрес: ул. Преображенская, 13, суеверные банкиры из соображений безопасности присвоили себе юридический адрес — Щепкина, 20, что привело к исчезновению № 13 с Преображенской совершенно.

Напротив, с наглухо закрытым угловым входом, также с двойным адресом: Преображенская, 11, или Щепкина, 23 — жилой дом бывшего I Страхового общества "Россия". В конце XIX в. построен архитектором В.И. Шмидтом. Но несмотря на охранный № 748-ОД, в 1998 г. какие-то современные зодчие изуродовали его фасад, соорудив со стороны ул. Щепкина безобразный вход в полуподвал с навесом (напоминающий поддон для подогрева воды на дачных участках). Этот архитектурный "шедевр", вылезший на полтротуара, напрочь перечеркнув красную линию застройки, принадлежал частной фирме "Одеська Нива" с теннисными столами внутри.

Дом по Щепкина, 21, знаменит тем, что внутри его двора в одноэтажном флигеле (владелец — Шемиот) в 1825 г. жил великий польский поэт Адам Мицкевич. Сосланный в Одессу как член разгромленного общества филаретов, А. Мицкевич был назначен преподавателем словесности в Ришельевский лицей. А поскольку в Одессе в ту пору была самая сильная в России по числу членов масонская ложа "Понт Эвксинский", Мицкевич, конечно же, стал ее членом. Считая пребывание польского поэта в Одессе опасным, правительство установило за ним слежку. Но даже это обстоятельство не помешало Мицкевичу положить в Одессе начало поэме "Кон-

рад Валленрод". Осень 1825 г. стала для него прекрасной порой увлечения Каролиной Сабанской и как результат — "Крымские сонеты", образ Альдоны — героини в "Конрад Валленрод". По прошествии девятимесячного пребывания здесь А. Мицкевич отправляется в Московский университет, а через четыре года уезжает в Париж. Долгие годы комната в доме Шемиота сохранялась как реликвия, а на стене флигеля была установлена мемориальная мраморная доска — дань памяти. Ни таблички, ни комнаты сегодня не обнаружить. Осталась лишь память.

Дом № 19, построенный в 1850 г. архитектором Шашиным, сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, но в 1950 г. был отстроен заново, дабы сохранилась память о выдающихся его жителях. В 1870-1905 гг. здесь жил знаменитый физик Ф.И. Шведов — ректор Новороссийского университета; в 1832-1928 гг. — знаменитый ученый-механик, ректор Новороссийского университета И.М. Занчевский; в 1947-1964 гг. — выдающийся зоолог, зоограф, путешественник и поэт з. д. н. проф. И.И. Пузанов.

А в квартире № 1 в этом доме до 1925 г. обитала муза Александра Блока, известная как "Первая любовь" поэта Ксения Островская, жена специалиста по морскому праву В.С. Садовского, стала вдохновительницей появления 30 стихотворений гениального поэта А. Блока, в том числе и шедевра блоковской лирики "Через 12 лет". Трагическая судьба этой женщины легла в основу книги "Гамаюн" В.Н. Орлова. Хранимая всю жизнь связка писем А. Блока ее дочерью после смерти "Ксюши" была передана в музей.

В доме № 17 в 1920 г. находилась "камера контрразведки" деникинцев, куда доставили Петра Лазарева, а после гражданской войны — теоретическое отделение Института общей и прикладной химии, где учился будущий академик А.Т. Марх.

Дом № 15 был примечателен тем, что в нем проживал поэт и воздухоплаватель, "подельник" Иосифа Тимченко по созданию первого в мире киноаппарата и будущий дядя... лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака.

Построенный в 1950-е годы на месте разрушенного бомбой времен войны, новый дом примечателен по-своему. Кроме того, что здание является образцом периода постройки так называемых "сталинских домов", оно являет еще и пример оптимальной для климата Одессы отделки фасада — штукатурки с вкраплением кварца и слюды. Можно убедиться, что более полувека фасад не требовал ремонта и все еще привлекателен. Ка-

чество постройки по достоинству может оценить "Департамент недвижимости", расположившийся в его высоком цокольном этаже в 2003 г.

Домом № 11 владела вдова действительного статского советника Мария Качурина. Прямым попаданием бомбы он также был разрушен в годы войны, а в послевоенный период восстановлен руками пленных немцев по типу существовавшего. В середине 1965 г. при содействии Черноморского пароходства был надстроен третий этаж на крепком фундаменте 2-этажного дома и проведено паровое отопление, а с устройством бойлерной — появилась и горячая вода. После печного отопления с постоянной заботой об угле, керосине для примусов и керогазов, для жителей наступил период "райского обитания". Но всему хорошему когда-то приходит конец. Затянувшийся период образования нового государства Украина вверг жителей в состояние пессимизма. Добрый десяток лет живущие без нормального отопления и горячей воды люди стали подумывать о том, что "Щепкинским свиньям" столетие назад были созданы куда лучшие условия для жизни, чем ныне живущим на ул. Щепкина.

Дом № 9 уникален. В 1830 г. был он построен архитектором Бернардацци для купца I гильдии Г.Ф. Феохориди. Ведущим библиофилом стал его сын Феохарий Феохориди. Более 10 тысяч уникальных книг принадлежало ученому. В возрасте 50 лет, вернувшись после лечения за рубежом, был арестован в 1937 г. А библиотека... распылилась по разным собраниям.

На фасаде здания еще существует мемориальная доска, повествующая о том, что "В этом доме с 1944 г. по 1982 г. жил известный историк Вадим Сергеевич Алексеев-Попов", преподававший в Одесском государственном университете новую и новейшую историю, участвовавший в создании Музея обороны Одессы.

Закономерно или по стечению обстоятельств, но так исторически сложилось, что улица Щепкина — зона обитания профессорско-преподавательского состава высших и средних учебных заведений, музыкантов, актеров, литераторов, художников, т. е. людей без особого материального достатка. А потому не по силам им забота о разрушающихся памятниках архитектуры и истории.

Груз ответственности за техническое состояние зданий был возложен на плечи созданной в 1994 г. фирмы "Ренессанс" (взамен ЖЭУ-32). Но 11-летний период показал, что собранных с жильцов средств хватает лишь на зарплаты работникам да на устранение аварий. Как ни прискорбно, но без заботы государства тут не обойтись!

Кроме того, государственной охраны требует улица и от автомобиль-

ной стоянки, протянувшейся по всей длине в несколько рядов. Не озонирующие воздух выхлопные газы, испускаемые чудом цивилизации на четырех колесах, замечательным образом пытаются нейтрализовать великаны-деревья. Но порой и они не выдерживают нагрузки от переработки углекислоты в кислород. И тогда дерева с шумом и треском сваливаются непосредственно на своих обидчиков — к неудовольствию владельцев автомобилей и к удовольствию жителей, не имеющих таковых.

В марте 2000 г., в день посещения Одессы Президентом Украины Л. Кучмой и президентом Республики Польша А. Квасневским автомобильная стоянка на сутки дематериализовалась. Незадолго до этого была заново заасфальтирована проезжая часть улицы, сохранив на будущее для потомков историческую брусчатку под собой. Отремонтировали даже красивейшие корпуса факультетов физики и химии ОНУ. Улица Щепкина в тот памятный день так преобразилась и похорошела, что и на лицах ее обитателей засветились улыбки, и как-то сама собой возникла мысль: "И на этой улице будет праздник!!!"



Вадим КОРОБ

В походе
Быль

Шел 1921 год. Кончилась гражданская война. Трое выпускников Херсонской мужской гимназии — Стучевский, Короб и Езерский — приехали в Одессу, чтобы продолжить свое образование. При царском режиме они по "процентной норме" поступили в гимназию. Нужно вспомнить, что центр губернии город Херсон не имел ни одного высшего учебного заведения, а в Одессе они были. Она была третьим городом в империи по величине.

Первым был Израиль Стучевский. Еще в школьные годы он проявил себя способным пианистом, поэтому поступление в одесскую консерваторию было разумным шагом. (В России было всего три консерватории: в Петербурге, Москве и Одессе.) Окончив ее, сменив имя на Семена, он вскоре стал концертмейстером Большого театра, а впоследствии народным артистом СССР. Но тут, в Одессе, пути наших героев разошлись.

Второй, Абрам Короб (мой отец), был в сложном положении. В гимназии он сидел за одной партой со Стучевским. Во время учебы в гимназии давал сольные концерты на скрипке у себя в Херсоне. Казалось, консерватория ждет его, но жизнь все изменила. Сначала умер его старший брат, а потом и отец. У него на руках остались шестеро сестер и братьев, мать и бабушка. Нужно было выбирать более простую, но надежную специальность. Он поступил на механический факультет одесского политехнического института и с первого курса начал параллельно с учебой подрабатывать. Все свои приработки он посылал домой в Херсон. Ему удалось двум старшим сестрам дать высшее образование (обе стали врачами), следующим — среднее, братья не получили никакого.

Третий — Яков Езерский, вместе с Коробом принятый по "процентной норме", не раздумывал, какую специальность себе выбрать. Во время гражданской войны он был у красных медбратом, поэтому и пошел учиться в медицинский институт.

В те времена общежитий не было. Друзья сняли комнату по улице Жуковского, рядом с тем домом, где когда-то жила Леся Украинка. Друзья жили очень бедно. Якову не в чем было ходить на лекции. Кто-то из друзей достал большой сахарный мешок. В нем прорезали отверстия для рук, разрезали так, чтобы получились штанины, и в таком наряде Яков ходил на лекции. Есть было нечего, и Яков решил перебраться в тогдашнюю сто-

лицу Украины — Харьков, где жили его замужние сестры. Мой отец пришел проводить друга на вокзал и принес две буханки белого хлеба. В то время это была настоящая драгоценность! За одну буханку проводник посадил Якова в вагон. Другая была для Якова единственной едой во время долгого пути до Харькова. Из-за постоянного перебоя с углем поезд вместо двух суток был в пути целых шесть. Так мне это об этом впоследствии рассказывал Яков Эммануилович.

В Харькове Якова сестры не впустили в квартиру. Они заставили на улице раздеться. И не удивительно — он был весь покрыт шевелящимися вшами! И сразу его сунули в горячую ванну, одежду сожгли, а одели его в старые вещи своих мужей.

Через некоторое время Якова приняли в медицинский институт на второй курс. Совершенно случайно он услышал, что дежурный врач в сумасшедшем доме получает бесплатно один стакан сладкого чая и два бутерброда с маслом, и сколько угодно кипятка. Яков начал дежурить за всех! Так он неожиданно приобрел специализацию. После окончания института он получил квалификацию врача-психиатра.

На рубеже 20-х — 30-х годов молодой психиатр Яков Эммануилович Езерский работал в Харькове на "Сабуровой даче" (так называлась психиатрическая клиника, построенная купцом Сабуровым на собственные деньги, куда вскоре он сам и попал), состоял членом ОПТЭ и проводил летний отпуск в туристских путешествиях.

Нынешнее устройство туризма отличается от того, что было в те времена. В советской стране туризм возглавляло и обслуживало Общество пролетарского туризма и экскурсий — ОПТЭ. Оно возникло в 1928-1930 годах на месте РОТ — Российского общества туристов. Организация была очень мощная. Она состояла из областных, городских и районных секций, ячеек на предприятиях и учреждениях, в институтах. Общество располагало сетью туристских баз, имело два завода по изготовлению туристского снаряжения. Один находился в Ленинграде, другой — в Нальчике. Туристской работой ведали ученые и краеведы, опытные путешественники. Председателем ОПТЭ был нарком юстиции Николай Васильевич Крыленко. В 1939 году эта система была погублена.

В течение года Яков, работая в больнице, принимал участие в делах секции, платил членские взносы, которые к лету складывались в довольно приличную сумму. На эту сумму выдавалась заборная книжка, которой можно было оплачивать пребывание на турбазах, прокат снаряжения, получение продуктов и кроме того, при предъявлении которой билеты на

все виды транспорта оплачивались половинной стоимостью. Туристы имели право на "круговой билет", то есть "туда" и "обратно". Ну и, конечно, при предъявлении такой книжки можно было взять проводника от одной турбазы до другой.

В то лето Яков намеревался пройти по Военно-Сухумской дороге. На Кавказе есть три перевальные дороги: Военно-Грузинская дорога, Военно-Осетинская дорога и Военно-Сухумская дорога. Так они располагаются с востока на запад, пересекая Главный Кавказский хребет. Военно-Сухумская дорога начинается в станице Баталпашинской и идет сначала по долине реки Кубань, а потом по долине ее притока — Теберда. Через перевал Клухорский (2782 м) она пересекает Кавказский хребет и подходит к городу Сухуми на берегу Черного моря. Есть еще варианты: пройти начальную часть пути от Пятигорска и Кисловодска до Карачаевска, дальше обычным маршрутом. И в конце пути спуститься не в Сухуми, а в Новый Афон (Ахали-Афони). Именно этот вариант избрал Яков.

У Якова был обычай: подбирать себе спутника на турбазе. Вы, конечно, можете сказать: "Как можно, впервые увидев человека, решить, что с ним можно идти в горы?". Напоминаю: Яков — психиатр, а значит, будучи хорошим психиатром, а он и был таким, он еще был хорошим психологом, значит, разбирался в людях. Пока обитатели турбазы делали экскурсии по Пятигорску, Яков присматривался к ним. К тому времени, когда посмотрели Ессентуки и перебрались в Кисловодск, компаньон был уже найден. Это был инженер Георгий, ровесник Якова.

Друзья вместе с остальными побывали на экскурсиях в самых интересных местах Кисловодска. Они побывали в экскурсии по Лермонтовским местам, в "Замке коварства и любви", посетили Кольцо-гору, "отметились" в бюветах минеральных источников. Вместе с тем они много часов провели в инструкторском кабинете, выписывая продукты и снаряжение для будущего похода. Нашелся и проводник — местный житель, имевший свою лошадь. Договорились, что проводник с лошадью будет их сопровождать до Карачаевска.

Раним утром они вышли с территории турбазы и зашагали вдоль реки Подкумок, рассчитывая вскоре прийти в горную область Карачай. На юго-западе синела горная цепь — Главный Кавказский хребет и отделявшийся от него массив — двухвершинный Эльбрус (5642 м и 5621 м). Временами дорога ныряла в ущелье, и ничего не было видно, кроме каменистых обрывов. Только река бежала им навстречу. Проводник подгонял свою лошадку, и друзья шли легко. Удивительно, но никого на дороге не

было, ни встречных, ни попутных, ни пеших, ни конных. Дорога была пустынна. Под вечер проводник чего-то заартачился и отказался продолжать с ними идти. Он сел на свою лошадку и, даже не взяв договоренной платы, ускакал назад. Положение резко изменилось: раньше тяжеленные рюкзаки ехали на лошади в перемет (притороченные к седлу по обе стороны животного). Теперь туристы взяли поклажу на плечи и пошли к ближайшему аулу. Как обычно, в начале похода — много продуктов, и рюкзаки были очень тяжелы.

Уже совсем стемнело, когда наши путники добрались до аула. На темном небе светились звезды. Здесь, в горах, они казались большими, чем на равнине. Усталые путешественники не стали искать особый ночлег, а просто постучали в крайнюю саклю, увидев пробивающийся свет. Хозяин сакли отчего-то страшно перепугался, увидев перед собой двух незнакомых мужчин, потом затащил наших друзей в саклю и выскочил во двор, а вернувшись, возбужденно спросил Якова: "Вас никто не видел в ауле?". Удивленный доктор ответил: "Нет!". Хозяин сакли сказал: "У нас сегодня был мятеж против советской власти. В ауле порубили всех, кто представлял власть, всех большевиков, и сейчас хватают всех, кто не местный". Яков механически пощупал свой партбилет. "Так вот почему удрал наш проводник!"

Руководил мятежом стекольщик. Человек с ящиком, которого все видели переходящим из аула в аул и занимающимся своим нехитрым ремеслом. Только в Лондоне знали, кому положено, имя того человека — офицера МИ-6. Те же люди, с которыми беседовал стекольщик, этого не подозревали. Они ему жаловались, что не вспоминают их древнее дворянство, их былые заслуги, что у богатых отняли стада. А стекольщик исподтишка поддерживал недовольство советской властью. И вот — мятеж!

Что делать? Попробовать идти вперед по маршруту? Возвращаться назад? Это пытались решить Яков, Георгий и хозяин сакли. Страсти немного улеглись, хозяин и путники уселись вокруг очага. Раздули огонь. Хозяин их покормил чем было. Яков и Георгий, в свою очередь, достали из рюкзаков нехитрую походную еду и угостили хозяина. И вдруг Яков заметил, что их у очага было не трое, а четверо. Четвертой была красивая молодая женщина. Она сидела в углу молча и неподвижно.

Что делать, так и не решили. Хозяин проводил Якова и инженера в чулан, закинул сверху на них всякие ненужные вещи и предупредил, что ни разговаривать, ни, тем более, выходить из чулана нельзя. Нужно дождаться следующей ночи, а сейчас аул оцеплен, и всюду рыскают конные разъезды... Наступила вторая ночь. Хозяин пришел будить Якова и Геор-

гия, но они не спали. Хозяин сказал, что, к сожалению, изменений в их положении не произошло, и нужно по-прежнему опасаться всяких неожиданностей. Они, как вчера, сели у очага, поели и начали обмениваться впечатлениями с хозяином. Якова еще вчера заинтересовала странная женщина, сидевшая у очага.

— Хозяин! Скажи, пожалуйста, кто эта женщина, что сидит с нами у огня? — спросил Яков.

— Это моя жена. Она увидела, как наш единственный ребенок, наш мальчик, упал в пропасть. Она закричала и упала без чувств. Женщины подобрали ее, принесли в нашу саклю. С тех пор, а это уж не один год, она почти не двигается и почти не разговаривает. Я сам ее кормлю и даже мою.

— Слушай, хозяин! Я врач. Давай, я вылечу твою жену!

— Путник! Не достойно надсмехаться над горем человека! Если бы ты не был моим гостем, особой для меня священной, то ты бы узнал, из какой стали выкован мой кинжал!

— Да я, правда, могу вылечить твою жену!

— Многие пытались ее лечить: и ворожки, и знахарь, и даже сам мулла. Но ты видишь, она по-прежнему сидит молча у этого очага.

— Скажи, пожалуйста, твоя жена говорит по-русски?

— Нет, конечно.

— Давай, будешь учить меня вашим словам, а жену — русским!

— Зачем?

— Ты все сам поймешь!

С этого момента началась целенаправленная подготовка к сеансу гипноза необычной больной. Якову было необходимо, чтобы женщина его понимала, и можно было ей внушить, в чем и заключалось это лечение. Конечно, будь Яков немного постарше, то вряд ли он решился бы на этот шаг. Но несмотря на молодой возраст, у него был опыт и волевых решений, и тяжелых испытаний. Недаром во время гражданской войны он проработал медбратом! Ну, и Яков надеялся на свой лекарский опыт и удачу.

Так продолжалось несколько ночей. Да что несколько — пять! Несмотря на опасность, каждую ночь продолжалась учеба. Очень трудно было понять друг друга! Хозяин старался изо всех сил! Георгий тоже помогал как мог. Научившись разговаривать с больной, Яков загипнотизировал ее. И произошло чудо! Женщина встала, задвигалась по сакле и грудным голосом заговорила с хозяином. Опыт удался! Теперь и без гипноза она вела себя, как нормальный здоровый человек!

Хозяин был вне себя от радости. Но приближалось утро, и Якова и его

спутника Георгия нужно было опять прятать в чулане. Только они расположились под какими-то старыми тряпками, как раскрылась дверь чулана. Кто-то отбросил в сторону все это барахло и счастливым голосом прокричал:

— Дорогой! У нас снова Советы! Выходи! Весь аул ждет тебя! Все мои родственники стоят перед саклей! Они хотят увидеть и поблагодарить того, кто вернул с того света их сестру!

Зрелище было, конечно, необычайное. Перед саклей собралось, наверно, все население аула. Каждый хотел обнять доктора. Появились мехи с вином. На земле разостлали большой ковер. На нем была различная еда, холодная и горячая. На шампурах жарился шашлык из молодого барашка. Якова и Георгия усадили на самое почетное место. Молодежь, юноши и девушки, танцевали свои танцы. Ликование было всеобщим! Все хвалили волшебного доктора! Хозяин сказал Якову:

— Давай побратаемся!

Принесли рог с вином. Хозяин и Яков надрезали палец на руке и покапали кровь в вино, смешали и выпили. По обычаю гор они стали кровными братьями. Пришел ашуг, народный певец. Все мужчины приветствовали его стоя. У него в руках был музыкальный трехструнный инструмент, похожий на мандолину, на нем играли коротким смычком. (Яков постеснялся спросить, как он зовется.) Он настроил его и начал петь хвалу волшебному доктору Якову. Все поддерживали его рассказ громкими криками одобрения. Пиршество продолжалось до темноты.

Но как только стемнело, Яков и Георгий тихо подхватили свои рюкзаки и потихоньку удрали из аула. Вдруг бы простодушные горцы захотели, чтобы Яков приделал утраченную руку или ногу, вернул зрение или избавил от горба? В этом случае Якову вряд ли кто-нибудь позавидовал бы!

На небе светился месяц, и туристы за ночь прошли большой участок пути. Под утро они задремали в придорожных кустах. Когда они проснулись, над рекой плавал легкий туман, а по дороге двигались пешие и конные путники, попутные и встречные.

Через несколько дней русло реки Подкумок повернуло налево в боковую долину. Путешественники прошли мост в селении Карачаевск и двигались вдоль реки Теберда. Мост был деревянный, с особенностью: под него затекала река Теберда, а из-под него вытекала река Кубань. Наши туристы прошли вверх по реке немного от поселения и из больших камней сложили очаг. Собрать топливо на очаг было сложно — возле селений местные жители подбирали все, что горит. На ужин были каша и чай. Заснули. Утром то же "меню", продукты на исходе. К концу дня пришли

в Теберду. Природа здешних мест отличалась от той, что они видели раньше. Роскошная флора горноклиматического курорта Теберда, основанного перед первой мировой войной, ласкала взор. В Теберде была турбаза, наши путники решили там заночевать. Кроме того, на турбазе была столовая. Яков и Георгий поужинали и собирались еще и позавтракать.

По дороге к курорту друзья решили, что Яков будет представляться дамским парикмахером, а Георгий — шофером. И совсем не стоит рассказывать, как они сидели в чулане во время мятежа, и, тем более, говорить, как вылечили красавицу-горянку.

На турбазе кроме друзей были еще две группы: плановая и самодеятельная. В плановой было около тридцати туристов во главе с инструктором. Судя по разговорам, группу составляли московские студенты. Самодеятельная группа прибыла из Одессы. В ней — шесть студентов, руководители — студентка и еще одна девушка, работавшая после института. Якова удивило ее желание все обсуждать, о чем бы ни шел разговор.

Последний переход, и обе группы пришли на Северный приют. На ветру полоскался белый флаг с буквами О.П.Т.Э. (по орфографии того времени). Ровно натянутые палатки. Туристы начали готовить ужин. Инструктор раздал своим новенькие ледорубы и провел занятие по самостраховке на снегу. Все разошлись по своим палаткам. Только слышался голос высокой девушки из одесской группы. Из-за вечных споров Якову запомнилось ее имя — Рая.

Восхождение на перевал начали в пять часов утра. Прошли язык ледника. Прошли мимо красивого голубого Клухорского озера. Двигались по снежнику. Клухорский ледник — закрытый. Под снегом не увидишь трещины, но если туда угодишь — вряд ли удастся вытащить упавшего. Здесь как раз пригодились ледорубы и альпенштоки (горные палки из прочного бамбука, на одном конце — темляк, на другом — металлический штычок). Тропа шла по левому склону долины. Она была узкая, на ней едва помещались рядом башмаки. Цепочка растянулась вдоль склона. Первым шел инструктор, за ним его московская группа. Дальше шли одесситы: первой — руководитель, второй — Рая, дальше — юноши. За ними Яков и Георгий. Москвичи тщательно ставили перед собой ледоруб на расстоянии вытянутой руки, втыкали его в снег и подтягивались к ледорубу, делая два шага.

Рае стало скучно медленно двигаться в цепочке. Она выскочила из своего места и побежала слева от идущих. "Рая, стой! Рая!" — кричала руководитель. Руководитель побежала за ней, тем более что ведущие сворачивали за выступ скалы и вот-вот стали бы не видны идущим сзади. Она

пробежала метров десять и вдруг сорвалась с тропы. Все мелькало, а скорость скольжения все росла. Фотоаппарат на кожаном ремешке при каждом ухабе бил по голове. Она продолжала скользить на спине все ниже и ниже. Склон имел высоту четырехэтажного дома. Дальше — озеро. Неимоверным усилием ей удалось перевернуться на живот и еще сбросить одну лямку рюкзака на случай попадания в озеро. Теперь она вжала оба локтя в снег и затормозила в четырех метрах от воды. Рядом с ней стоял инструктор. Услышав крики одесситов, он остановил цепочку и в несколько прыжков спустился по снежнику, сохраняя самостраховку.

— Цела?

— Цела!

— Сами идти сумеете?

— Конечно.

— Я буду бить ступени, идите по ним.

И вот два человека медленно поднимаются на тропу. Конечно, спуститься было делом минуты, а добраться до тропы...

Рая стояла на своем месте в цепочке, как будто ничего не произошло. Яков во время этого события не позволил одесситам что-либо предпринимать, а то приключение могло стать трагедией. Зашагали дальше. С перевальной точки (2782 м) наконец увидели за перевалом море. Оно занимало половину всего, что можно было увидеть! Синее, голубое и зеленое, оно переливалось на солнце и манило к себе.

Главный Кавказский хребет пройден! Можно было спуститься прямо в Сухуми. Привал! Группы остановились на Южном приюте. Отдышались. Инструктор собрал ледорубы и сдал их работникам приюта.

Вдруг Рая поднялась на ноги и с криком помчалась по тропе на Сухуми. Одесситы, не отдохнув, вынуждены были бежать за ней. Разумеется, это был первый и последний ее поход. Дома ее ждало решение ячейки ОПТЭ с запретом ходить в походы и выговор по профсоюзной линии.

Друзья повернули правее и вскоре с плановой туристской группой направились в бывший монастырь, по-грузински — Ахали-Афони. Казалось, на этот участок пути понадобится два дня, но тропа перешла в дорогу, шедшую к морю, и к полудню группа была на месте.

Монастырь был упразднен. В кельях монахов помещалась турбаза, а в трапезной работала столовая. Сразу по кипарисовой аллее наши друзья помчались к морю. На галечниковом пляже сбросили башмаки, спрятали документы и деньги и бросились в воду. Выбрались из моря вымытые, в постиранной одежде. Выкрученную одежду разложили на крупной темно-се-

рой гальке. Когда вещи немного подсохли, пошли в столовую обедать. После обеда сдали в прокатный пункт альпенштоки и другое прокатное снаряжение. Вечером еще раз, довольные, окунулись в волны Черного моря. Яков собирался окончить статью в медицинский журнал, поэтому присмотрел в парке уютное местечко, где можно спокойно писать статью.

Ужин был обычный. В столовой были расставлены столы на четырех. После ужина был традиционный компот с только что выпеченной булочкой. Спали без снов.

Проснувшись утром, Яков и его друг помылись и отправились в столовую. В столовой были заметные перемены — столы москвичей были сдвинуты в один. На нем были расставлены салаты, фрукты, горячее мясное блюдо, несколько бутылок местного вина, традиционный компот и, конечно, цветы в вазах. Москвичи во главе со своим инструктором стояли вокруг этого стола и чего-то ожидали.

Когда появились Яков с Георгием, их провели к почетному месту. Молодой турист Ваня запел заздравную из оперы Верди "Травиата", но несколько переделал ее слова:

"Наполним, наполним бокалы вином
И выпьем за Якова все мы!
Сегодня его светлый день рожденья,
Его мы поздравить спешим!"

Вы помните, что это дуэт. И правда, к Ване присоединилась девушка из московской группы, Лиза, и продолжила "Застольную".

При первых звуках их пения Яков замер — это было не любительство! Они пели, как мастера! Яков слышал многих певцов, но таких можно услышать нечасто. Георгий тоже наслаждался удивительным пением. Потом все спели старинную студенческую:

"Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой
Собралися мы сюда..."

Оказывается, накануне Георгий в присутствии инструктора проговорился, что завтра у Якова день рождения. Вот почему по совету инструктора москвичи устроили этот праздник. Ваня запел украинскую народную песню:

"Глянь, яка ніченька
Ясная, зоряна..."

Инструктор тихо радовался. Подходили новые туристы и останавливались вокруг столов москвичей. В столовую вбежал дежурный инструк-

тор с красной повязкой на руке и что-то начал было говорить. На него дружно зашикали, и он смущено замолчал и тоже встал рядом с другими слушателями. Лиза пропела:

"Что мне жить
И тужить
Одиноко..."

Инструктор понимал, что недаром он выхлопотал разрешение на праздник и вместе со своими туристами устроил этот стол. Он подмигнул своим соседям и запел известную пионерскую:

"Вы послушайте, ребята (бита, бята),
Жили в лагере мы как (как, как),
И на солнце, как котята (тята, тята),
Грелись этак, грелись так!"

Хоть большинство туристов вышло из пионерского возраста, все дружно стали подпевать. Тут повара принесли большой торт с кремовой надписью "28" и нож, чтобы его разрезать. Яков начал расспрашивать, кто Ваня и Лиза. Оказалось, Иван Козловский — студент консерватории, а Елизавета Шумская окончила в провинции музыкальное училище и сейчас поет в одном из московских оперных театров. Оба они не знали, что через три года станут солистами Большого театра, гордостью советской оперной сцены, народными артистами.

Яков после "завтрака" пошел работать над статьей, а когда пришел на обед, столы стояли как обычно, а москвичей уже не было — их путешествие окончилось и они отправились домой. Инструктора тоже не было: он получил новую группу и занимался с ней.

Два дня — и статья была готова. Яков на почте переписал статью набело и послал ее в редакцию медицинского журнала. Утром следующего дня уехал домой Георгий, а вечером Яков сел на пароходик и отправился в Новороссийск. Оттуда поездом он прибыл в Харьков. Так окончился этот поход.

В 1952 году Яков Эммануилович Езерский отдыхал в одесском военном санатории напротив парка Шевченко. Здесь он встречался со своим другом детства Абрамом Давидовичем Коробом, к. т. н. доцентом, зав. кафедрой мукомольного института. Ваш покорный слуга также бывал у него в гостях. Он похвалил меня за то, что я занимаюсь туризмом. "Туристские походы — как теплый душ для психики. Медленно изменяющийся пейзаж при пешем движении по маршруту или на лодке — это то, что очень полезно человеку". Как-то под настроение он рассказал мне и об этом случае, а сейчас я — как запомнил — изложил его на бумаге.

Одессит до седьмого колена



Виктор Семенович, Ольга Юдовна и автор этих строк

Замечательный одесский старожил Виктор Семенович Фельдман недавно получил международную Дерибасовскую премию за особые заслуги перед Южной Пальмирой. Нескольким поколениям горожан близок и дорог по-домашнему, по-родственному теплый, даже уютный образ этого добрейшего человека — хранителя древностей, краеведа, библиофила.

Если полистать запыленные архивные папки, то в реестре одесских цеховых купцов за 1832 год можно отыскать мещанина Шимона (Семена) Фельдмана. С тех самых воронцовских времен почти все Фельдманы по мужской линии — кузнецы и Семены. Отец Виктора Семеновича был классным рабочим-оптиком, но вот, по словам сына, "случилось с ним такое несчастье — влез в революцию". Семена Фельдмана осудили по делу "О незаконном собрании социал-демократов на Картамышевской улице и вооруженное сопротивление полиции". Бракосочетался он... в одесской тюрьме, а ссылку отбывал в Вологодской губернии вместе с небезызвестным В. Воровским. Мать В.С. Фельдмана получила медицинское образование в Берне с подачи состоятельной тетки, а затем училась в Новороссийском университете. Отец ее был поистине бабелевским биндюжником. "Ты разве еврей, — возмущалась бабка, — ты кацап, ты кушаешь сало". На что дед отвечал: "Я человек рабочий. Мне надо кушать. Бог на меня за кусочек сала не обидится. А если обидится...". Тут следовал каскад крепких идиом.

Во время первой мировой войны мать Виктора Семеновича служила в госпитале, расположенном на углу Базарной улицы и Треугольного переулка. Здесь, в маленькой квартирке при госпитале, он и родился в 1915 году. Окончил семилетку, поступил на рабфак, параллельно освоил

профессию грузчика, учился в Педине, попал на фронт — обычная среднестатистическая "советская биография". Но потом жизнь сложилась нестандартно: случай привел в Научную библиотеку Одесского университета, где Фельдман и служил много десятилетий не только главным, но и ведущим библиографом. В годы гонений на космополитов, националистов и прочих крамольников Виктор Семенович сберег немало запретных книг, обреченных к уничтожению как идеологически враждебных. Увлекся личностями Дерибаса, Ришелье, Ланжерона, Воронцова и других видных фигурантов региональной истории, тогда не только не почитаемых, но и всячески осуждаемых.

Далее — фундаментальные исследования блестящих именных книжных фондов М.С. Воронцова, А.Г. Строганова, одесской периодики и книжной торговли в XIX веке, истории Ришельевского лицея и наследовавшего ему Одесского университета, их библиотек и т. д. В течение многих лет Виктор Семенович — незаменимый консультант научных работников и краеведов, занимающихся историей Одессы и региона, один из главных персонажей в летописи двух великолепных научных секций Дома ученых — "Одессика" и "Книга", любимец интеллектуальной элиты. Совесть Одессы — вот кто он, но почему-то до сих пор не почетный и не заслуженный ее гражданин. Вероятно, власти тянут до следующего "круглого" юбилея. Дай-то Бог, чтоб именно так оно и получилось.

Посещение "голубятни" в Воронцовском переулке, где под самой крышей старинного дома столько лет душа в душу живут Виктор Семенович Фельдман и его замечательная супруга, столь же дивный библиофил и краевед Ольга Юдовна Ноткина, — подлинный ритуал. Ежегодно 31 декабря вместе с А.Ю. Розенбоймом, М.Б. Пойзнером и С.И. Вайнблатом мы ходим смывать накопившиеся грехи отнюдь не в баню. Это вовсе не означает, что мы не посещаем любимых патриархов и в другие дни, но предновогодние часы — святое дело. Явимся, отчитаемся, обнимемся, выпьем рюмку-другую, закусим, бывает, даже споем, напитаемся новыми силами, и год задается. Пусть же таких вот совместных удачных лет будет как можно больше!

...Наш герой никогда и ни на что не жалуется, не в его это правилах. "Болеть сейчас дорого, — смеется В.С. Фельдман, — а умирать еще дороже".

Олег ГУБАРЬ

ПРОЗА

Виктор МАТИЗЕН
Созвездие Кролика 57

Андрей КРАСНОЖОН
Нерубайский underаунд 61

Владимир КАТКЕВИЧ
Окольцевали 74

Леонид ЗИЛЬБЕР
Государственная тайна 78

Анатолий КОНТУШ
Краткая история пьянства 82

Владимир ЕФИМЕНКО
Бах 98

Константин К.
Индульгенция на вседозволенность 101

ОДЕССА —ДЮССЕЛЬДОРФ
Галина ПЕДАХОВСКАЯ
Ночь в Амстердаме 105

Раф АЙЗЕНШТАДТ
"Revisor" 128

Виктор МАТИЗЕН

Созвездие Кролика

Посвящается Е. Я.

Он был похож на женщину, в которой было что-то от ребенка, рожденного ею от него.

Его детские годы были доверху наполнены днями. Он щедро расплескивал их запас, пока на тридцать восьмом году жизни не обнаружил, что остались лишь ночи с восковой луной сквозь решетку узкого окна. Тогда судьба погнала его в далекий город снегов и беззвучной зимней пустоты, где заставила метаться между тремя похожими, как сны идиота, местами: проходной комнатой в загаженной хрущобе, закутком в подвальной библиотеке и каморкой охранника на территории заброшенного склада дефектных игрушек.

В детском саду он появился с одноухим плюшевым кроликом, подарком сгинувшего отца. Кролик как источник возможной эпидемии желудочно-кишечных заболеваний был немедленно отобран воспитательницей и предан сожжению в садовом крематории, построенном специально для таких случаев.

Помнившие его по тем годам говорили, что уже тогда он был высокого роста с невнимательными худыми ушами. В его мемориальной квартире остались слепки ушных раковин, отпечаток голоса на старом еврейском окне, неубранная кровать с серым бельем и плачущие хранительницы музея, его мать и сестра, похожие друг на друга, как две капли воды на третью.

В возрасте двенадцати лет он поймал одичавшего молдаванского трусика и стал каждый день носить его в школу, унылое здание со стойким запахом хлорки из никогда не закрывавшихся и переполненных испражнениями и двоечниками сортиров. Отсиживаясь там на корточках, он карябал черным ногтем на засморканной стене запретное слово "папа".

За партой он поглаживал высовывавшего голову из портфеля зверька и всегда отвечал невпопад. Однажды, когда учитель новейшей истории, партиец с косой челкой, закрывавшей кривой глаз, задал ему вопрос о движущих силах революции, он машинально процитировал "Жизнь животных", которую читал на перемене, — тот выхватил кролика и размозжил ему голову о подоконник.

В девятом классе он написал свое первое стихотворение. Он писал его на передней парте, уставясь в проем стола, за которым сидела смазливенькая учительница английского. Когда он проводил взглядом по ее ногам,

уходившим в таинственную темноту под юбкой, у него кружилась голова и пересыхало горло. Он отводил глаза и лихорадочно рвал ручкой бумагу.

Теперь его имя высечено на памятной доске другой школы, где он никогда не учился, но более фотогигиеничной. Там же сообщается, что он окончил ее с серебряной медалью.

Как-то, когда ему стукнуло восемнадцать, он проходил под нависшим балконом дома на Мясоедовской. Осыпав его мелкой водяной пылью, за шиворот ему пролилась струйка. Задрав голову, он уткнулся взором в купол, из-под которого тянулись нежные картофельные ростки ног. Глядя на него, женщина засмеялась, убрала лейку и медленно протащила ткань обратно за балконную ограду. Держа лицо запрокинутым, как если бы носом шла кровь, он поднялся на второй этаж и остановился на площадке, затаив дыхание. Прошла минута, и дверь беззвучно отворилась.

Стихи его были разбросаны по всему жилью, торчали с полок, валялись под диваном, он пользовался ими как закладками, ставил на них чашки с чаем, стряхивал пепел, сворачивал из них голубей. И казалось, лишь невесомая пыль, взвешенная в коричневом воздухе комнаты, связывала лежащие повсюду листки, исчерканные в разных направлениях горячечным почерком, в один воображаемый том, включая в него расклеенные по ободранным стенам перековерканные газетные заголовки и скомканные счета, и бесчисленные рисунки, где с маниакальным постоянством варьировались профили генсеков, поэтов, ближайших друзей, безжалостные автопортреты и обрубки старческих тел с пупырчатой гусиной кожей. Работал он вспышками: загорался быстро, как сухая трава, и так же быстро гас — времени хватало ровно настолько, чтобы залепить косыми строчками оторванный откуда ни попадя клочок бумаги. Со временем клочки эти только уменьшались, строки стали наползать друг на друга, превращая обрывки в месиво неразличимых знаков.

Дней в его жизни оставалось уже немного, и он инстинктивно берег их. Душными ночами, когда город тяжело дышал неподвижным воздухом лета, он выходил на залитые луной улицы, мерил их длинными шагами, описывая сложную ломаную, в углах которой гнездились его друзья из вымирающего племени полуподвальных дервишей. Он обходил их, как последний император островной империи обходит свои смываемые океаном владения, и постепенно ломаная теряла звенья, пока не превратилась в отрезок прямой между его жилищем и дверью барака, где обитал его единственный уцелевший друг. Потом наступила ночь, когда и эта дверь оказалась заколоченной. Машинально проведя пальцами по колючей по-

верхности прибитой наискось доски, он двинулся обратно, оседающий, как резиновый жираф, из которого вытекает воздух.

Выходить стало некуда и незачем; он лежал на продавленном диване, укрыв ноги пиджаком, обрастал седой щетиной и смотрел в небо сквозь прутья оконной решетки. Так встретил он свое тридцатисемилетие, возраст, к которому многие поэты достигали величия и смерти. Вместо них пришла случайно заброшенная с дальнего северо-востока знакомая его пропавшего друга, пожелавшая увидеть автора когда-то слышанных и запомнившихся ей строк.

Эта рыжеволосоногая нимфа с крапленой бледной кожей лица и тела, с глазами цвета зеленой виноградной мякоти сошлась с ним. На пространствах ее кожи и в недрах плоти сосредоточились отныне его помыслы, из которых взросли стихи, через много лет принесшие ему посмертную славу.

Жить было негде. Им пришлось остаться с матерью и сестрой в неопрятной комнате трущобного дома на бывшей Госпитальной. Чтобы справить ночную нужду, приходилось спускаться во двор и долго блуждать по лабиринту похожего на каземат сортира, где глухо и страшно урчала вода, а в прореху крыши заглядывали колючие звезды, в расположении которых он угадывал очертания кролика. Женщины встретили друг друга со скрытой враждой, которой он ничего не мог противопоставить, кроме любви ко всем троим, только усугублявшей взаимную неприязнь.

У них родилась дочь, кричавшая по ночам в первый год своей недолгой жизни. Не знавшие раньше хронического недосыпа, они яростно вырывали друг у друга минуты сна, и с тех пор их отношения установились на той истерической ноте, которую взяли в эти ночи полубдения-полудремы. Мать с сестрой незаметно и неуклонно делали их совместную жизнь невыносимой. В конце концов, она забрала дочку и на грани помешательства уехала обратно.

Он был почти рад ее отъезду, но вскоре почувствовал, что не может вынести ночного одиночества. Ему грезилась ее кожа, то переливавшаяся веснушчатым млечным путем, то расстилавшаяся ковыльной пустошью с вкраплениями песчаника. Он рванулся за ней, но спустя год метаний и диких ссор вернулся.

Абстиненция началась через неделю. Он засыпал ее невнятными телеграммами, ежедневно вызывал на переговоры, требуя встречи и боясь ее, без конца брал билеты и за несколько минут до отправления сдавал их. Наконец он догадался напиться и пьяным вскочил на подножку уходящего состава.

К Екатеринбургу страх вытолкнул его из вагона. Прослонявшись несколько часов по замусоленному вокзалу, он пересел на обратный поезд, но к Харькову тоска вновь схватила его за горло. В Перми припадок ужаса снова выгнал его на перрон и качнул назад. Приступы учащались, сокращая размах колебаний, пока он не очнулся неподвижно стоящим на привокзальной площади города с незнакомым ему названием Краматорск и не понял, что уже никуда не хочет.

Он был в тонком зимнем пальто мышиного цвета, с чемоданом, набитым стихами. Губы его безостановочно шевелились, подбирая рифму к слову параблепсис. Рифмы не было. Стихи и семья взаимно исчерпали друг друга. Он чувствовал, что жизнь его, струной натягивавшаяся меж двумя удаленными на тысячи верст городами и издававшая все более высокий тон, сейчас лопнет, испустив звук краматорского лета.

Его нашли на полосе отчуждения среди заросших бурьяном и забросанных гнилью шпал узкоколейки. Из чемодана, как из опрокинутой урны, вываливались мятые листки, в кармане пальто был рубль с копейками, неотправленная телеграмма жене и паспорт с квитанциями за оплату телефонных переговоров. На обороте одного из квитков было набросано его последнее стихотворение:

как тает ночь
как близко расставанье
в рассветных небесах
звезды последнее мерцанье
похмелья горечь на губах.

* * *

Есть в Краматорске место, где по вечерам, когда так отчетливы звуки и запахи, с особенной тоской вспоминается пыльное южное детство. Это засыпанный хлоркой общественный туалет. Если взглянуть дальше, там, за городской площадью, за зданием исполкома тянутся приземистые грязные улицы, за ними ковыльное поле и лесок, который, по уверениям местных охотников, кишит одичавшими кроликами.

Москва



Андрей КРАСНОЖОН

Нерубайский *under*граунд

Дайте обезьяне карандаш, белый лист бумаги и посмотрите, каков получится рисунок. Картина будет сродни экспрессионизму: хаотичные хитросплетения линий и зигзагов, не поддающихся осмыслению. Так вот, примерно подобным образом выглядит план одесских катакомб.

Проникнуть в них достаточно легко любому мало-мальски настойчивому желающему. Выйти, как правило, гораздо сложнее. Одесские катакомбы представляют собой запутанную сеть лабиринтов, протянувшуюся на многие сотни километров под городом и окрестностями. В разные времена в них скрывались деятели различных подпольных организаций: начиная от сатанистов и революционеров, заканчивая контрабандистами и партизанами. В честь последних даже открыли подземный музей в селе Нерубайском, около Одессы. В советскую эпоху он являлся одним из самых посещаемых музеев такого рода в мире. Теперь же редкая экскурсионная группа пройдется со свечками в руках по его мрачным коридорам, уставленным убогими предметами партизанского быта.

Одна из таких групп иностранных туристов направлялась в сторону Нерубайского на заказном микроавтобусе по объездному шоссе в погожий сентябрьский день. В пятнадцать часов пополудни микроавтобус миновал заправочную станцию при выезде из села Усатово и вышел на встречную полосу для совершения обгонного маневра. В это мгновение в него сзади врезалась легковая автомашина марки "Волга", и все как один проезжавшие мимо водители ехидно ухмыльнулись: "Только в Одессе, совершая обгон, можно получить удар в зад!". Началось разбирательство, экспертиза ГАИ, звонки друзьям и знакомым, а также вызов другого микроавтобуса для гостей не ближнего зарубежья.

А в эту самую минуту на глубине двадцати одного метра под местом столкновения, в узком лазе бокового хода заклинило любителя катакомб Засыпкина, состоявшего при городском военно-патриотическом клубе.

Засыпкин крепко застрял между утрамбованным дном и кровлей коридора. Он лежал на животе с вытянутыми вперед руками и пытался воздействовать на своего напарника словесным методом:

— Шишкин, грёбаный-потрепанный! Двумя руками ухватись, двумя! Ты что, похоронить меня здесь решил? Тяните, граф, тяните же!

— Сделай глубокий выдох и замри, — отвечал вспотевший Шишкин, тужась изо всех сил.

Засыпкин попался, как новичок. Совершил непростительную для себя ошибку. Он заполз в лаз на животе и застрял на конусообразном возвышении дна. Его ноги беспомощно болтались в поисках точки опоры. Локти бездействовали в узкой дыре. Перевернуться на спину, чтобы согнуть ноги в коленях и оттолкнуться, теперь не было никакой возможности.

— Мечта у меня появилась, — рассуждал Шишкин, сантиметр за сантиметром вытягивая товарища.

— Какая еще мечта?

— Хочу выпрямиться в полный рост, по-человечески. Провести тридцать часов в подземелье со средней высотой потолка в метр — это ж двинуться можно!

— Еще чуть-чуть! — обрадовался Засыпкин. — Кажется, пошло!..

— У меня вся спина ободрана, — жаловался Шишкин, игнорируя восторг товарища. — Шрамы, наверное, останутся. И по-маленькому здесь ходить неудобно.

— А ты лежа ходи.

— Это как?

— Очень просто. Ложишься на бок, достаешь хозяйство и вперед.

Шишкин на мгновение задумался. Затем глубоко вздохнул, напрягся и выволок на центральную штольню застрявшего напарника. Тот встал на ноги, отряхнулся, нацепил на пояс шахтерский коногон и зашагал по коридору, согнувшись в пояснице. Шишкин последовал за ним, спотыкаясь о камни и задевая плечами нависшую кровлю.

На каждом повороте Засыпкин замедлял шаг, высматривая на полу блестящие пикеты. Каждый такой значок был установлен в ходе прошлых экспедиций и маркировал в этом труднодоступном районе трассу на базу "Парашютисты". До ближайшего выхода на поверхность отсюда более двух километров. Даже для тренированного человека этот маршрут совсем не легок и занимает несколько часов. Никакие любители подземного экстрима и аматеры от спелеологии сюда не добирались (по крайней мере, самостоятельно). Редкими были даже визиты профессиональных спелеологов.

Последний раз экспедиция работала в районе базы "Парашютистов" три недели тому назад. Засыпкин участвовал. Он захватил тогда с собой пятилитровый бочонок вина. Однако группа подобралась из малопьющих людей. После рабочего дня за ужином все опрокинули по стакану вина и молча улеглись спать. Поэтому перед уходом с базы почти полный бочонок пришлось спрятать в камнях бутовой стенки, дабы не тащить груз обратно.

Мечта сюда вернуться тлела в Засыпкине все это время и теперь была близка к своему осуществлению. Налегке в компании с Шишкиным они вышли два с половиной часа назад с базы "Махно", расположенной в другой части лабиринтов, и уже находились в какой-нибудь сотне метров от заветной цели. Коллеги с "Махно" удивились такому безрассудному рвению, но отговаривать товарищей от тяжелого перехода не стали.

Друзья прошли последний сложный участок, протянувшийся по затопленным выработкам, миновали провал на нижний ярус, под кровлю заполненный солоноватой голубой водой. Переползли через зону завалов и, наконец, вышли к сбойке с шахтами послевоенного времени. Здесь, среди сдавленных толщей земной породы коридоров с выпуклыми, словно животы беременных женщин, желтыми стенами, прятался долгожданный зал "Парашютистов".

Напарники нырнули в темную щель сбойки, повернули за угол и... наскочили на препятствие. Путь преграждал обвал. Груда рваных плит известняка и комья красной глины лежали там, где еще недавно находился проход на базу.

— Стенка родила, — констатировал Засыпкин. — Она еще в прошлый раз сыпаться стала. В ней ниша находилась с иглами для примуса. Я всё забрать хотел, да медлил. Жалко.

Некоторое время они молча смотрели на завал, пока Засыпкин не принял решение:

— Пойдем в обход, — и нырнул обратно в сбойку.

Высвечивая путь тусклым лучом света, он суетливо продвигался вперед, внимательно вглядываясь в обозначения на поворотах и что-то бормоча себе под нос. Миновав с десяток боковых ответвлений, друзья свернули в широкий коридор и остановились перед забутованным ходом.

Засыпкин отставил коногон в сторону, поджег свечу, укрепил ее на ближайшем камне и принялся разбирать забутовку:

— Тут метра четыре, должно быть. Не больше, — говорил он. — Затем пойдет нормальный ход. А там два поворота — и мы на "Парашютистах".

Шишкин принимал разбитые бутовые камни и аккуратно складывал их с краю. Выложенная им стенка постепенно выросла до кровли. Передвигался он с трудом. Поясница болела. Стонали ноги и шея. За шиворот, в карманы комбинезона и даже в трусы набилась известняковая крошка.

Засыпкин тем временем успел разобрать ход наполовину. Он вытаскивал голыми руками тяжелые булыжники и перекатывал их через себя напарнику.

— Шишкин, а Шишкин? — вопрошал из ниши Засыпкин. — Я вот все думаю: ты Шишкин-еловый или Шишкин-кедровый, а?

Товарищ громко сплюнул и ответил обиженным тоном:

— Вот зарабатываю тут с тобой грыжу, а ты все шутишь!.. И что мне мешало в субботу поехать к Любке на дачу? Кувыркался бы сейчас с ней, а не завалы разбирал...

— Оставь! — восклицал Засыпкин, передавая очередной камень. — Не стоят эти бабы нас, молодых и красивых.

Шишкин принял булыжник и отбросил его в сторону.

— Вот подумай только, — продолжал любитель подземелий, — моя Вика променяла меня — племенного муравья — на эти вонючие зеленые бумажки! Моим чувствам, розовым и нежным, предпочла какие-то низменные потребности!

— Что ж ты с ней носился так долго?

— Любовь, — вздохнул Засыпкин и ухватился за следующий камень. — Любовь, брат. Я к этой женщине, можно сказать, подход искал.

— Ну и как? Ты ее хоть это... пропустил-то пару раз?

— Да всего один только, за целое лето.

— Да, — сочувственно вздохнул Шишкин.

— Я ей прямо говорю, — увлекся Засыпкин. — "Так и будешь всю жизнь в девках ходить? Тебе уже двадцать пять. Скоро никто в твою сторону и смотреть не станет". А она старшую подругу в пример приводит: "Вон Валька за сорокалетнего вышла. И ничего. Живут. Такие мужики в самом соку. Они знают, чего хотят от этой жизни". Ты понимаешь, о чем это она? Выходит, что я не знаю, чего хочу в жизни!..

— А действительно, — поинтересовался Шишкин, — чего ты в ней хочешь?

— Я? — призадумался Засыпкин.

И тут же ответил:

— А не пошел бы ты со своими снобистскими вопросами?..

Очень скоро их труд был вознагражден появлением узкой темной дыры в забутовке, открывавшей путь к вину. Засыпкин протиснулся в лаз, подтянулся на локтях, оттолкнулся ногами и исчез в черном пространстве. Спустя минуту он вернулся с пластмассовым бочонком в руках. Спелеолог бережно передал сосуд Шишкину и затем вылез сам.

— Заодно и дело доброе сделали! — воскликнул любитель подземелий, стряхивая с рукавов пыль. — Расчистили обходную дорогу на стратегически важную базу.

— Как же расчистили? — возразил Шишкин. — Тут такая узкая щель, что не всякий пролезет! Еще расчищать и расчищать.

Засыпкин ухватил бочонок, нацепил фонарь, сделал несколько шагов в сторону центрального коридора и произнес:

— Пускай дальше расчищают те, кому больше нечего делать.

Обратный путь всегда кажется короче. Двигались быстро и легко, на удивленье без частых перекуров. Засыпкин периодически подкреплялся из бочонка, аргументируя тем, что груз тяжело нести. Наконец расслабился настолько, что позволил себе дважды пропустить нужный поворот. Первый раз друзей занесло в низкие и опасные выработки с плохой, осыпающейся кровлей.

— Не переживай! — заверял Засыпкин, — Тут потеряться практически невозможно.

— Я вижу, — отвечал Шишкин.

Ползком и на четвереньках они выбрались обратно на центральный ход и продолжили путь. По дороге нашли старинную керосиновую лампу с клеймом: "Shapiro&Freedman".

Вторая оплошность завела друзей в какую-то залитую водой галерею, и Шишкин промочил ноги.

— В катакомбах пропадают либо дураки, либо самодуры, — философствовал проводник после благополучного возвращения на проторенный маршрут. — Как только начинаешь мнить себя профессионалом, тут же теряешь бдительность и совершаешь ошибку.

На стыке районов "Шестые шахты" и "Гидромет" было решено сделать привал. Засыпкин открутил крышку бочонка и снова хлебнул вина:

— Плохо, маслин нету. Я вино с маслинами люблю.

Шишкин устроился на плоском камне и принялся вытряхивать грязь из ботинка. Его неприспособленные для подземных походов туфли давно протерлись.

— Ты откуда так хорошо катакомбы знаешь?

Засыпкин оторвался от горлышка, передал бочонок напарнику и сказал:

— У меня чутье. Это семейное. Папаша в свое время горным мастером работал на выработках у Дофиновки. Даже отсидел за это дело, при совдепе.

— Натворил чего-нибудь?

— Два было прецедента. Сперва шахтер пьяный на работу приперся и в забой полез. Батя его в таком состоянии не пустил. Под землей, все-таки, работают люди. Чувак смертельно обиделся: "Раз вы мне работать не даете, — говорит, — то и я вам не дам!". Подскочил к трансформаторной

будке, оторвал крышку, ухватился рукой за рубильники. А там три тысячи вольт. Питание по кабелям для камнерезных машин идет. Короче, дегенерата этого взрывом в сторону отбросило.

— Убило?

— Какой там! Счастливчик. Всего лишь рука сгорела... Вот... А бате, значит, строгий выговор и все дела. Потом другой случай был. Бригадиры в закрытых выработках лес воровать подрядились. Выносили подпорные бревна наверх и продавали. Брали, конечно, с умом, в тех местах, где кровля могла выстоять и без подпорок. Ну а там, где явная угроза обвала, — не трогали. Так вот, нашлось трое деятелей, которые с папашиного участка решили унести оставшееся дерево. Залезли. Отыскали подпорную арку. Забили клинья и стали выбивать. На втором бревне — два трупа и один покалеченный. Тут началась инспекция, проверки, дело завели и все последствия.

Шишкин надел туфли и поднял фонарь. Засыпкин сделал напоследок пару больших глотков и тоже встал:

— А хочешь, — вдруг воскликнул проводник, — пройдем на "Махно" через музей?

— А смотрители как же?

— Нет там никаких смотрителей! Сторож да директор. А этот боится даже в подвал собственного дома один спускаться...

Подземный музей партизанской славы в Нерубайских катакомбах представляет собой длинную укрепленную штольню, отгороженную от "диких" катакомб решетками и массивными железными дверьми. В музее воссоздана реальная обстановка подземной партизанской базы отряда Молодцова-Бадаева, который находился в этих лабиринтах осенью и зимой сорок первого года. Периодически в заповедный район проникают некоторые из спелеологов через открытые ими тайные лазы или сломанные решетки. Проникают из простого любопытства или в целях самоутверждения.

Особо пристальным вниманием к музейной штольне прославился любитель подземелий по прозвищу Фриц. Этот авантюрист не один раз покрывал под землей большие расстояния с тем, чтобы добраться до решетки на одном из боковых ходов, соединяющихся с музеем. Там он снимал с себя комбинезон, оставаясь в матросской тельняшке. Его внешний облик полностью сливался с окружающей культурно-мифологической средой. Фриц выключал фонарь и, притаившись, садился ждать.

Через некоторое время в темном музейном коридоре появлялась туристическая группа. Как правило, она состояла из иногородних граждан.

Каждый из туристов сжимал в руках горящую свечку. Ни о чем не подозревавшие экскурсанты медленно приближались к засаде. Они с трепетным ужасом внимали словам проводника. Следовали за ним дружной кучкой, опасаясь таинственных лабиринтов: перед спуском бедняг предупредили о возможности быстро заблудиться. Экскурсовод рассказывал неискушенным туристам о тяготах партизанской жизни в многокилометровых заброшенных выработках. Об их голодных буднях во время газовых атак немецких оккупантов.

И вот, выждав, пока группа поравняется с его боковым ходом, Фриц внезапно выпрыгивал на решетку с булыжником в руке, принимался стучать по железным прутьям и неистово орать: "Хлеба! Хлеба! Хлеба!..".

Половина туристов во главе с экскурсоводом падала в обморок на месте. Остальные в истерике разбегались по лабиринту музейных коридоров. Фриц возвращался на базу, удовлетворенный и охрипший...

Спелеолог Засыпкин уверенно шествовал по центральной галерее, перекладывая бочонок из одной руки в другую. Вино плескалось внутри, создавая упоительный звук, напоминавший удары далеких тамтамов. Потолки стали чуть повыше, и на некоторых участках можно было двигаться в полный рост. На пути встречалось все больше надписей, знаков подземного ориентирования и рисунков. Кое-где валялись бутылки и обрывки газет, покрытых белыми коронами грибковой плесени.

Вскоре напарники пересекли зольную кучу, образовавшуюся под скважиной в потолке, и очутились перед массивной железной дверью. Засыпкин заглянул в достаточно широкую щель. Затем ухватился за ручку и с силой потянул на себя. Дверь визгливо заскрипела, и в проем стал виден ржавый амбарный замок, болтавшийся на сломанной петлице. Специалист по катакомбам расчистил от известняковой крошки пол и потянул еще раз. После чего проскользнул в образовавшийся проход, принял из рук Шишкина бочонок, подождал, пока пролезет напарник, и закрыл дверь обратно.

В целях безопасности штольню партизанского музея одели в бетон. "Дикие" катакомбы она мало чем напоминала. Довольно несложная, замкнутая система коридоров. На потолках — проводка и заплесневелые патроны от лампочек. Когда-то все лампочки были вкручены и исправно горели целый день.

Друзья миновали небольшую комнату с барельефом плачущей женщины на стене и загадочным возвышением посреди площадки, огороженной цепью и украшенной увядшими цветами. Пояснительная табличка

гласила, что холм является не чем иным, как могилой партизана Ивана Ивановича Иванова, погибшего здесь при героических обстоятельствах.

На следующем перекрестке располагался импровизированный дзот с деревянной винтовкой в смотровом окошке. У винтовки было обломано дуло.

Дальше находилась баня партизан, подземный колодец с плавающим кочаном кукурузы, спальня с ржавыми остатками панцирных кроватей. За ними, в самом центре музея, была обустроена импровизированная ленинская комната и военно-полевой штаб. Здесь Засыпкин остановился. Он снял затертую штормовку, бросил ее на лежанку, поставил на стол бочонок и по-хозяйски уселся возле красного уголка. Чувствовалось, что он здесь не впервые. Шишкин примостился на втором лежаке.

Интерьер помещения составляли две каменные лежанки, между которым располагался сложенный из каменного бута стол. На нем стояла дряхлая печатная машинка и коптилка из сплющенной гильзы. В дальнем углу висело красное знамя и портрет Ленина. Напротив возвышались муляжи винтовок и позеленевшая от сырости амуниция. На гвоздике у знамени висела шинель. Рядом, в рамке под стеклом — прокламация к гражданам Одессы и Одесской области, датированная 15 октября 1941 года — последним днем обороны города. В этот день (точнее, в ночь) Бадаев с диверсионным отрядом ушел в подполье.

Засыпкин плотоядно взглянул на бочонок и вдруг воскликнул:

— Что тут осталось пить? На всех наших все равно мало. Зато нам с тобой — в самый раз.

Напарник отозвался скептическим взглядом.

— А ребятам скажем, что вино не нашли. Не добрались до базы... Давай, Шишкин, не ломайся, как гимназистка на первом свидании! У меня душевная травма на почве неразделенной любви. В самый раз ее залить. Тем более что под рукой четыре литра вина, которые нужно срочно выпить, а то завтра не будет.

Шишкин прильнул к горлышку первым и начал пить большими глотками, проливая темно-красную жидкость мимо рта.

— И все-таки жаль, — снова высказался Засыпкин, принимая бочонок, — что маслин нету.

Через пятнадцать минут половина винных запасов уже плескалась в животах двух коллег.

— Шишкин, толкай тост! Сымпровизируй чего-нибудь, — заплетаясь, восклицал спелеолог, передавая сосуд. — Не тяни резину в долгий ящик.

Напарник замахал руками:

— Всё, не пью. Русский знает меру!

— Какая мера? — захохотал Засыпкин. — Какой такой русский?.. Нашелся, богемный деятель районного масштаба! Бляха с мухой! Да тут пить нечего!

— Уйди! — отнекивался Шишкин. — У меня изжога.

— У всех изжога!

— Не в кайф уже...

— Сейчас допьем, и будет в кайф. Давай, не позорь мою седину. Не то явится белый карлик и объяснит тебе политику партии.

Шишкин прильнул к бочонку, немного отпил и вытер рукавом подбородок:

— Какой еще карлик?

— Белый. Он живет в районе "Махно". Его Фриц видел, когда шел по...

— Фриц? Кто такой Фриц, я его знаю?

— Вряд ли. Он в химчистке работает.

— Кем работает?

— Сапожником. У них там ремонт обуви...

— В химчистке?!

— Фу ты, ёлки! Ну а где же еще? Не перебивай!.. Так вот, шел он однажды ночью по централке и вдруг смотрит — на дороге стоит карлик. И весь белый. Фриц как закричит от испуга, да как побежит! И карлик тоже — испугался и тоже понесся куда глаза глядят. Так они метров сто по кольцу пробежали, пока снова не встретились. Тут Фриц от страха сам весь побелел и показал карлику кулак. Тот испугался и убежал.

— А Фриц?

— А Фриц пришел на базу, разбудил ребят и организовал на карлика облаву. Но поймать его так и не удалось. Карлик обозлился и с тех пор бродит по лабиринтам и мстит спелеологам...

Не дослушав историю до конца, Шишкин сполз на лежанку и захрапел. Засыпкин махнул рукой, допил остатки, положил под голову бочонок, укрылся штормовкой и примостился на своей койке.

Сон выпившего человека подобен сну младенца. Нарушить такой сон преднамеренно способен лишь человек жестокий либо непьющий.

Назвать жестоким человеком штатного экскурсовода одесского бюро экскурсий и путешествий Зинаиду Григорьевну можно было с натяжкой. Это качество характера она проявляла, пожалуй, лишь по отношению к своим домашним тараканам. Непьющей ее назвать также было трудно, поскольку непьющими в нашей стране являются только алкоголики. Поэтому все, что последовало дальше, можно назвать чистой случайностью.

А произошло следующее. После аварии на объездной трассе группа иностранных туристов все же прибыла к входу в музей села Нерубайского и поступила в распоряжение экскурсовода. Около часа группа бродила по заповедным подземельям, пока, наконец, не вышла к изюминке экспозиции — ленинской комнате и подпольному штабу.

Экскурсовод остановила группу и принялась декламировать давно заученный текст. Наемный толмач переводил.

— Мы находимся в святая святых подземного партизанского лагеря, — вещала Зинаида Григорьевна, расположившись спиной к объекту повествования. — Именно здесь дислоцировалось руководство отряда. Тут проходили подпольные партийные собрания. Отсюда Бадаев с товарищами по оружию уходил на поверхность для выполнения боевых операций. Интерьер и обстановка штаба реконструированы создателями музея и максимально приближены к реалиям тех дней.

В этот момент тело спелеолога Засыпкина, накрытое прожженной и залитой вином штормовкой, зашевелилось на койке у красного знамени. Иностранцы заметили в полумраке спящего, недоуменно зашептали и принялись щелкать своими фотоаппаратами. Они и не предполагали, что обстановка партизанской базы будет восстановлена так досконально.

От вспышек фотокамер напарники проснулись и показали приезжим свои недоуменные лица. Первым сориентировался Засыпкин. Он вскочил с лежанки, схватил штормовку, коногон и, воскликнув: "Что, опять на задание?" — исчез в темном коридоре. Шишкин бросился вслед за ним.

Интуристовский переводчик невозмутимо перевел. Восхищенные иностранцы взорвались аплодисментами. Одна Зинаида Григорьевна потеряла дар речи и потом еще долго не могла прийти в себя...

Спелеологи выбрались из музея через ту же дверь и в пьяном угаре побрели куда глаза глядят. Вернее, туда, где идти было удобнее всего. Засыпкин тяжело ступал по утрамбованному полу, и гул его шагов впитывался в прочные пористые известняковые стены. Он молчал, словно находясь в полудреме, и только угрюмо косился на товарища, который бодро напевал:

Всё перекаты, да перекаты,
Послать бы их по адресу!
На это место уж нету карты
Плывем вперед по абрису...

— Уважаемый, — поинтересовался через некоторое время Шишкин, — безумно интересно: куда мы направляемся?

— На базу, — очнулся Засыпкин.

Они бродили так много часов, петляя по центральным галереям и кружа по кольцевым выработкам, но база никак не появлялась. Разуверившись в удачном исходе мероприятия, друзья решили пуститься на поиски обратного пути в музей и выйти через него на поверхность. Не сумев отыскать и этот путь, приступили к разведке новой дороги к выходам в Большой балке, приблизительно прикинув направление. Затем совершили отчаянную попытку найти старый проторенный маршрут к "Махно". Потерпев неудачу и здесь, окончательно размякший Шишкин предложил копать руками ход наверх в заполнении старого провала.

Засыпкин холодно отклонил предложение. Он сосредоточенно бродил по коридорам, высвечивая изрядно севшим фонарем знаки подземной топографии. На боковых ответвлениях спелеолог расписывался графитовым стержнем, чтобы не повернуть в них вновь. Наконец утомленные блужданиями друзья остановились на широком перекрестке и сели на утрамбованную колею шахтерских биндюг. Специалист по подземельям кратко резюмировал: заблудились.

Тут же последовал встречный вопрос: что же делать?

— Сидеть и ждать, — ответил Засыпкин и вздохнул. — Это же надо так опозориться. Наши будут смеяться.

Вдобавок ко всем несчастьям у Шишкина порвалось дно полевой сумки от аккумуляторных батарей. Сумку пришлось заменить подобранным в тупике полиэтиленовым пакетом.

При длительном плохом освещении в катакомбах начинают лучше работать органы слуха и обоняния. Здесь человек острее воспринимает любые звуки и запахи. Тем более что таковые под землей не очень-то и распространены.

Спасение двух заблудившихся авантюристов в буквальном смысле витало в воздухе. Отдышавшись и отдохнув, они учуяли слабый бытовой запах, который так характерен для обитаемых подземных спелеологических баз. При подходе к ним обычно чувствуется аромат еды, чая или гарь керосиновой лампы. В данном случае друзья распознали запах отхожего места, что тоже внушало определенные надежды.

В жилах утомленных героев вновь заиграла кровь. Друзья с новым рвением пустились на поиски спасительного источника запаха. И в результате непродолжительных хождений набрели на внушительную лужу человеческих экскрементов.

В потолке над лужей зияло полуметровое отверстие действующей

скважины, из которой ощущалась довольно сильная тяга воздуха. Засыпкин осторожно заглянул внутрь и разглядел тусклое пятно дневного света.

Шишкин стоял рядом и тоскливо наблюдал за происходящим. Знаток катакомб взглянул на него заблестевшими глазами и умоляющим тоном произнес:

— Тут метров семь, Шишкин. Всего семь метров. Это несколько минут усилий над собой, и мы на поверхности!.. Шишкин, не знаю, как ты, но я...

— Я тоже лезу! — поспешил вставить напарник.

Засыпкин застегнулся, закусил резиновый шнур от фонаря и попросил подтолкнуть. Затем уперся в стенки скважины коленями и спиной и подал руку товарищу.

Нет смысла описывать подробности столь мучительного подъема двух спелеологов и рассказывать о том, что они чувствовали. Читатель без труда дорисует детали в своем воображении.

Скажу лишь, что под конец Засыпкин уперся в дупло, вырезанное в деревянном настиле, из которого тянуло свежим воздухом. В отверстие ясно просматривалась дощатая крыша тесного строения. Несколькими ударами кулака он выбил ветхую доску, вытянул руки, ухватился за край, подтянулся и очутился в типичном сельском сортире, коих по всей нашей родине насчитывается великое множество.

В углу сортира стояло измятое жестяное ведро. Через широкие щели между ссохшимися досками пробивался солнечный свет и проникало прохладное дыхание осеннего ветра. Снаружи доносился далекий лай деревенских собак, мычание коров, крик птиц и прочей домашней живности. Где-то в поле тарахтел трактор. Из неведомой радиоточки раздавалось: "Розпочинаемо ранкову зорьку!..". На деревянную крышу нехитрого сооружения сел воробей и стал выбивать клювом барабанную дробь.

Внезапно из скважины раздалось сопение, и вскоре из нее показалось вымазанное лицо Шишкина с фонарем в зубах. Засыпкин ухватил его за воротник и вытащил на деревянный помост.

Друзья распахнули дверь и вышли на улицу. Ослепительный мир бросился им в глаза всем своим великолепием и разнообразием красок. Свежий ветер колыхал пожелтевшие кроны садовых деревьев. Ватные облака плыли по бирюзовому небу. В огороде расхаживали куры, выискивая зерна и семена среди комьев свежевскопанной земли. Побеленная известью хата, спрятанная за сараем, дымила своей перекошенной жестяной трубой.

Напарники на мгновение замерли, впав в состояние блаженства. Мир вокруг них благоухал и цвел. И они чувствовали сейчас это как никогда ост-

ро, стоя посреди чужого огорода, измазанные нечистотами с ног до головы. Один с коногоном в руках, другой — с кульком для аккумуляторов на шее.

Лишь через некоторое время они разглядели на фоне стволов фруктовых деревьев застывшую фигуру пожилой женщины с граблями в руках. Широкий подол ее платья подрагивал на ветру. Из-за ее массивного кирзового сапога взирала рыжая дворняга, не отрывая от незнакомцев своего ошалелого взгляда. Казалось, будто женщина с собакой случайно взглянули на мифическую Горгону и навеки превратились в каменные изваяния. Рот обоих был чуть приоткрыт. Онемевшие глаза словно выпали из орбит.

Приятели быстро сообразили, что надо пользоваться моментом, и тихо продефилировали через весь огород в сторону калитки. Проходя мимо оцепеневшей хозяйки, Шишкин не удержался и вежливо заметил: "У вас в уборной бумага закончилась".

Спелеологи спустились по улице до центра села, производя гипнотизирующее воздействие на местных жителей. Стаи уток и кур спешно уступали им дорогу. Собаки не смели даже гавкнуть вслед. Воробьи разлетались в стороны, когда они проходили мимо.

— У тебя деньги есть? — спросил напарника Засыпкин.

— Пару рублей найдется, — утвердительно кивнул Шишкин.

— Маслин хочется. Тут магазин есть недалеко...

И уже через полчаса, коричневые и вонючие, они шли по краю Большой балки и ели черные испанские маслины. Темно-красный диск утреннего солнца слепил им глаза. Кое-где по склонам балки желтели пятна известняковой породы. То тут, то там в этих обнажениях зияли черные рваные дыры катакомб. Два спелеолога не торопясь шествовали к своему привычному старому входу, отстреливаясь по дороге скользкими продолговатыми косточками от назойливых и шумных гусаков.



Владимир КАТКЕВИЧ

Окольцевали

На залапанную его же грязными руками книгу неисправностей системный механик смотрел как на привычное зло. К концу рейса книга начала лысеть. В осыпавшихся листах вся его работа, беготня, претензии на чужом языке, девятиэтажные соты палуб, вызовы невтерпежные и не очень, и совсем глупые вызовы не по адресу. Книга — ядро, к которому его приковали на восемь месяцев. Каторжник хоть во сне забывает о чугунном спутнике, с которым не прочь покалякать днем. Проклятая книга же волоклась за системным в ночь, он во сне разговаривал с ее фигурантами.

— Нет, фрау, вода не из опреснителей. Мы приняли свежую в Тринидаде.

— Жарко? В тропиках всегда жарко. Нет, я не рефрижераторный механикер. Я вармэс васэр, кальтэс васэр, душ. Примите душ.

— Забился гальюн в суперлюксах? Опять гады бросили вату!

— Зажигалки я не чиню. Я чиню портсигары после трех часов ночи. Сейчас только два.

Сейчас два, а в восемь посадка. Посадка — это потерянные ключи от чемоданов и две страницы вызовов. Одни садятся, другие выходят. Вереница лиц, увядших под косметикой, реже совсем юных, настежь открытых восторгу, откровенно пьяных рож и лиц настороженных, бледных, еще не тронутых загаром. Рядом лица приветливые, должно быть, знакомые. Он старается вспомнить. Они его откуда-то знают, они улыбаются ему, заговаривают:

— Гут морген, герр механикер! Почему отключили лифты?

— Штормит, фрау. Их заклинивает от крена.

Лица меняются, память не вмещает всех. Он остается. Системный положил книгу-ядро на стойку бюро информации.

— Дай ключ, — назвал администраторше номер каюты. — Что там?

Луиза подняла глаза приговоренной. Снова эти глаза. Они не просили обнадеживающей лжи, они извинялись за то, что все еще здесь.

— Уже пора уйти? — спрашивали глаза. — Что же ты тянешь, сам мучаешься и меня терзаешь?

Луиза была его вторым ядром, и он не знал, какое тяжелее. Второе ядро держало его у бюро.

"Наштукатурилась и обстриглась, — заметил он про себя, — молодится. А зачем? Кажется, сегодня она переводит на капитанском ужине".

— У тебя новая прическа?

— Тебе нравится? Я освобожусь поздно, не жди. Пассажирка в каюте, там что-то с ванной.

Системный лязгнул газовым ключом и ушел. Она уткнулась в немецкий текст, клюнула клавиш компьютера, потом сняла трубку, набрала номер.

— Коленька, ты обиделся?

Глаз уже нет. Есть второе ядро.

— Иди сюда. Я не пойму, что она хочет.

Системный поджал слезящуюся по резьбе гайку смесителя, но старуха продолжала тыкать когтистым маникюром в слив.

— Она говорит, что положила на край ванны перстень с изумрудом, — перевела Луиза. — Судно качнуло, и кольцо смыло.

— Смыло... Фекалии уже откатали в океан. Я не водолаз!

Системный намылил палец на левой руке, с трудом стащил обручалку, положил кольцо на дно ванны и открыл горячую. Кран фыркнул паром. Холодная шла нормально.

— Днем горячая тоже не шла? — системный подогнал кольцо к решеточке слива. Решетка задержала обручалку.

— У нее палец тоньше, — перевела Луиза.

— Ее поезда давно ушли. Можешь перевести. Кольцо не может туда пройти.

Системный собрал инструмент и пошел в котельное разбираться с вентилями горячей воды. Провозился до полуночи. Уже у себя в каюте полез в карман за сигаретами и вспомнил про обручалку. Кольца в кармане не нащупал. "Хорошо, если в ванной, — подумал, — а если в котельном под плиты закатилось?"

На него с укором смотрели влажные глаза жены. Еще одни глаза. Кольцо же не теряют, если оно на руке. Зачем тогда снял? Значит, мешало. Чему мешало?

Неприятности, связанные с таможенной декларацией, куда он внес вывозимые за границу ценности, казались пустяком на фоне домашних выяснений.

Он набрал номер информбюро. Трубку не брали. Системный поднялся на пассажирскую палубу и постучал к старухе. В каюте было тихо.

"Тоже на капитанский ужин понесло старую курдупель", — подумал и на всякий случай постучал еще раз. Тюкнули пятки.

— Ихь битэ зи, ауф михь цу вартэн, — прописклявили за дверью и притаились.

"Одевается, — догадался системный, — или челюсти вставляет". Щелкнул замок. Старуха стояла в куцем пеньюарчике.

— Экскьюз ми, фрау, — промямлил он. — Я забыл у вас кольцо.

Старуха загадочно улыбалась. На костлявом пальце вспыхнул бриллиант найденной пропажи.

— Данкэ, герр механикер!

"Много тебе меленьких битте", — съязвил про себя системный.

— Вы меня фэрштээ нихт. Мое кольцо, ринг! — он показал выдавленную на пальце темную полоску.

— Я, я, герр механикер! — ее заспанное лицо осветила догадка. Она полезла в шкаф, копнула в сумочке. Звякнули монеты.

— Наин, фрау!

Старуха уже прицелилась к карману комбинезона. Бонус системного не радовал. "Неужели в котельном?!" — обожгло его.

Она открыла холодильник. Булькнуло спиртное.

— Наин, данкэ! — зарычал системный. Запотевший фужер шел на него в атаку. — Гутэ нахт! — он вышел и закрыл дверь.

Во втором часу ночи в каюту условным стуком попросилась Луиза.

— Я потерял обручалку, — системный щелкнул зажигалкой, закурил.

— Никуда она не денется. Утром классная номерная будет убирать каюту и найдет.

— Я в котельном потерял. В ванной нет. Эта крашеная швабра решила, что я за чаевыми.

— Напишешь объяснительную для декларации. Я — свидетель. Или ты боишься жены? Ты же берешь развод. Или уже не берешь?

— Тебе сколько лет, шестнадцать? — не выдержал системный.

Она потупилась. Молчание угнетало.

— Женщина хороша, как книга. Нужна — протянул руку — здесь. Не нужна — не прыгает с полки. Я не буду больше прыгать!

— Сама придумала?

— Это Фаллада.

— Ты предупреждай, я могу с койки смайнаться.

— Вот и все. Конец пароходного коннубината. Ты прав, мне уже не шестнадцать. Я не побегу жаловаться капитану. Иллюзия счастья, которой я маялась восемь месяцев, — это всего лишь передышка между двумя разочарованиями. Пора бы привыкнуть. После отпуска ты снова будешь разводиться? Ты оставил кольцо в мыльнице, — она поднялась и тихо вышла.

На столе лежало кольцо.

Утром в бюро информации сидела другая.

— А где Луиза? — спросил системный.

— Мы с ней поменялись вахтами, совсем поменялись.

Она следила за выражением его лица. Системный раскрыл книгу неисправностей. На правой руке сверкнула обручалка.

— Что, Николай, окольцевали? — электрик по лифтам подмигнул ему.

Системный недоспал, но к нему, наконец, пришло запоздалое облегчение, какое чувствует человек, который вынужден был долго таскать с места на место большую тяжесть. Ему негде было ее оставить, но потом все-таки нашел, пристроил.

Он получил радиограмму из дома: "Дети здоровы. Ждем. Целую...". Системный вез подарки. Настроение у него было чемоданным.



Леонид ЗИЛЬБЕР

Государственная тайна

В 1959 году высшее руководство Советского Союза активно помогало президенту Египта Насеру совершать провокации против государства Израиль с целью представить его как агрессора, совершающего авиационные налеты на мирное население Ливана и Сирии. Этим лично занимались Хрущев и Насер. Настоящий рассказ – убедительное подтверждение таких действий.

* * *

1959 год. Черновцы. Небольшой поразительно красивый город с мощенными камнем узкими улицами. В нем, а если быть точнее, в гостинице "Киев", расположенной в квартале от центра, я прожил более года. Здесь и произошли события, о которых я почти забыл и вспомнил недавно. История больше чем детективная.

Это случилось в воскресенье, часов в 5 вечера. Гостиничный ресторан был почти пуст. Он подошел от соседнего столика со своей едой и графинчиком со спиртным и, как-то внимательно взглянув на меня, спросил:

— Не возражаете?

Я кивнул. Он сел напротив.

— Знаете, — начал он, — я давно лишен человеческого общения. Составьте компанию, вдвоем будет веселее, давайте по рюмочке...

— Спасибо, но я уже ухожу, — отвечал я.

— Вы как-то к себе располагаете...

— Отчего же, — возразил я, — ведь вы меня совсем не знаете.

В это время в ресторан вошло несколько офицеров, военных летчиков, они шумно располагались, смеялись, что-то заказывали официанту.

— Вот видите, они летчики, они могут называться летчиками, а я тоже летчик, я полковник, но я никто...

Я впервые внимательно глянул на этого человека. Лет 35. Темноволосый. Мужественное лицо. Пожалуй, даже красив, похож на известного киноактера Дружникова.

— Отчего же вы никто? — невольно зацепился я за разговор.

— А вот так, я никто. Когда я летаю, у меня нет никаких документов, я никто.

— Почему же вы летаете без документов?

— А это на случай, если собьют. Но меня никто не собьет, никто. Это такая замечательна машина, на которой я летаю... меня никто не собьет.

"Какой-то авантюрист, — мелькнуло у меня, — нужно избавиться от него поскорей".

А он продолжал:

— Я летаю на французском истребителе-бомбардировщике "Мираж", замечательная машина. Я летаю в Сирии и Ливане, я там делаю свою работу, а моя профессия — стрелять, бомбить...

Нет, он не был пьян, разве может быть пьян здоровый мужчина от одной-двух рюмок? А он продолжал:

— Меня встречал президент Египта Насер. Он сказал мне: "Смотрите, полковник, не наступите на апельсиновую кожуру, если поскользнетесь, вам никто не поможет, никто".

"Да, это авантюрист, — снова мелькнуло у меня, — надо уйти и поскорей".

Мой собеседник уточнил:

— Что мне Насер, я выполняю задание нашего правительства.

Он назвал несколько известных имен. Я запомнил два — Хрущев и маршал авиации Красовский.

Я невольно усомнился. Понимая странность необычного разговора, я решил поскорей избавиться от собеседника. Он это почувствовал и попросил:

— Подождите, не уходите, я не должен все это говорить, но вы мне как-то импонируете, и я сам не знаю, почему рассказываю об этом.

— И я не понимаю, — отвечал я. — Если это правда, то это государственная тайна, это немыслимо...

— Немыслимо? Перед отлетом в Египет я прибыл в Кремль вместе с маршалом авиации Красовским, с нами беседовал Хрущев. Можете верить или не верить. Ваше дело. Ах, все это ерунда. Я два года не был дома. Завтра прилечу в Москву. Там у меня жена... Жена... Какая она жена? Она красавица и шлюха, она шлюха...

Я уже не сомневался, что назвавшийся летчиком человек авантюрист или сумасшедший. Если все, что он говорит, правда, разве стал бы он мне, первому встречному, ее рассказывать?

"Пожалуй, правда лишь то, что он говорит о своей жене, возможно, он очень несчастлив и решил облегчить свою душу, пожаловаться на не сложившуюся жизнь, придумав для затравки историю про полеты, встречи с Насером и Хрущевым".

Мы выпили по рюмке и вышли на улицу. Он уцепился за мой локоть, не отпускал и, испытывая какую-то жалость к этому человеку, я пошел его провожать в сторону Красной площади, есть такая и в Черновцах. Мы шли, а он говорил мне:

— Я не должен был все это рассказывать, не должен.

Я его успокаивал:

— Да я вам и не верю, я думаю, что вы редкий фантазер, и не летчик вы вовсе, вот что я о вас думаю. Разве может быть правдой, что вы летали на "Мираже", и о Хрущеве и Насере? Почему вдруг на "Мираже", дался вам этом французский самолет... насколько я знаю, наши самолеты не хуже...

— Вы не поняли ничего, ничего. На "Миражах" летают израильские летчики. Поняли? И я на "Мираже". Летаю в Сирию и Ливан. Мое дело стрелять, бомбить. И у меня самолет, как у них...

Мы дошли до Красной площади и расставались минут пятнадцать. Он говорил, что после разговора со мной ему как-то легче, благодарил, говорил, что ощущает меня своим другом и хотел бы снова встретиться, но это вряд ли возможно. Меня это растрогало. Я отвечал, что живу в гостинице, еще долго в ней пробуду, комната такая-то, пусть приходит. Я пожелал ему удачи, всего самого доброго.

Я медленно шел в гостиницу, испытывая странное противоречивое чувство. "А если все это правда? Нет, немыслимо. Он врун и фантазер. Но не похож на сумасшедшего. И его внешность... вроде серьезный человек".

История имела неожиданное продолжение.

В вестибюле гостиницы меня остановил мужчина и представился:

— Я из комитета государственной безопасности, — он протянул удостоверение, — старший лейтенант... — фамилию я не запомнил. — Мне нужно с вами переговорить.

Он был в штатском. Я понял, что действительно вляпался в серьезную историю...

Разговор продолжался в моем номере, маленькой десятиметровой комнате. Посмотрев паспорт, спросил:

— Что делаете в Черновцах? Сколько времени живете в гостинице?

— Работаю прорабом строительного участка от одесского управления, строю холодильник. А в гостинице живу, потому что это удобно, здесь телефон, можно со всеми быстро связаться. Я здесь в длительной командировке.

Его интересовало, о чем я говорил с человеком, сидевшим со мной за одним столиком в ресторане:

— Я знаю, что на улице вы что-то говорили об авиации...

Я тянул время, обдумывая случившееся. "Что это провокация? Почему со мной? А может быть, тот в ресторане и этот — одна компания? А зачем я им нужен? И не правда ли то, что мне говорил в ресторане тот, кто назвался летчиком? Да, нужно исходить из того, что это правда. И не говорить ее старшему лейтенанту. Если это правда... то... не сносить головы

летчику-полковнику. А мне... Если я знаю тайну, меня должны куда-то убрать, может, и насовсем...

Не сказать бы чего лишнего. Он что-то слышал. На улице что-то слышал об авиации, может быть, шел радом, подслушивал. Значит, про авиацию нельзя умолчать. Нужно сказать что-то правдоподобное".

Он задавал вопросы и сам записывал мои ответы очень аккуратно.

Я отвечал, что человека, сидевшего со мной за одним столиком, видел впервые, раньше никогда не встречались. Знаю ли я его фамилию, имя? Нет. Мы не знакомились. Просто выпили по рюмке.

— А что он вам долго говорил?

— Жаловался, что у него жена красавица, но... ветреная женщина.

— Так и сказал, что ветреная?

— Ну не совсем так.

— А как? Скажите, как он сказал.

— Ну, что она красавица, но шлюха. Зачем же вы это записываете? Человек передо мной душу раскрыл, а вы записываете.

— Это я решаю, что записывать, а что не записывать. Для нас все важно. Еще о чем говорили?

— Все об этом. Что долго не видел ее, завтра летит в Москву.

— А чем он занимается?

— Сказал, что летчик.

— А какой?

— Я не знаю, мы об этом не говорили.

— А что он вам говорил, когда в ресторан зашли офицеры-летчики, что-то показывал пальцем в их сторону.

— Вот тогда и сказал, что тоже летчик и показал в их сторону.

— Так не говорил, какой летчик?

— Нет, не говорил.

— А когда расставались, зачем приглашали его к себе?

— Просто из вежливости, мне его стало жалко...

— Почему жалко?

— Понял, что у него как-то не складывается с женой...

Все мои ответы он записал. А потом я расписался на первом в моей жизни протоколе допроса — на каждой страничке и в конце, что с моих слов записано верно.

К счастью для меня, эта история никакого продолжения не имела.

Дня через три в одной из центральных газет, как водится, на последней странице, я прочитал о провокациях израильской авиации в Сирии и Ливане.

Видно, полковник был не один. Его сменил кто-то другой.

Анатолий КОНТУШ*

Краткая история пьянства
Неоконченная

Все описываемые события не являются вымышленными и происходили на самом деле. Любые параллели между персонажами и реально существующими лицами являются обоснованными.

Ну, поехали.

Крепкие вина отечественного производства
Одесса. "Біле міцне"

Когда мы выпили в первый раз, был тысяча девятьсот семьдесят пятый год, и солнце еще только начинало клониться к западу, нависая над берегом. Скалы, неровные желтые глыбы известняка тогда еще не разбило штормами, и еще можно было лежать в их тени рядом с темной бутылкой "Біле міцне", глядя на сверкающее под солнцем море. Сережа, старше нас на три года, откупоривал бутылку, отпивал ровно треть, доливал на освободившееся место белое сухое, "Алиготе" или "Ркацители" и передавал тому, кто сидел слева; бутылка шла дальше по часовой стрелке, пока снова не оказывалась у Сережи, который плотно закупоривал ее и начинал разговор. Потом мы привыкли видеть друг друга очень близко и очень далеко одновременно, но тогда это произошло впервые; был жаркий августовский день, волны шуршали о гальку, где-то рядом купались дети, и было непривычно видеть своих друзей сидящими рядом с собой далеко внизу, возле белой ленты прибоя, у темных пятен подводных камней, хорошо различимых с воздуха. Пожалуй, никто из нас не заметил, в какой именно момент мир внезапно оказался выше, шире и больше, чем он был всегда. Расплывчатые силуэты застывших у входа в залив судов превратились в четкие очертания палуб, темные черточки лодок вдали у горизонта стали светлыми прямоугольниками прямо под ногами, а острый излом

*Автор этих заметок профессор Анатолий Контуш уехал из Одессы лет десять назад. Нынче он живет и работает в Париже. И столица Франции, и Южная Пальмира обогатили его опытом застолий, который исследователь пополняет, путешествуя по миру, — в основном по странам, давшим жизнь различным горячительным напиткам. А Контуш усердно работает над созданием "Истории пьянства" и уже обнародовал ее краткий вариант, который любезно передал нашему альманаху. Компетентная комиссия отобрала для публикации фрагменты, в которых речь идет либо о напитках одесского производства, либо зарубежных, но распитых автором на территории нашего региона.

Ф. К.

Большефонтанского мыса оказался плавным изгибом береговой линии, плохо заметным с высоты. Мы знали, что в этом месте берег немного забирал к югу; сверху это было видно, как на ладони: выгибающаяся в широкий залив, кое-где перегороженная скалами узкая полоса песка; белая от солнца дорога, все время идущая рядом с пляжем; красно-коричневые разломы глин, зеленые пятна садов, черепичные крыши дач; тонкая, местами проломанная оползнями, линия нависающего над склоном обрыва, за которую нам никогда не удавалось заглянуть снизу; аккуратные домики над кручей; выглядывающие из зелени улицы; наискось пересекающая степь ниточка трамвайной линии; блестящий на солнце асфальт уходящего в город шоссе; квадраты городского кладбища в жарком, дрожащем над степью мареве далеко на северо-западе; правильные круги станции биологической очистки; четко очерченные границы пионерлагерей; золотой шарик монастырского собора, возвышающийся над садами; маленькая башенка маяка посреди пустынного плато на северо-востоке.

Сережа доставал бутылку из щели между камнями, отпивал еще, снова доливал сухого и осторожно, чтобы не уронить на играющих внизу детей, передавал ее следующему. Голубая плоскость моря сияла далеко под ногами, накатывающие друг за другом волны разбивались о песок над самым ухом, и счастье переливалось через край длинными полукругами пены, охлаждая тело и забрызгивая лицо. Все было впервые; из всех времен существовало только будущее; мир странно блистал и волновался.

Игорь допил все, что оставалось на дне, лег на песок, закурил последнюю оставшуюся сигарету, бросил в сторону догоревшую спичку и долго смотрел, как она, описывая широкие круги, опускается все ниже и ниже над сияющим морем; солнце садилось, темнело, и мелкая прибрежная галька больно давила в плечо.

Одесса. "Портвейн южнобережный"

Мы пьем по второй в тысяча девятьсот семьдесят шестом, когда уже становится темно, и искры от костра взлетают в черное небо над пляжем.

Мы сидим на узкой полоске песка, разделяющей сушу и море; под нами планета диаметром двенадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть километров, над нами остальной мир, точный диаметр которого нам неизвестен; единственное, что нам известно — что это не диаметр вообще.

Сначала в мире нет никого, кроме нас двоих. Потом мы видим, как над склоном появляется какая-то фигура; кто-то зовет нас из темноты по именам; это Дима, и через несколько секунд он уже стоит возле нас с тремя

бутылками портвейна. Игорь тут же открывает одну из них, мы делаем круг, садимся поближе к огню и берем несколько аккордов на гитаре.

Висящие над нами звезды соединяются в линии созвездий.

Поднимающийся от костра дым переплетается со звуками гитары.

Высоцкий, Окуджава и Городницкий смотрят на нас из темноты, сидя на песке чуть поодаль.

Мы поем, подкладывая доски в огонь и передавая друг другу гитару; осенний квадрат Пегаса медленно встает над морем. Наконец костер догорает, и мы поднимаемся наверх; все давно спят; мы осторожно проходим мимо темных окон, пробираемся сквозь густые тени и выходим на широкую площадку, края которой соединяются с небом. На площадке нет ничего, кроме полутораметровой трубы телескопа-рефрактора, возвышающейся ровно посередине; ты строил его не меньше месяца вместе с отцом. Мы наводим телескоп на яркий диск Луны и с интересом рассматриваем длинные лучи кратеров, неровные линии хребтов и темные плоскости морей, потом быстро находим Юпитер и сразу замечаем четыре яркие точки рядом с ним, долго ищем туманность Андромеды, но в окуляре не видно ничего, кроме тусклых расплывчатых пятнышек.

Еще какое-то время мы пытаемся рассмотреть, что там наверху, но, в конце концов, оставляем телескоп под яркими звездами в самой середине площадки и спускаемся обратно на пляж. Мы понимаем, что даже с помощью оптических приборов нельзя увидеть то, чего не видно глазами. Мы открываем последнюю бутылку портвейна, ложимся на песок и всматриваемся в нависающий над нами мир; мы знаем, что мир является частью нас, и мы являемся его частью.

Мы видим, как через неизвестно какое время, которое уже перестало быть временем и превратилось в пространство, какие-то наведенные на нас сверхчувствительные телескопы видят слабый огонек на берегу моря, а какие-то сверхчувствительные приемники регистрируют слабые звуковые сигналы.

Мы видим себя за пультами этих приемников и телескопов, внимательно разглядывающих этот эпизод наших жизней; мы видим просторное помещение, заполненное мириадами ячеек, в одну из которых мы аккуратно кладем этот эпизод; все ячейки как-то соединены друг с другом, но мы не можем отсюда разглядеть, как именно.

И мы слышим, как кто-то говорит кому-то негромким и четким голосом: "Зарегистрированный инопланетным телескопом свет костра, на котором горит Джордано Бруно, является лучшим доказательством правоты великого итальянца".

Одесса. "Солнце в бокале"

Звенит последний звонок, и они в последний раз, обнявшись, выходят из дверей своей школы.

Остановите их, пока еще не поздно.

Остановите их, пока они еще не прошли до конца квартала, не перешли дорогу, не попрощались возле трамвайной остановки и не растворились навсегда во вселенной через каких-то ничтожных тридцать-сорок-пятьдесят-шестьдесят лет.

Семьдесят, если кому-то из них повезет.

Или пять-десять, если нет.

Оставьте все свои дела, бросьте все и бегите туда, пока еще не поздно.

Ведь мы уже все проходили там, и нашим детям еще предстоит там пройти.

И никого из нас там не остановил никто.

И мы все прошли до конца квартала, перешли дорогу, попрощались возле трамвайной остановки и растворились навсегда во вселенной через каких-то ничтожных тридцать-сорок-пятьдесят-шестьдесят лет.

Не думая о том, что будет, высоко подняв голову, хохоча и приставая к девчонкам.

Нам страшно не повезло.

Нас не остановил никто.

Никто не знал, что так нужно.

Что нужно бежать туда именно в этот момент, хватать нас за руки и умолять не уходить.

Не проходить до конца квартала.

Не переходить дорогу.

Или хотя бы не прощаться возле трамвайной остановки.

Не прощаться, и все.

Остаться там, курить, разговаривать, сплевывать на асфальт, щелкать семечки, покупать в магазине вино, рассказывать анекдоты, задирать голову, смотреть на вечно голубое в конце мая небо.

Остановите их.

Остановите нас.

Остановите нас всех.

Мы не хотим уходить.

Сухие вина отечественного производства

Одесса. "Алиготе"

Проходит меньше года, и мы входим в кафе, ждем в очереди несколько минут и садимся за свободный столик на некотором расстоянии друг от друга. Сеня идет за мороженым, Игорь приносит стаканы, Леня открывает сумку, и мы опасливо разливаем под столом первую бутылку, то и дело оглядываясь на продавщиц. Мы выпиваем, и расстояние между нами слегка уменьшается. Мы закусываем мороженым, осматриваемся и открываем под столом вторую. Мы выпиваем еще по стакану, и расстояние между нами уменьшается еще на несколько сантиметров. Мы выбираемся из-за столика, выходим на Дерибасовскую и отправляемся на бульвар. Ноябрьский ветер дует вдоль улиц, идущих к морю, и мы плотно застегиваем куртки, отворачиваем в сторону лица и идем мимо редких электрических ламп, раскачивающихся на невидимых в темноте проводах. Мы находим плохо освещенную скамейку в садике возле моста, забираемся под низкие ветки ивы и пьем из горлышка третью. Когда мы снова выходим на мост, расстояние между нами сокращается почти до нуля; мы проходим мимо Воронцовского дворца, выкрикивая "Свободу Роберту Планту!" и распевая "You never give me your money", минуем Дюка, сворачиваем в Театральный переулок и возвращаемся на Дерибасовскую. Магазины еще открыты, и мы покупаем еще три бутылки и снова идем к мосту по Гаванной и Гоголя. Когда мы проходим мимо замка, начинается дождь, и мы прячемся в ближайшем подъезде и распиваем четвертую в сырой темноте под шум падающих на асфальт капель. Расстояние между нами исчезает, когда Сеня допивает до дна и с облегчением ставит пустую бутылку в угол. Дождь усиливается, но мы выходим из ворот и идем к бульвару, не обращая внимания на лужи. Никто не молчит, все говорят и слушают одновременно, и каждый с абсолютной точностью понимает, что хотят сказать остальные. Так продолжается несколько коротких минут, пока мы снова не оказываемся возле садика. На скамейке мокро, и мы решаем забраться под мост; Игорь первым спускается по скользкому склону и машет нам снизу; мы осторожно, чтобы не сорваться с обрыва, сходим по размокшей глине и открываем пятую под тяжелыми бетонными перекрытиями. Здесь сухо, и мы садимся на землю и пускаем бутылку по кругу. Мы пьем ее так же, как все предыдущие, но когда мы снова появляемся под дождем и поднимаемся на мост, расстояние между нами почему-то возникает снова. Нам больше не хочется петь, кричать и говорить; мы

молча бредем по мокрым серым плитам, понимая, что один и тот же мост нельзя перейти дважды.

Одесса. "Столовое"

За столом, в кухне, на балконе, в ванной, за дверью, в коридоре, на лестничной площадке, в парадном, между этажами, в лифте, на чердаке, в подвале, на крыше.

Из стаканов, рюмок, стопок, бокалов, фужеров, чашек, кружек, бутылок, штофов, полуштофов, графинов, фляжек, мерных цилиндров, пробирок, канистр, цветочных ваз.

Под разговор, беседу, монолог, диалог, совещание, дискуссию, спор, диспут, скандал, анекдот, доклад, речь, выступление, лекцию, опрос, допрос, чистосердечное признание.

Стоя, сидя, лежа, засыпая, просыпаясь, на ходу, на бегу, за рулем, за штурвалом, на велосипеде, на стуле, в кресле, на табурете, в кровати, на диване, под диваном, в шкафу.

В июне, перед рассветом, после выпускного вечера, на пляже, с видом на Одесский залив.

В ноябре, на скамейке, в городском саду, под дождем, у стены летнего театра.

В декабре, на бульваре, в гроте, на камнях, возле горсовета.

В марте, на склоне, в Отраде, среди кустов, на прошлогодней траве.

Летом, в жару, над морем, под маслинами, с мидиями, не спеша, в одних плавках.

Осенью, в темноте, из горла, в парке, над портом, замерзая, в пальто.

Зимой, в мороз, над рекой, в бане, с девушками, потягивая, в простынях.

Весной, на даче, у моря, под сливой, на клеенке, покуривая, уже в рубашках.

В школе, вечером, во дворе, с хулиганами, после дискотеки.

В походе, ночью, у костра, с гитарой, на холодной земле.

В парадной, без штопора, в тапочках, под разбитой лампочкой, черт знает с кем.

В университете, на сдвинутых вместе столах, в аудитории, всей командой, после КВН.

На палящем солнце, в сумерках, под звездами, при луне, с фонариком, в лучах прожектора, при свечах, с керосиновой лампой.

На "Правде", "Известиях", "Труде", "Пионерской правде", "Водном транспорте", "Учительской газете", "Огоньке", "Комсомольской зірке".

В такси, трамвае, троллейбусе, автобусе, на яхте, катамаране, пароходе, теплоходе, в поезде, самолете, лодке, грузовике.

В кафе, столовой, баре, ресторане, буфете, кинозале, театре, музее, на фабрике, заводе, стройке, стадионе, лекции, семинаре, политинформации, профсобрании, после уроков, занятий, тренировки, репетиции, дежурства, работы, свидания, интимной близости.

Над облаками, в стратосфере, в межпланетном пространстве, среди астероидов, за пределами галактики, во вселенной.

Одесса. "Перлина степу"

Они лежали на белом горячем песке у самой воды и разговаривали. Солнце было уже высоко, и очертания стоящих на рейде судов чуть-чуть подрагивали у самого горизонта. Они поднялись с песка, прошли по пирсу примерно до середины, один за другим прыгнули в теплую липкую воду и поплыли к волнорезу, ныряя и обгоняя друг друга. Через полчаса они вышли из воды, постояли несколько минут, высыхая, достали из сумок стертые рваные кеды и старый футбольный мяч и поднялись по каменной лестнице к небольшой асфальтированной площадке, обнесенной металлической сеткой. Несколько часов они играли там три на три под палящим полуденным солнцем, и все это время солнце неподвижно стояло в зените прямо над ними. Около двенадцати они снова спустились на пляж и с шумом побежали к воде, толкая друг друга, а потом снова лежали на песке, играли в карты и пили вино. Примерно в два они пошли ловить с пирса бычков, потом отдирали от камней мидии и складывали в целлофановые пакеты, чтобы после жарить их на костре, поливая морской водой, потом выходили в море на маленькой яхте, ныряли с волнореза, кто дальше, и плыли в сторону берега сколько хватало дыхания. Было не больше трех, когда один из них умер, и они снова лежали на песке, а потом прыгали в воду с пирса, играли в карты и пили вино. В половине пятого пошел дождь, и они поднялись наверх, в бильярдную, и долго играли там до восьми шаров на большом бильярде. В пять дождь перестал, и они опять играли в карты, сидя на топчанах, и пили вино. Около шести один из них уехал в Москву, и они снова лежали у воды, и ныряли, и играли в футбол, а потом долго сидели на зеленых пыльных склонах. В семь стало холодно, и море замерзло, и они удивленно бродили в тишине по прочному белому льду, а потом молча сидели на сером безлюдном пляже. Еще

не было восьми, когда снова стало тепло, и он был уже один, и солнце садилось, и он лежал на песке у самой воды, играл в два шара на бильярде и ловил с пирса бычков, а после, когда наступила ночь, сидел в темноте под акациями на пустынном склоне, и блестели звезды, и звенели цикады, и старый, южный, раскаленный от зноя город был за его спиной.

Напитки собственного изготовления

Одесса. Домашнее вино

— Итак, значок знатного алкоголика, сто литров домашнего вина и звание лучшего в стране специалиста по крепляку вручаются Соколову Александру Ивановичу! В этом году Александр Иванович с товарищами установил новое всесоюзное достижение по потреблению крепких напитков типа "Портвейн" — одна тысяча восемьдесят человеко-бутылок на троих в месяц, что в пересчете на общедоступный язык составляет девять литров в день на человека... если, конечно, в этот день его еще можно назвать таковым. Думается, не нужно лишний раз напоминать, что этот всесоюзный рекорд одновременно является мировым. Александр Иванович! Где вы? Не скромничайте, давайте-ка на сцену, страна должна знать своих героев! Вы не скромничаете, вы просто не в состоянии? Ну, помогите же человеку подняться, вы что, не видите, он после рабочего дня на ногах не стоит!..

Большой, высокий, празднично украшенный зал. Широкая сцена, президиум. Добротные, хотя и старомодные, костюмы, белые рубашки, галстуки. Ты сидишь в зале, примерно в десятом ряду. Рядом с тобой кто-то сопит, засыпая. Ты осторожно осматриваешься. О, вот это сюрприз — из соседнего ряда тебе улыбается Шурик. Кто-то дремлет у него на плече. Ты присматриваешься и с трудом узнаешь Сережу. Растрепанные волосы закрывают ему половину лица, губа разбита, щека измазана чем-то черным.

— Теперь переходим к вручению наград в номинации "Самогон". Звание победителя, двадцать бутылок чачи и диплом пьяницы высшего разряда получает Юрий Семенович Вознесенский! За прошедший год Юрий Семенович в одиночку переработал пятьсот четыре литра высокотоксичных самогонов самого разного происхождения, от простых пшеничных и яблочных до нетрадиционных пирамидоновых и суперфосфатных. Юрий Семенович, прошу! Так вы и сейчас перерабатываете? Какой? Диоксиновый? Прямо с Украины? То-то я смотрю, вы в лице переменились. Ну, не буду отрывать; передадим через реанимацию.

Ты снова обводишь взглядом зал. Шурик поднимает руку в приветствии; в руке у него стакан с прозрачной жидкостью. Ты поворачиваешься в другую сторону и в третьем ряду слева видишь Игоря, который что-то наливает своему соседу из большой темной бутылки.

— Следующая номинация — "Шмурдяк". Товарищи, попрошу не морщиться. Для получения награды хочу пригласить на сцену потомственного алкаша, забулдыгу первой категории, заслуженного испытателя плодово-ягодной продукции Виктора Николаевича Иванова! Приз победителю вручают наши коллеги из Кишинева; это "Букет Молдавии" в экспортном варианте, называется "Гибель Японии".

В зале одобрительно аплодируют. Вокруг много знакомых лиц — соседи, родственники, товарищи по работе. Во втором ряду дядя Петя и дядя Валя неторопливо распивают бутылку "Лимонной", у окна Кела и Пеца не спеша потягивают пиво, сзади Виталик отхлебывает из фляги коньяк. Ты смотришь по сторонам; Сережа куда-то исчез; Шурик пробирается к тебе со стаканом в руке; Игорь оставляет соседа и идет к вам, не выпуская из рук бутылку.

— В номинации "Спирт медицинский, коньячный, технический, сырец, ректификат" высшую награду — десять литров денатурата — получает Михайло Юхимович Непейвода! К сожалению, посмертно. Предлагаю почтить память победителя вставанием... Виноват, не подумал. Тогда предлагаю почтить память минутой молчания. Товарищи, убедительная просьба: во время минуты молчания не икать и не отрыгивать... Спасибо... ой!.. Извините, не удержался. В номинации "Французские вина" призы было решено не вручать по причине отсутствия номинации. В номинации "Сивуха" победу одержал всенародно любимый убийца... то есть пропойца, широко известный повеса и волокита... и здесь волокита? нет, не можем без бюрократии... трижды алканавт СССР Альберт Янович Мангель!

Все кругом опять выпивают; еще недавно веселые лица наливаются краской, тяжелеют, темнеют; проходит немного времени, и в зале остаются только усталые люди в измятой одежде и изношенной обуви.

— Ну, и наконец последняя номинация — "Одеколон". Я понимаю, что передергивает. Ничего, не вы один после вчерашнего. Приз победителю — разрешение на внеочередную пересадку печени — вручают представители нашей парфюмерной фабрики. Я думаю, товарищи, мы можем гордиться тем обстоятельством, что исключительно благодаря нам наши парфюмерщики уже четвертый год перевыполняют план по выпуску мужских одеколонов, лосьонов для бритья и других напитков. Ну что ж, еще раз по-

здравим всех победителей и пожелаем им как можно дольше — года два, а то и целых три, здесь уже все от врачей зависит — радовать нас своими высокими достижениями.

Со сцены еще что-то говорят, но это уже никого не интересует. Народ начинает медленно подтягиваться к выходу. Встаем и мы; ну что домой, спрашиваешь ты; все смотрят на тебя как-то странно; да нет, я в порядке, говоришь ты, можем идти; он что, ничего не знает, спрашивает Шурик; наверное, отвечает Игорь; чего это я не знаю, говоришь ты, короче, пошли, по дороге поговорим; подожди, говорит Игорь, нам некуда отсюда идти; в каком смысле, спрашиваешь ты; в простом, отвечает Игорь, некуда и все; а что же дома, спрашиваешь ты; а дома нет, говорит Игорь; как нет, спрашиваешь ты, совсем; совсем, говорит Игорь; а что же есть, спрашиваешь ты; а ничего, говорит Игорь, ничего, кроме этого. Ты подбегаешь к выходу из зала, расталкиваешь толпу, сбегаешь по лестнице на первый этаж, пролетаешь через вестибюль и распахиваешь дверь на улицу. Снаружи ничего нет, кроме густой темноты; исчезли сквер, дома и деревья; звезды мерцают высоко над головой и далеко под ногами. Ты застываешь в проеме, потом аккуратно, чтобы не сорваться вниз, прикрываешь дверь, поворачиваешься и медленно идешь обратно через вестибюль; когда дядя Валя подходит к двери, ты уже поднимаешься по лестнице и не успеваешь увидеть, как он осторожно приоткрывает створку, выглядывает наружу, на мгновение останавливается на пороге и бесшумно соскальзывает в узкую щель.

Петродолинское. Брага

Есть напитки, которые отрывают от земли и уносят в будущее.

И есть напитки, которые вдавливают в землю и уводят в прошлое.

Ты проваливаешься все дальше и дальше назад с каждым глотком.

Сначала ты перестаешь адекватно воспринимать происходящее; это отнимает у тебя всего пятьдесят-шестьдесят тысяч лет. Потом твой язык прекращает слушаться тебя, сохраняя способность воспроизводить только самые простые звуки; ты погружаешься еще на триста тысяч лет глубже. Потом исчезает твое сознание, и у тебя не остается ничего, кроме инстинктов; ты уходишь в прошлое на пятьсот тысяч лет. Ты выпиваешь еще глоток, который отключает вестибулярный аппарат; ты больше не можешь сохранять равновесие и тебе приходится опуститься на четвереньки; ты быстро преодолеваешь разрыв между двуногими и четвероногими, промахивая сразу четыре миллиона лет. Хозяйка наливает тебе еще один

стакан; ты осушаешь его, разноцветный мир внезапно становится черно-белым, а окружающие тебя звуки сливаются в однообразный монотонный шум; этот стакан обходится тебе еще в пятнадцать миллионов. Ты отдыхаешь несколько минут и выпиваешь еще; твои конечности ослабевают, укорачиваются и исчезают совсем, а голова прочно врастает в тело; ты принимаешь форму забытого в кустах резинового шланга, способного перемещаться исключительно путем одновременного вращения во всех направлениях. Ты перепрыгиваешь от млекопитающих прямо к рептилиям, и из всех доступных тебе звуков у тебя остается только шипение. Твой язык утончается и странно раздваивается на конце, у тебя пропадают еще несколько жизненно важных органов, но ты все еще способен поглощать предложенную тебе жидкость. Именно так ты и поступаешь; каждая новая капля невозвратимо уменьшает тебя в размерах и затрудняет твою способность к движению, и без того весьма ограниченную; периоды, эпохи и эры стремительно проносятся перед твоими, уже несуществующими, глазами, наталкиваясь друг на друга и отправляя тебя назад еще на миллиард лет. Окончательно избавляясь от каких бы то ни было чувств, ты едва успеваешь ощутить неправдоподобную микроскопичность своих размеров, окруженных океаном чего-то, названия чему ты не знаешь, как новый глоток, теперь уже последний, уничтожает и эти твои границы, растворяя тебя в этом океане; ты исчезаешь в прошлом, и красные цифры "— 4.000.000" еще долго, целых пятьсот миллионов лет, светятся в пустоте на том месте, которым был ты.

Коньяки

Одесса. "Аркадия"

Лето. Полдень. Жара.

Юра разливает по сто.

Раскрываются створки ворот, и мы медленно выкатываемся из полутемных высоких ангаров в ослепительный июльский день, покачиваясь на выбоинах и зажмурив глаза от солнца. Мы останавливаемся, осторожно открываем глаза и оглядываем дымящуюся от зноя степь, дрожащий вдали горизонт и знакомое синее небо.

Мы чокаемся и выпиваем.

Строгий голос что-то приказывает в наушниках, мы вспыхиваем зелеными лампочками приборов, вскипаем негромким гулом турбин и неспешно прокатываем к заранее приготовленному месту, напевая под нос

и поправляя тонкие галстуки под темно-синими форменными кителями. Мы смотрим вперед и улыбаемся друг другу; сегодня легкий день, нас не провожает никто, и мы не берем пассажиров.

Юра снова разливает по сто. Мы, все трое, неторопливо проезжаем перед зданием аэропорта, аккуратно вписываемся в поворот, выруливаем на взлетную полосу и замираем перед стартом, настойчиво гудя моторами. За стеклом степь все так же дымится от зноя, горизонт все так же дрожит вдали, и знакомое синее небо нависает прямо над головами.

Мы чокаемся и выпиваем.

Зеленые лампочки гаснут и тут же вспыхивают снова; строгий голос в наушниках становится еще строже; мы взревываем всеми своими лопастями, вздрагиваем белоснежными корпусами, медленно трогаемся с места, разгоняемся по бетонной прямой и плавно отрываемся от земли. Покачивая крыльями, мы проносимся над плоской суетой аэропорта, плоской синевой лиманов и плоской тишиной степи, делаем разворот и начинаем подниматься над плоской поверхностью планеты, которая постепенно изгибается нам в ответ.

Юра разливает еще по сто. Мы пролетаем над Аравийским полуостровом, успевая заметить острый изгиб Африканского рога далеко внизу, и уходим в стремительно чернеющее небо.

Мы чокаемся и выпиваем; Сережа закусывает лимоном. Мы все дальше отрываемся от земли, все глубже погружаясь в небо; уменьшающаяся планета быстро перемещается в иллюминаторе, пока наконец не оказывается прямо над нами. Мы смотрим вперед и улыбаемся друг другу; мы улетаем, не улетая; мы тонем там, где утонуть невозможно.

Юра снова разливает по сто. Нет дна; нет конца, нет начала, нет движения, нет покоя. В иллюминаторе постепенно исчезают звезды и чернота; последним исчезает иллюминатор. Мы находимся неизвестно где и когда, хотя и прекрасно знаем, что эти место и время нам хорошо знакомы.

Мы чокаемся и выпиваем; все закусывают лимоном.

Неожиданно движение возникает снова, ускоряясь и складываясь в вихри. Вращение пространства прижимает нас друг к другу; нас начинает мутить в наших жестких скафандрах, не приспособленных к таким перегрузкам. Центробежная сила с непредставляемой скоростью выбрасывает нас куда-то далеко вверх и вперед, и когда пространство и время снова отделяются друг от друга, рыжее пятно Австралии уже проносится прямо над нами; безвозвратно снижаясь, мы пролетаем под синей выпуклостью Индийского океана, проходим рядом с вечерними огнями Кейп-

тауна, дотягиваем до Атлантического побережья Аргентины — волны прибоя так близко, что кажется, будто до них можно дотянуться, стоит только поднять руку — проносимся под пригородами Буэнос-Айреса, почти задевая кроны деревьев; Юра снова разливает по сто, мы торопливо выпиваем не чокаясь и тут же, достигнув своего потолка, навсегда врезаемся в землю невдалеке от чилийской границы, в двадцати пяти километрах от города Мендоса.

Бренди
Одесса. "Кальвадос"

Проходит несколько лет, и мы обнаруживаем себя сидящими с рюмками в руках на свадьбе кого-то из нас, мы с трудом вспоминаем, кого. Мы сидим здесь давно; мир уже сузился до размеров длинного стола, заставленного бутылками и закусками; все остальное расплывается в причудливые узоры и исчезает в резких полосах света и громких звуках музыки. Мы разговариваем, крича и перебивая друг друга; мы сняли пиджаки, нам душно и жарко, и только иногда по ногам пролетает какой-то ветерок. Юра снова протягивает руку к бутылке, мы прерываем разговор на несколько секунд, кладем себе шпроты и возвращаемся к чему-то, что представляется нам всем исключительно важным. Слова застывают в воздухе, растекаются над столом и медленно исчезают в пространстве. Юра открывает еще одну бутылку с надписью "Кальвадос"; мы снова прерываем разговор на несколько секунд и кладем себе шпроты; слова растекаются над столом, нам жарко, и приятный ветерок шевелит нам волосы. Мы видим, как Женя о чем-то говорит с музыкантами; мир заполняет вступление к "I just called", и мы встаем и идем танцевать перед маленькой эстрадой, выпив еще по рюмке перед дорогой. Девушки обнимают нас за плечи, свежий ветер овевает нам лица, и мы счастливы. Мы возвращаемся за свой столик и тут же наливаем еще по одной; мы спорим о чем-то, кто-то произносит какой-то тост, Юра открывает еще одну бутылку с надписью "Кальвадос", кто-то произносит еще один тост, мы снова идем танцевать, Юра открывает бутылку без всякой надписи, потому что бутылок с надписью "Кальвадос" больше не видно, кто-то предлагает сфотографироваться с невестой, и мы идем в вестибюль и фотографируемся с двумя девушками из Винницы, не потому что не можем найти невесту, а потому что девушки из Винницы кажутся нам симпатичнее, Юра открывает еще одну бу-

тылку без надписи, и так продолжается до тех пор, пока неожиданный порыв ветра не вскидывает край скатерти, сбрасывая на пол тарелки. Мы замолкаем и удивленно смотрим на белые осколки, пытаясь понять, что же произошло; наконец Юра машет рукой и разливает всем из почти пустой бутылки; мы торопливо выпиваем, Вадик встает, чтобы позвать официанта, но в этот момент ветер налетает с еще большей силой, он бросает Вадику в лицо ворох бумажных салфеток и расшвыривает по столу окурки из пепельниц; бутылки валятся в салаты, вилки дребезжат о ножи, и мы замираем в изумлении и смотрим, как легкие белые квадраты кружатся в воздухе, опускаясь все ниже и ниже. Мы переводим взгляд на плотно зашторенные окна, потом на тщательно закрытые двери; мы пытаемся понять, откуда взялся этот ветер, но тут он снова налетает на нас неизвестно с какой стороны; наши рюмки падают на пол, разлетаясь на тысячи кусочков, наши пиджаки взлетают со спинок стульев и уносятся куда-то вдаль, наши рубашки наполняются тугой силой, приподнимая нас над землей. Мы едва успеваем оглядеться, как новый порыв ветра, еще более яростный, чем предыдущий, наваливается на нас со всех сторон, срывая со столов скатерти и переворачивая стулья. Как только ветер стихает, мы вскакиваем и бежим к выходу, пытаясь выбраться наружу, но в вестибюле нас останавливает настоящий шквал; бешено мчащийся воздух расшвыривает нас в стороны, прижимает к стенам, бросает на пол; мы пытаемся удержаться на ногах, отчаянно цепляясь друг за друга, но у нас ничего не выходит; ветер сбивает нас с ног, и мы застываем на полу в неловких позах, ожидая затишья. Наконец буря прекращается; мы с трудом поднимаемся на ноги и бредем к дверям, поддерживая друг друга; мы выбираемся наружу, останавливаемся передохнуть посреди тротуара, и в этот момент немыслимой силы ураган обрушивается на нас откуда-то сверху; ветер врывается в наши рты, ввинчивается в бронхи, вонзается в легкие; мы разлетаемся в стороны, как осенние листья, сорванные с веток внезапным вихрем, и ветер уносит нас вдаль, переворачивая в мощном потоке.

Вернувшись назад следующим утром, мы обнаруживаем себя разбросанными по городу и окрестностям в знакомых и незнакомых местах, на улицах, в квартирах, на садовых скамейках и в поездах дальнего следования; мы кое-как добираемся домой, принимаем душ, покупаем кефир и долго сидим на бульваре, глядя на корабли и готовясь к новому путешествию.

Виски

Маяки. "Johnny Walker"

Этот светлый летний день начинается так же легко, как и все остальные. Вы просыпаетесь рано, быстро завтракаете, Люба спускается в магазин купить кое-что в дорогу, и вы отъезжаете от дома, когда еще нет девяти. По дороге вы заскакиваете к тебе на восьмую Фонтана за бутылкой "Johnny Walker", ты машешь маме рукой в ответ на ее обычное "Димочка, только прошу тебя, осторожнее!" и, как всегда, бежишь вниз по лестнице с девятого этажа; солнце еще только поднимается над степью, на трассе почти нет машин, и в десять вы уже на даче. Дети сразу же убегают к лиману, Люба устраивается в летней кухне готовить обед, и ты не меньше часа возишься во дворе по хозяйству, а потом спускаешься вниз за детьми; вода в лимане уже теплая, вы долго купаетесь невдалеке от берега, и ты показываешь им, как правильно плавать кролем. Вы обедаете под высокой черешней за старым деревянным столом; ты рассказываешь о своем последнем рейсе в Азию; Люба улыбается, дети хохочут; ты запиваешь еду настоящим шотландским виски. После обеда ты немного читаешь в саду, а Люба идет отдохнуть в дом; там не так жарко, и холодные черные тени нависают над прохладными белыми простынями. Ты засыпаешь на несколько минут, а когда просыпаешься, солнце уже светит тебе в лицо сквозь тонкие листья маслины, немного опустившись к западу. Просторный сад залит золотым светом, прозрачные тени вздрагивают на свежей траве, из дома доносятся детские голоса, и ты чувствуешь, что счастлив. Ты работаешь в саду еще несколько часов, приводя в порядок дорожки; вы еще раз садитесь за стол, теперь уже ненадолго, и ты выпиваешь еще немного. Вечереет; вы начинаете понемногу собираться домой; твоя недавно привезенная из Японии, хоть и не новая, но вполне приличная "Тойота" удобно стоит во дворе; вы складываете вещи в багажник, рассаживаетесь, и ты аккуратно трогаешь с места: ты еще не совсем привык к правому рулю, к тому же никак не соберешься заменить вконец истертые покрышки. Ты проезжаешь через село, берешь вправо и выезжаешь на трассу. Вечереет; золотое июньское солнце садится над степью. Дорога почти пуста; ты догоняешь старый "Москвич", который идет не больше семидесяти. Ты не спешишь, но тебе не очень хочется плестись непонятно за кем на своей иномарке; тебе не очень хорошо видно со своего места справа, что там впереди перед "Москвичом", но дорога почти пуста, до поворота еще далеко, и ты резко берешь влево, выскакиваешь на встречную и нажимаешь на газ. К твоему удивлению, до поворота оказывается ближе, чем ты думал; пря-

мо на твоих глазах оттуда вылетает автобус и несется тебе навстречу. Ты озадачен; ты не знаешь, что делать, то ли тормозить, чтобы укрыться за "Москвичом", то ли ускориться, чтобы проскочить. После секундного замешательства ты вдавливаешь в пол педаль газа, но твоя скорость почти не увеличивается; автобус несется прямо на тебя, отчаянно сигналя и мигая фарами. Ты наконец понимаешь, что проскочить не удастся, и изо всех сил нажимаешь на тормоза, пытаясь пропустить вперед "Москвич", который все это время остается справа от тебя, но изношенная резина уже не в состоянии удержать тебя здесь; за твоей спиной страшно кричат, но ты этого не слышишь. Зачем-то сошедшиеся на узком участке пространства автобус, "Тойота" и "Москвич" мчатся навстречу друг другу; садится солнце; на уходящем далеко к горизонту шоссе нет других машин. От резкого торможения тебя разворачивает, автобус врезается тебе в бок и на полной скорости слетает с дороги в кювет, толкая тебя перед собой; вдоль шоссе идет оросительный канал, и твоя "Тойота" попадает в него и тут же тонет; насквозь пронизанные болью, вы взлетаете вверх, успевая только увидеть навсегда застывший в кювете автобус, навсегда исчезающий за поворотом "Москвич" и тусклый огненный шар, навсегда повисший в темноте на окраине спиральной галактики.



Владимир ЕФИМЕНКО

Бах
Из сборника "По реке времени"

Меня тогда здорово бабахнуло. А эта клуша даже не потрудилась выяснить, выключен ли из сети миксер, который она сунула мне чинить. Я его развинтил, что-то в нем коротнул...

Захожу в комнату. Там — какой-то хмырь опухший. Глазки узенькие. Лет за полтинник. Сидит у меня в кресле и лыбится. Ну не наглость?! В моем любимом кресле, возле компа. Не то чтоб это был какой-то навороченный Pentium III, но мой рабочий пенек. Какого хрена ему здесь надо?

Говорит по-немецки. Я его ни фига не понимаю. По-английски спрашиваю — "Нихт ферхштейн" в ответ. Я, я, натюрлих. Я быстренько инсталю себе в комп переводчик и набираю: "Ты кто такой?". Этот тип несколько оторопело смотрит на монитор, а потом выдает мне: "Их бин Йохан Себастиан Бах". Слава богу, что не Бэлла Горячкина! Композитор!

Я понимаю, что тип явно гонит, но уж больно сходство портретное... Дело в том, что вчера мы с Лехой до утра страдали разной фигней. Наваляли кабацкий текст, про то, как у мужика без чувихи крыша едет, слепили пару стандартных каденций. Получился хит местного значения. В итоге Леха оставил у меня свои клавиши — "Ensoniq TS10", тачка по тем временам довольно крутая. Стоила кучу баксей, чтоб ее по ночи таскать — мир не без добрых людей. А ну, говорю, композитор, покажи себя. "Мурку" сбацай. Выставляю ему из стандартной библиотеки звуков клавесин и беру пару аккордов. О! Тут чувака и пробило: подскакивает к клаве и не может догнать, откуда такие божественные звуки. Он на корпус пялится, аж глазки свои разул — не въезжает, наивный, что звук — из колонок. Разве что на зуб не попробовал. Ничего, старина, привыкай к современной технике. Долго его уговаривать не пришлось: сел как миленький и стал чего-то наяривать, что-то очень трехголосное, аж меня начало растаскивать. Леха, когда прикалывался, объяснил принцип полифонии: это когда начинается классная тема, идет обалденный музон, а потом подключается второй и третий голоса, начинают подвякивать поперек и наламывают весь кайф от первого. Так, в принципе, воспринимает музыку большинство населения.

Но мой Иоганн не из таких. Весь аж красный, парик на фиг скинул: "О, mien Gott! Sehr gut!" — знай себе играет. Играет, конечно, офигенно. У меня уши — трубочкой. Дыхнуть боюсь. А тут он вдруг остановился и кивает

мне на кнопки, для чего, мол, они, и на дисковод косится. Я ему тогда тогда выставляю засэмплованные скрипки, такие, что канифоль слышна на каждом волоске, гитару "Nylon strings", мужские, женские хоры. Смотрю, он забалдел, уже сам тычется кнопки нажимать, тембры пробовать. Я ему пятое через десятое, половина на пальцах, что-то по-итальянски, типа там, mezzo forte, non legato, bravo bravissimo, должен же человек понимать. А чувак дорвался до кнопок, нарыл-таки себе Church organ и забацал доминорную пассакалию, мою любименькую, по моей же просьбе. Я там и высох.

Правда, успел включить запись и приличный кусок закатал на диск. Потом, когда он кончил играть, я это дело тут же прокрутил для полного счастья. У чувака чуть инфаркт не случился. Я ему даже пятьдесят грамм капнул, чтоб он немного в себя пришел.

— Ja, ja, Schnaps ist gut!

— Да, да, Иван Севастьянович. Огурчик бери, родной ты мой. Не побрезгуй.

Потом я ему ставил си-минорную мессу с компакта. Вижу, чуваку нравится. Глена Гульда ему крутил, Маленькие прелюдии и фуги. Смотрю, он в некоторых местах пожал плечами. Потом бровями повел наверх, лыбу скривил и закивал головой, мол, а почему бы, собственно, и нет? Много чего я ему крутил. Франка, Равеля, Оскара Питерсона. Малер, я заметил, ему не пошел. На Шенберге он уже начал откровенно плеваться. Это вы зря, батенька, так сплеча рубите. Тут тоже свой кайф есть. А Петр Ильич ему попёр. Потом смотрю, уже пошел некоторый информационный перегруз, восприятие притупилось. Я тогда поставил что-то высокоинтеллектуальное, типа Тани Булановой, чтобы мозги отключить. Под пельмени получилось замечательно, хотя по его высказываниям я понял, что в их-них немецких кабаках музычка была позадороже. Удивительно, как это его проперло на джаз. Он мне тыкал пальцем в компакт Элингтона и чего-то там нахваливал. Потом мы о чем-то еще свистели. Он меня выспрашивал, а я не знал, что ему рассказать. И с немецким — лажа, да и потом, как ему все объяснить, если я сам не очень хорошо понимал, на каком свете нахожусь. Про историю я его вообще не стал грузить. На фиг ему Гитлер, мировые войны и вся эта гадость с Чернобылями в придачу. Он даже по-нашему что-то пытался сказать. Нормальный интеллигентный чувак.

Скоро, правда, нашу идиллию нарушили: слышу, как распахивается входная дверь и заваливает делегация корешей, а с ними — сквозняк по ногам. Я им ору, еще не зная, кого там черти принесли:

— А двери, что, Пушкин закрывать будет? Мало того, что вламываетесь, как к себе домой, так, небось, и ноги не вытерли!

Тут они заходят к нам в комнату: с приплыздом! Александр Сергеич пытается снять свою крылатку и оправдывается, что, мол, там сзади еще Антон Павлович Чехов и Дед Пихто, вот, мол, пусть они и закрывают.

— Ну, — говорю, — ты и Достоевский!

А он мне: — Достоевский чуть позже подойдет, его послали через магазин.

Должен отметить, что Антон Павлович нам очень помог: его немецкий оказался выше всяких ожиданий. Их там в гимназиях конкретно учили, а не отбывали номер, как у нас. Так что, посидели очень неплохо, но когда появился Федор Михалыч, стало так жарко, что хоть святых выноси, просто голова пошла кругом, и дальше я уже даже не упомню.



Константин К.

Индульгенция на вседозволенность

Низвержение из невообразимо далекого, совершенно непонятного, немыслимого небытия в незнакомый и загадочный, но многообещающе прекрасный поднебесный мир не так уж просто. Это не обыденное какое-нибудь пробуждение. Вероятно потому, падая, успеваешь так напугаться, что забываешь, кто ты таков. Напрочь забываешь все или почти все, захлебнувшись этим вопиюще безобразным ужасом падения, словно мчишься не к назначенному уделу, а летишь головой вниз, сорвавшись с крыши самого высокого небоскреба. И когда уж кажется, что через мгновенье расшибешься не в лепешку, не в брызги даже, а просто во вспышку, когда от беспримерной скорости небывалого паденья ветрами разграничивающих межвремений срывает с тебя память, как тряпицу, вдруг, беспомощный и неразумный, оказываешься там, где и должен был очутиться, — в черной слякотной борозде. И не понимая еще, куда попал, начинаешь с чистого листа свое знакомство с миром.

Первое, что он почувствовал, будучи еще не в состоянии что-либо увидеть или понять, была влага. Она истекала отовсюду, омывала, проникала внутрь, не давая иссохнуть, и казалась желанной. Отвергнуть ее было невозможно, да и немыслимо. Сперва, правда, только оболочка набрякла, стала мягкой, податливой, а затем уж впустила влагу внутрь. Но не текучим потоком, и не соча каплями, а являя незаметно, чудесно, будто некий магический эликсир, от которого внутри себя самого он начал разбухать, тесниться, медленно и неловко ворочаться, пытаясь распрямиться, пробуя на прочность стенки своего кокона, своей размякшей от влаги оболочки.

Это продолжалось очень недолго. Ему же, напротив, казалось, что он всегда боролся с теснотою в себе самом, что там, внутри себя, он неизмеримо больше того пространства, в которое его заперли, что ему жизненно необходимо найти способ взломать, сокрушить эту зловещую темную тесноту. А когда оболочка и впрямь лопнула под его напором, он, пусть и не очень решительно на первых порах, самозабвенно устремился вверх.

Несмотря на то, что замкнутость пространства его будто отпустила, освободила, темнота, как и прежде, царила кругом. Его не пугало, что приходится пробираться ощупью в этом длящемся мраке, огибая невидимые и, может, потому непостижимые препятствия, а которые легче, податливей, то и двинуть с дороги, собравшись с силами. Он не помнил, что ему следует делать, но как-то знал, что поступает верно. Кроме того, ему это нравилось.

Но и это движенье было недолгим. Мчащиеся стремглав сквозь похожую тьму звезды не успели разлететься кто куда, скрыться за горизонтом, подобно птицам, даже изменить узор созвездий, двинувшись с занимаемых ими на небосводе мест не сумели, когда он, наконец, смог увидеть их, похожих для глаз, не видевших еще ничего, кроме тьмы, на булавочные уколы. Не колющие, однако, а лишь похожие на них.

Теперь он смог выпрямить свой тонкий стан, поднявшись над землей. Пусть пока невысоко, всего на сантиметр, и все же это подобало принимать как победу. Над тьмою подземелья, над тяжестью комьев...

Взлетело праздничное солнце, ряженое в сияние своих одежд, словно ко дню его рождения. Осыпало теплом и светом, будто милостями. И он, понимая, что должно ему тянуться к этому благосклонному покровителю, устремился к нему, да тут же и почувствовал, что не просто тянется теперь, и не просто полз меж земляных комьев прежде, а рос и растет! Да-да, растет и крепнет. Стебель становится толще, прочнее, лист шире, длиннее, а там, в земле, откуда он так недавно выбрался, осталась часть его, питающая его и посылающая ему силы подниматься все выше.

Так прошел первый день, в котором он словно в счастье купался. Многого узнать или понять не удалось, но главное он понял: он растет, питаемый корнями, неразрывно с ними связанный. Он растет потому, что обласкан солнцем, благодетелем, притягивающим его многими незримыми нитями лучей, похожими на сотни и тысячи гипнотически манящих взглядов.

Наступившая ночь бодрила прохладой, удивляла звездным хороводом, так же, как день, научая чему-то своему, тоже имеющему отношение к миру, к его новой жизни...

Следующим утром (подумать только — целые сутки он уже прожил под небом!) он встретил солнце как старого доброго друга и снова убедился в его щедрости. А затем — о чудо! — вокруг, сколько хватал глаз, увидел многих своих собратьев, немного отставших от него, и теперь, чуть приподнявшись над землею, как он сам только вчера, удивленно пьющих воздух, сияющих зеленью, протягивающих солнцу еще не очень-то похожие на листья ростки. Они не могли не подружиться, даже едва познакомившись. И этой дружною семьей зажили беззаботно и радостно.

Однажды, когда их листья уже были похожи на озерную рябь под порывистыми ладонями налетевшего ветра, к их стеблям упали семена, принесенные этим самым ветром из несусветного далека, словно бы из-за моря-окияна. Никто не огорчился появлением пришельцев. Скорее наобо-

рот, было беззаботное ликование — ведь их дружное сообщество станет больше, а значит, богаче новыми связями, общением, новою дружбой. Они заботливо прикрывали принесенные семена, чтобы избыток солнца не иссушил их, не пускали к земле ветер, чтобы не сдул гостей, не прогнал из борозды, где семена эти могли достать хоть немного влаги. Они искренне надеялись, что не исчезнут втуне их радения, помогут проклюнуться настоящим зеленым росткам из этих таких легковесных зерен.

Не были напрасны их труды. Очень скоро у принесенных семян лопнули, будто взорвались их оболочки. И споро, деловито потянулись вверх на глазах крепнущие ростки с незнакомой формы широкими зелеными листьями. А землю властно раздвинули и стали уверенно буравить мощные мясистые корни.

— Ну что ж, — прежде подумав, решили хозяева поля, — что они, не такие, как мы?

— Может, смешавшись с ними, мы создадим новую культуру, — самито они были растениями культурными.

И они стали ждать, когда наступит пора цветения. А там, опылившись, станут они растить колос. Но вышло совсем по-иному.

Раскинувшие сети корней, все тянущих к себе, перехватывающих, пресекающих, удушающих корни хозяев, пришельцы стремительно шли в рост. Они умели, накапливая влагу в толстенных стволах своих корней, пользоваться ею, иссушив почву в долгое отсутствие дождей, когда хозяева страдали и мерли от голода, ропща на жгучесть ранее благодатных лучей. И тогда пришлось говорить о хищничестве пришельцев, о недопустимой их бесцеремонности, выражать им свое презренье, но...

Мало того, что они отбирали питание, их невероятно толстые и очень прочные стебли поразительно быстро тянулись кверху, рьяно обгоняя ростом хозяев, а огромные зеленые листы стали закрывать собою солнце, выпивая все его тепло, весь его милостивый свет, нисколько не озаботившись чьей-то чужой нуждою в своей толике тепла.

И зацвели, и опылились они скорее, чем уцелевшие еще исконные жители поля, давно уж начавшие роптать, впрочем, безуспешно. Ибо новые властелины поля не умели любить, давно разучились дружить. Заботясь лишь о подземной влаге да солнечном свете, ревностно следили за тем и другим при помощи рейтингов и не обращали на ропщущих ровным счетом никакого внимания.

Когда же стали осыпаться и тут же проклевываться мириады семян, рожденные уже на этом поле у занесенных хищников, взмолились куль-

турные растения, возопили о помощи. Но к кому? К Нему? Им избранный Себе удел лишь созерцать... К новым хозяевам поля? Но они ведь всем довольны. К тем, кто должен бы приглядывать за полем? Похоже, те забыли о нем... Или потеряли к нему интерес? Может, они предпочли большие зеленые листы пришельцев? А может, с их попустительства... позволенья?.. Те зерна, что так стремилась взрастить культура, калечатся...

Взывая, не стали они думать о том, к кому взывать, но каялись перед небом и солнцем в ошибках, твердили, что новой культуры не выйдет, и что нужно спасать урожай...



Галина ПЕДАХОВСКАЯ

Ночь в Амстердаме

Шум в автобусе постепенно стихал. Еще кто-то, приподнимаясь с кресла, спрашивал:

— Почему вы не были на концерте Никитиных?

Откуда-то долетало:

— Куда мы с вами последний раз ездили — в Брюгге или Люксембург?

Кто-то со взволнованным лицом не мог усидеть на месте, пробирался между креслами и шептал, что через два-три месяца родители, сестра или друзья будут здесь. Его поздравляли, прекрасно понимая состояние радостного ожидания. Это были каждодневные разговоры, которые возникали в любом месте, где бы ни происходили их встречи.

Не то чтобы она не любила шум. Пожалуй, напротив. Ей всегда нравилось погружаться в суету вокзалов и пристаней, поездов и пароходов, которые, в конце концов, приводили ее в новые города, страны. Она непринужденно чувствовала себя на многолюдных улицах, шумных перекрестках, любила ощущение слитности с незнакомой толпой и в то же время своей уединенности в ней. Рядом бурлила чужая шумная, всегда для нее безумно интересная жизнь. Не понимая языка, она отчетливо понимала, что движет этими людьми, какие чувства выражают их лица. И эта если не духовная, то душевная общность радовала ее. А мысли ее текли сами по себе, жадно впитывая и откладывая в памяти все новое, незнакомое. Позже она осмыслит, переберет каждое воспоминание, и все это из скользнувшего мимо в электричке Кобулети-Сачхери, на базарах Хивы и Самарканда, на площадях Пигаль и Трафальгар станет по-настоящему увиденным, узнанным в той мере, в какой вообще что-либо поддается постижению. И останется уже с ней навсегда. Пройдут годы, но она без труда сможет мысленно повторить путь по любому из городов, в памяти отчетливо всплывет, что она там видела, помнила — было это в первый, второй или какой-то там день пребывания. Цепкость ее памяти иногда обременяла ненужными подробностями. Но вместе с тем она не хотела терять ни крупицы увиденного.

Но последние годы, прожитые здесь, несколько видоизменили, как она, насмехаясь над собой, думала, ее давно сложившийся характер. Перед каждой многолюдной встречей она ощущала некоторую напряженность: предстоял ритуал приветствий, которого она бы с удовольствием избежа-

ла. Все люди, которые ехали в автобусе, были знакомы друг с другом. Их связывали несложные отношения приязни-неприязни, каких-то нехитрых первобытных деловых связей, мелких подспудных интриг. И все это было приправлено известными всем сплетнями, которые так легко возникают в любом замкнутом обществе и чаще всего имеют основание. Люди встречались так, будто не виделись по меньшей мере несколько лет или вернулись только что откуда-то, где подвергались явной опасности, которой, ко всеобщему изумлению, им удалось чудом избежать. Женщины, отбросив резким движением сигарету, чуть-чуть быстрее, чем это было необходимо, бросались навстречу, чуть-чуть более порывисто, чем требовало дружелюбие, целовались, в то же время не забывая о свежей, час тому назад наложенной косметике. Над толпой вспархивали легкие вскрики:

— Ты как всегда... Посмотрите, какая красавица моя подруга!

— Нет, невозможно, как вам удалось этого достичь?.. Но это, наверное, секрет, который вы не откроете...

— Почему вы мне не позвонили? Я бы обязательно пришла, если бы знала, что вы болеете...

Подходя, она уже была готова получить свою порцию:

— Вас не узнать, вы полностью изменили свой облик... Прическа, стиль совсем другие...

Ну что ж, все это легко поддавалось расшифровке: одна хотела подтверждения, что она не менее хороша, чем ее подруга; другая намекала третьей, что она плохо выглядит. Что, это о ней самой? Прическа, стиль?.. Какая чушь, до стиля еще далеко. Но женскими взглядами, отточенными рассматриванием витрин Шанель, Версаче и Армани, было отмечено, что она уже вышла из разряда тех, кто ходит в униформе — свитер, брюки, куртка. Она тоже охватила одним взглядом толпу, тоже заметила кое-что, отдала должное кое-кому, но включаться в предложенный разговор не хотелось: она уже в эти игры не играет — скучно. Но все-таки кому-то помахала рукой, кому-то сказала: "Привет, дорогая!" — но от обряда поцелуев довольно удачно увильнула.

Шла обычная слегка лукавая женская жизнь: не слишком скрываемое непринципиальное соперничество, более тщательно скрываемое любопытство к финансовым возможностям ближних и дальних. Результаты наблюдений давали пищу для размышлений, которые, в свою очередь, подталкивали делать маленькие шажки вперед.

"О, подруги мои, носительницы прогресса! — добродушно поиздевалась она. — Мы не пропадем!" Способность мимикрировать и инстинкт

самосохранения всегда безошибочно помогали выбрать того — с более увесистой дубинкой или каменным топором, предпочесть конного пешему, видеть реальный путь смены "фольксвагена" 82 года издания на "мерседес-600". А что касается нашей жизни, так сказать, в предшествующем воплощении, то она была странной помесью альтруизма и мазохизма, несколько затянувшейся болезнью, но, к счастью, не успевшей превратиться в хроническую.

Мужиков она жалела искренне. Вырванные из знакомого стойла проектных институтов и конструкторских бюро с их бесконечным курением и спорами ни о чем на лестничных площадках, из атмосферы гонки и сдачи, как каждый из них в душе понимал, не очень нужных проектов в конце квартала, поездок в подшефное село на сбор картофеля, лука и моркови, поисков нашумевшей книги, прочтение которой нельзя было отложить ни на один день, футбола, телевизора, от школьных друзей Витьки и Генки, которые в кризисный момент понимали абсолютно все, — они казались ей травоядными ящерами, перенесенными в чуждую им геологическую эпоху. И хотя сочной травы здесь было достаточно, они слегка затуманенным сознанием понимали, что доминирующим видом является какая-то другая, зубастая популяция. Ей казалось, что, встречаясь большими группами в каком-нибудь уединенном местечке, они тихо, с робкой надеждой спрашивали друг друга: не начали ли отрастать зубы, так, просто, сами по себе — ведь это было бы так удобно, сняло бы все маячащие впереди проблемы — и не слыхать ли о прецедентах такого рода, имеющих место быть.

* * *

Разговоры в автобусе перешли уже и в вовсе бытовой план: о преимуществах одного общежития перед другим, о маклерах и съеме квартир, весенней распродаже, болезнях и врачах — неизменные вехи их жизни. Автобус приближался к голландской границе. Переход, как всегда, осуществился незаметно: придорожные указатели, вывески и реклама сменили немецкий язык на голландский. Впереди показался первый голландский городок Венло, знаменитый своими дешевыми субботними ярмарками. Не раз знакомые приглашали их съездить вместе, но сама идея поехать за продуктами ей и Юрке казалось смешной. Сколько им нужно еды на двух человек, чтобы ездить за шестьдесят километров в расчете на какую-то копеечную экономию?

Сегодня тоже была суббота. И вдруг кто-то из уже побывавших здесь

начал подбивать остановиться на часок-другой, мол, еще совсем рано, и мы еще успеем до полудня в Амстердам. И все вдруг с неожиданным единодушием поддержали идею. А ее порадовала возможность продлить предвкушение, пробыть еще некоторое время в состоянии ожидания, которое, она была в этом уверена, не обманет.

Автобус свернул с автобана в город и мгновенно очутился в потоке легковых машин, движущихся в одном направлении. Город был таким чистым, ухоженным, какими, вероятно, бывают только голландские города. Он сиял яркими красками узких фасадов двухэтажных домов: кирпичная кладка, изразцовые фронтоны, замысловатые металлические крылечки с невысокими лесенками. Все было настолько совершенно в своей законченности, что иногда производило впечатление декорации.

Условившись встретиться через полтора часа у автобуса, они смешались с толпой. Базар обрушился на них оглушительным шумом, фейерверком красок и запахов. Горы снеди громоздились в лучших традициях фламандской живописной школы. Всего было слишком много — изливающееся через край раблезианское изобилие, привычное и экзотическое, еще не виданное. "Почему таким скучным словом "натюрморт" — "мертвая природа" — принято называть изображение этой живой, трепетной красоты плодов земли?" — вскользь подумала она.

Базар был зрелищем и действом. И главными его персонажами были продавцы-зазывалы: отработанные, хриплые, нарочито грубые голоса звучали над толпой: "Leute, kommt!" Нечто вроде нашего: "Народ, налетай!". Они с невероятной быстротой жонглировали ножами, взвешивали, паковали, получали деньги; и все это делали не глядя, а опытные глаза уже выискивали в толпе, теснящейся вокруг них, очередного покупателя, и не стихающий ни на минуту крик уже относился непосредственно к нему. А люди, запрудившие все пространство среди лотков, киосков и вагончиков, тоже кричали, смеялись, азартно торговались, пробовали, заталкивали в сумки метровых копченых угрей и тушки птиц, головки сыров и пакеты с колбасами, грузили в машины овощи и фрукты в каких-то невероятных количествах. Ей нравились эти рослые светловолосые румяные, с тугими щеками потомки Тиля Уленшпигеля и Ламме Гудзака, тащившие с веселым озорством переполненные корзины, пакеты и ящики. Похоже было, что они поглотят все это, не задумываясь о диете, холестерине и всех прочих роковых последствиях. Хотя, может быть, если между радостным восприятием жизни и самой жизнью нет нестыковки, зазора, то ничто и не может повредить. Подуставшая за последние годы от своих

новых соотечественников с их подлинной в редких случаях респектабельностью и более или менее удачной ее имитацией, которая сводилась к подчеркнуто негромкому говору в общественных местах, святым часам отдыха между часом и тремя дня, когда даже неприлично звонить по телефону, запиранием входных дверей в семь часов вечера, она чувствовала, что отмякает душой, уходит ставшее привычным напряжение. Она понимала: это на минуту-другую, но все равно радостно впитывала ощущение раскованности, исходившее от людей вокруг нее. Конечно, их жизнь не была беспроблемной — просквозила самая банальная из всех банальных мыслей. Но, вероятно, они умели плотно закрыть за собой в пятницу вечером служебную дверь и не тащить домой весь свой груз усталости, сомнений, неудовлетворенности. Они не были похожи на людей, которые, лежа на диване в субботу, пережевывают неудачи прошедшей недели, вовлекая в обсуждение и всю семью. Казалось, что все вместе они создают положительное эмоциональное поле, к краю которого она тоже слегка прикоснулась.

Получаса ей хватило на то чтобы расслабиться и вновь собраться: "Хватит, это чужой праздник!". А потом они пробирались по узким улицам старого города, заставленными в этот последний апрельский день столиками бесчисленных кафе. Люди, сидящие за столиками, громко переговаривались через улицу, официанты, завернутые до пят в белые фартуки, скользили между столиками, здесь же бегали дети, поедая что-то бело-розовое, а те, которые еще не могли бегать, сидели в колясках, следя голубыми безмятежными глазами за низко летающими чайками, чьи резкие голоса заставляли вздрагивать дремлющих на страже у колясок собак. Это была субботняя жизнь — вся открытая напоказ для всех — свидетельство благополучия, демонстрация успехов, заявка на будущее.

И вдруг многолюдье осталось позади, и они очутились на маленькой площади, совершенно одни. Застроенная теснящимися старинными домами, окрашенными в темно-коричневый цвет, с проросшими причудливыми цветами решетками окон, с крошечным фонтанчиком посредине, площадь казалось вырванной из сегодняшнего дня. Один из домов, с золоченым шпилем, был ратушей, в других тоже размещались отделы муниципалитета. Но хрупкая красота их не связывалась в сознании с присутственным назначением. Казалось, что люди ушли отсюда, боясь разрушить очарование, а потом забыли и дорогу к площади, и она дремлет в ожидании их возвращения.

И вдруг нечто сюрреалистическое заставило Тину вскрикнуть от неожиданности и восторга: невдалеке улицу пересекало белое крыло па-

руса. Это было невозможно, непонятно, но это было: парус вынырнул из-за дома, обогнул его и скрылся за домом напротив. Через секунду они поняли, что идущая поперек улица была каналом, и все стало на свои места. Но они уже знали, что для них городок по имени Венло — это безлюдная площадь и медленно уходящий парусник.

* * *

За окном автобуса поля, поросшие яркой зеленью, чередовались с теплицами, грядками цветущих тюльпанов, ветряными мельницами, маленькими фермами. Уходящий назад пейзаж казался странно знакомым. Постепенно из глубины памяти всплыло: их сыну было лет семь или восемь, когда их настигло семейное увлечение. В те годы изредка появлялись в магазинах игрушек строительные наборы из Германии. Из крохотных деталей по рисунку можно было собрать домик, умиляющий своими подробностями. В нем было все: резные карнизы, занавески и горшочки с цветами на окнах, несколько ступенек, ведущих к входной двери, и даже кнопка звонка. Домик был, как правило, огорожен заборчиком, за которым можно было разместить сюда же прилагающиеся деревья, цветы и собачку, поднимающую лапку на кустик. Вскоре домики разных фасонов составили улицу; потом появился магазин, аптека и почта и, наконец, вокзал с пассажирским поездом из двух вагончиков с паровозом. Улица игрушечного городка долго стояла на полке в Тимкиной комнате, пока не надоела, утратив новизну, и была раздарена на детских именинах. Глядя сейчас сквозь стекло на проплывающие мимо городки, так напомнившие ей ту улицу на полке, она подумала, что тогда их посетило воспоминание о будущем, предвосхищение, о смысле которого они и не догадывались в то далекое время надежд и ожиданий.

И вдруг как взрыв: нежащая душу буколика сменилась ультрасовременной дорожной развязкой на разных уровнях и домами-кристаллами из тонированного стекла. И снова за окном каналы, мельницы и всадники на тропинках между полями возвращали ее в прошлое, где было спокойно и безопасно. И ей захотелось поделиться своим минутным покоем, душевным равновесием с Юркой. Она взяла его за руку, чего давно уже не делала, и рука оказалась неожиданно живой. Тина вспомнила свой ужас, когда впервые, прикоснувшись к его руке, не почувствовала ответного трепета, готовности сделать движение навстречу. Исчезло ощущение приподнятой напряженности, в которой они жили почти двадцать лет, так и не привыкнув до конца друг к другу, не выговорившись до опустошенности,

бережно сохраняя зерно индивидуальности, свою самость. Друзья с завистью посмеивались над ними: "Ну вы даете! Столько лет вместе, и все еще семья в процессе становления!". Осталось все или почти все: и любопытство друг к другу, и умение удивить неожиданным поворотом мысли — интеллектуальные игры домашнего масштаба, и теплота и нежность, но исчез накал чувств, который заставлял души вибрировать в едином порыве. Незаметно время и жизнь что-то истерли в них, хотя еще много лет тому назад они решили для себя не опускаться до обыденности, стараться быть выше мелочей, житейской рутины. Тогда, сделав беглый осмотр себя изнутри, Тина решила, и сейчас была уверена в своей правоте, что жертвой времени был Юрка. Она чувствовала, что может и дальше жить на том когда-то выбранном уровне, душа рвалась, летела, еще не растеряв, не утратив того, что было ей отпущено, но летела уже одна. И она, одинокая в своем порыве, жалела Юрку в его спокойной достаточности, не знавшего о своих утратах.

Еще до всего — до любви, до семьи, до решений — в розовом девичестве, как называла она совсем уже далекое время, с удовольствием используя иногда кокетливые, эвфемистические выражения позапрошлого века, придумала Тина для себя правила жизненной игры. Успех протяженного спектакля без антрактов, который каждому суждено сыграть лишь один раз, зависит, считала она, от уровня режиссуры, талантливости актера и полноты отдачи. И она играла честно — понимала, разделяла, соответствовала, всегда в тонусе, следя за собой, не обременяя своими сомнениями, стараясь, чтобы ее было столько в каждый момент, сколько необходимо, — и не больше. А все извне — чувства, признание — должно было прийти к ней само собой — награда, подарок за ее маленькие совершенства, иначе игра не доставляла удовольствия. Мужчина же, за которого нужно бороться, которого нужно завоевывать, исхитряясь, — это был чужой вариант, для нее не оправдывающий себя в эмоциональном плане. Такая борьба была ей скучна, вносила бы хаос в ее несколько беспорядочную внешне, а изнутри четко организованную жизнь — эту цену она не согласна была платить за то, что принято называть счастьем. И сейчас, живя рядом с чуть потускневшим Юркой, она не старалась вернуть что-то уходящее. То, что ушло, то ушло — просто исчез какой-то полутон в палитре чувств, жестче стала внутренняя схема, впереди уже замаячило одиночество вдвоем.

Но сейчас, она чувствовала, они были вместе, как прежде, и, сплетая свои пальцы с его пальцами, полувопросительно, полуудивленно сказала:

— Какое чудесное утро! Неужели мы с тобой едем в Амстердам? Что мы там хотим увидеть?

— Рембрандт... Ван Гог... Петр I... Золотой квартал...

— Достаточно! На узнавание этого можно потратить жизнь, а у нас всего один день!

— И сейчас ты мне скажешь, что сбывается еще одна твоя мечта, — Юрка забавлялся ее восторженной ненасытностью. — Успокой меня: у тебя еще есть в запасе несбывшееся? Иначе чем ты будешь жить? Что было в прошлый раз — Сакре-Кер?

— Нет, Сакре-Кер — это предпоследнее.

— А последнее? — смеялся он.

— "Венера и Амур" Веласкеса. Куда мы побежим прежде всего?

— Выбирай: Рембрандт, Амстель, Золотой квартал...

— И все за один день... Чертова зависимость, нет чтобы посидеть здесь две-три недели... Но все равно хорошо.

— Мы уже, радость моя, в цейтноте, и потому один день — это тоже немало.

— Ты прав, как всегда. Взглянуть вскользь, и дальше, нет времени прилипать душой. Но все равно хорошо! — повторила Тина.

И тут откуда-то сзади донеслось то, что она подсознательно все время боялась услышать.

— Ты давно из Москвы?

И разорвалось в клочья весеннее утро и ожидание праздника, а в голове пульсировало: давно из Москвы, из Киева, из Одессы... К этому вопросу, в конце концов, сводились все разговоры, отметая шелуху повседневности, и он, единственный, был наполнен жгучим, страстным интересом к тому, что где-то там далеко жило, страдало, умирало или — теплилась надежда — рождалось.

— Тина, не надо, не мучь себя, — донесся издалека голос Юрки. Но она была уже не здесь и не в этом времени.

* * *

— Мама, проснись! — у постели стоял Тимка, лицо его было растерянным, недоуменным.

Мгновенно сбросив остатки сна, она привстала: слово "мама" настораживало — обычно он называл ее по имени, а так — только в минуты неблагополучия. По тому, куда падали солнечные лучи, она поняла, что еще нет семи часов.

— Где Юра? — спросил Тимка. — На море?

— Да, да, на пляже. Что случилось?

— Иди к нам. Что-то там передают, ребята звонят, говорят, что нужно послушать какое-то сообщение по телевизору...

В комнате сына на кровати, опираясь на подушки, сидела его молоденькая жена — двадцатилетняя серьезная девочка с не всегда понятными Тине поворотами мысли.

На экране телевизора дикторша с наспех приглаженными волосами, без косметики, в домашней вязаной кофте, глядя несчастными глазами в камеру, выговаривала непослушными губами что-то о восстановлении ленинских норм жизни, о каком-то ГКЧП, который явится гарантом нормальной и достойной жизни народа. Мелькали знакомые и незнакомые лица, бесцветные, туповатые или с хитрецой, обещавшие не допустить, призывающие сплотиться, звучала уже несколько позабытая лексика эпохи развитого социализма. "Где Юрка? — затосковала Тина. — Ну почему его никогда нет в ту минуту, когда мне нужно облокотиться?"

— Раньше это называлось дворцовым переворотом, — сказала она.

— Но это же в Москве... — начал Тимка.

— Если пройдет в Москве, то пройдет и всюду... — и понимая, что сейчас сорвется на крик и плач, сказала:

— Ну, я пошла...

— Куда пошла?

— Куда я хожу в семь часов утра? В молочный магазин.

Тина одевалась и чувствовала, как холодное бешенство овладевает ею: неужели им и их детям предстоит пережить кошмар возвращения к тому маразму, который съел их лучшие годы, как сжевал, извел на ничто жизни их родителей, а вместе с ними и бессчетное множество других — кого-то физически и всех нравственно?

Когда для нее началось, так сказать, "новое время"? Умер старик, и с ним — целая эпоха, промелькнули две эпизодические личности, не успевшие по слабости сил и дефициту отпущенного времени развернуться с блеском, а следующий — ну просто пятидесятилетний юноша на фоне правящего антиквариата — стал строить что-то с человеческим лицом, заставляя задаться недоуменным вопросом: "А с каким же лицом были власть и власть предержащие до его пришествия?".

Поначалу все эти разговоры оставляли ее равнодушной. Но однажды, когда она пробегала мимо телевизора, который уже давно взяла за правило не слышать, фраза: "И вот сегодня настала пора брать в свои руки вок-

зал, банк и телеграф", — заставила ее остановиться и сосредоточиться. Лысый мужик с узкими раскосыми глазами на простецком умном лице с веселым напором говорил, что пришла пора отдать, наконец, в руки народа землю, обещанную еще семьдесят лет тому назад, о свободе выбора, о кризисе системы — он говорил о том, что уже много лет было для них очевидным и бессчетное множество раз повторено с друзьями за чашкой чая или двумя бутылками "алиготе". Ах, как здорово тогда говорилось!

— Кто это? — спросила Тина.

— Чередниченко, экономист... — Юрка был полностью поглощен услышанным.

И она поняла, что действительно что-то происходит, если лживый, напыщенный официоз должен был потесниться. И сразу, неожиданно для себя самой, наверное, потому, что много лет уже ожидалось, отбросив сомнения, поверила в возможность перемен, в то, что горькая и красивая фраза: "На жизнь свобода опоздала", — это не о них, что они еще успеют, пусть на излете, но успеют. А что, собственно, им, взрослевшим в шестидесятые, нужно? Они были "детьми слова" — книги. Статья в газете, фильм, спектакль были для них событием. Они верили в значимость произнесенного слова, в то, что оно будет услышано и понято, хотя бы некоторыми, — и этого уже достаточно.

Для Тины это означало возможность рассказать на лекциях о том, о чем раньше приходилось говорить лишь намеками, между строк, опасаясь не столько за себя, сколько за ребят, ее слушавших. Ведь любая свежая фраза на экзамене, в курсовой, расходящаяся с дубовой схемой учебника, не менявшегося более сорока лет, вела к провалу: вариантов не было — работа признавалась "идеологически не выдержанной". И там, где должна была пробовать себя молодая мысль, избегающая избитых тропинок, бродили по скучным страницам "лишние люди", "лучи света" и прочие ярлыки, выдуманные недоучившимися чахоточными семинаристами, замученными нищетой, комплексами и предопределенностью раннего конца.

Как любили наши идеологи называть литературу "учебником жизни"! И если следовать логике этого высказывания, можно было и в жизни научиться выделять "лишних людей". И выделяли, и не раз, — так уничтожалась самая суть литературы — гуманность, то есть человечность по-русски, стоящая над схваткой. Хотя и ее старались использовать на потребу, выдумав "социалистический гуманизм", который должен был как-то качественно отличаться от гуманизма вообще.

Ряд поколений "самой читающей нации в мире" не читал, не впитывал литературу, не жил в ней и с ней — ее "проходили". У Тины это слово вызывало стойкие ассоциации: по живому, изменчивому, нежному проходят, топчут грязными башмаками. И это живое деревенеет, теряя краски, прелесть, становясь уже не искусством, а лишь орудием.

Тина спешила рассказать, что литература — это не скучная шеренга дышащих в затылок друг другу людей, озабоченных единственной задачей — указать дорогу к светлому будущему. Ей хотелось успеть рассказать, что литература — это огромный мир, построенный талантом и воображением людей, осмелившихся заглянуть в глубину своего "я", увидеть его неповторимость и рискнувших сделать эту необычность достоянием всех. Они были разные: созидатели и разрушители, мечтатели и отчаявшиеся, благополучные и несчастные, прогрессисты и ретрограды, но только все вместе они смогли построить удивительный мир, который в чем-то был прекраснее и сложнее жизни, в чем-то хуже и проще, а иногда и заменял реальность, а если бы только отражал, то не стоило бы и писать.

В этом мире были огромные здания с пышными фасадами, уединенные замки и маленькие домики на окраине. Но величие и прелесть этой несуществующей реальности была в том, что каждый мог найти в ней дом своей души, а с помощью его в минуты одиночества — и родственные души. Всем известная фраза могла звучать и так: "Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты".

Она все спешила, как будто чувствуя, что времени в обрез, обрушить на студентов новые имена: одни — забытые, другие — сознательно сокрытые, третьи — не понятые и оставшиеся в стороне, спорные теории, нетрадиционные толкования. "Пусть, пусть, — думала она, — сейчас не поймут и не примут, но потом вдруг что-то со временем всплывет, откликнется... Как там оно называется — преемственность поколений? И почему относиться с иронией к этой самой преемственности? Зачем лукавить с самой собой? Ведь хочется остаться в памяти своих учеников мыслящим, интересным человеком, а не серым бесформенным пятном".

Какое-то время Тина была счастлива. Она уходила после лекций радостно-опустошенной, выложившейся до конца, ответив на множество вопросов, подчас не имеющих никакого отношения к теме лекции. Она была уверена, что завтра найдет свежие слова, интересные факты, а ответом будут небезразличные лица ребят. А потом пришла и маленькая слава: время от времени стали появляться студенты с других факультетов. Всегда почему-то смущаясь, они тихими голосами спрашивали разреше-

ния послушать лекцию. Тина немного гордилась собой, но по-настоящему счастлива была оттого, что то самое доброе, вечное начало литературы, несчетное количество раз опошленное, замордованное на потребу дня, все же осталось и добрым, и вечным, и к нему потянулись ищущие ответа.

Три года пролетели незаметно, на подъеме.

А затем что-то в жизни стало меняться, незаметно сместились акценты, но она опоздала почувствовать эти изменения. Просто, придя после каникул на лекцию, она увидела другую аудиторию: исчезли шумные ироничные мальчики, начитанные, имеющие свои литературные вкусы и пристрастия, втайне видящие себя в литературе, готовые превратить каждое занятие в заседание дискуссионного клуба. Именно они, неровно занимающиеся, со своими студенческими взлетами и падениями, определяли лицо курса. Тина увидела перед собой девочек, воспитанных, ухоженных, с вежливо-невозмутимыми лицами, будущих жен преуспевающих людей. Она сразу ощутила по их рассеянному равнодушию, что основная жизнь их проходит в каких-то иных сферах, а здесь они по добровольно взятой обязанности, необходимости, и не более.

Своих мальчиков-собеседников она встречала в деканате и в учебной части, где они оформляли перевод на заочное отделение или академические отпуска. Они стали другими: исчезла непосредственность, открытость, в глазах поселилась настороженность. На свои недоуменные вопросы она получала однозначный ответ: сейчас нужно выжить, родители помочь не могут — сами отброшены к примитивному копанию на садовых участках и нуждаются в поддержке. У мальчиков не было вариантов. Забросив учебники, они сбивались в ватаги и кочевали с узлами и баулами по базарам Польши и Турции. Платили пограничникам и таможенникам, отбивались от рекетиров, привозили домой гроши, на которые могли продержаться некоторое время. Затем горизонты расширились — Арабские Эмираты, Китай. Но суть оставалась та же — грязные заброшенные гостиницы, базары, ежечасная опасность. Тина ощущала, что ее сетования: "Ах, вы так хорошо знали, чувствовали "серебряный век" русской литературы" или "литературу третьей волны", — звучат просто детским лепетом рядом с их свежеприобретенным опытом. Ребята спохватывались, прекращали живописать свои приключения и, жалея ее, обещали, вряд ли серьезно относясь к своим словам, обязательно со временем вернуться в университет, к "серебряному веку", обязательно быть, состояться, как и было задумано еще давно — на границе детства и юности. Но она, уже охваченная жалостью к ним, знала, что это поколение по-

теряно для литературы, науки, как потеряны и ее последние годы, отданные им, годы, которые она считала самыми счастливыми. Мальчики были похожи на молодых гончих псов, охваченных азартом погони за крупной добычей. Разве смогут они вернуться к стопам и клаузулам или прослеживать некие литературные реминисценции? Парадоксально, но утонченные литературные изыски остались в той эпохе, которую одни называют "безвременьем", другие — "застоем". Оказалось, что некая разрешенная свобода телодвижений вовсе не предусматривает полет свободного духа, а наоборот — отягощает приземленностью своих реалий. Какая уж здесь преемственность? Впереди был тупик... Вероятно, кто-то потом начнет заново, или точнее, если можно так сказать, продолжит сначала, но к ней это не будет уже иметь никакого отношения.

А сейчас, охваченная бешенством, она сбегала по лестнице: "Непостижимо, — думала она, — переворот, как в Уругвае или Верхней Вольте. А где же органы государственной безопасности? В былые годы бодрствовали. Не выпускали из поля зрения не только всякого инакомыслящего, но и каждого слегка мыслящего, который, близоруко щурясь, шуршал из своей норки в сослагательном наклонении: "Хорошо было бы, если бы...". Но и ему не давали спокойно сидеть у телевизора и возмущенно всплескивать ручками и радоваться сознанием, что не со всем, ох, отнюдь не со всем он готов согласиться, не оставляли ему возможности где-то там, в будущем, почти с основанием сказать, что и он в прошлом был не чужд чему-то, отстаивал что-то, то есть "Был" — с большой буквы. Нет, не давали сидеть, а таскали по коридорам и кабинетам, допрашивали, обвиняли в том, что не то читал, говорил не то, встречался не с тем. И доводили последовательно, не оставляя своим вниманием ни на миг, в сущности, совершенно безвредного для власти человека до самоубийства, психиатрической больницы, лагеря или, в лучшем варианте, до эмиграции. И хватало сил и людей дойти до каждого, не пропустить, не забыть. А здесь в упор не увидели перемещения войск, захвата средств связи, телевидения, создания нового правительства. Кого и от кого охраняем?".

И в каком-то мгновенном и окончательном прозрении она вдруг поняла, что все происходящее в последние пять лет — это грандиозный обман, в который втянуты все. Там, наверху, идет небывалый дележ: цепным псам отбрасываются кровавые куски, шакалы сами урывают по кусочкам, а им, всем остальным, беззубым, которым несть числа, в который раз подброшены ворохи пустых слов, и они снова — в который раз — поверили, встрепенулись духом... и оказались обманутыми.

* * *

Очередь тянулась от дверей молочного магазина до третьего от входа дерева. "Стоять пятьдесят минут, — мгновенно оценила ситуацию Тина, — да и то, в удачном варианте: если не будет длинных разборок, кто за кем стоит и не слишком ли разбавлена молоком сметана". Она прошла вдоль очереди, вглядываясь в знакомые лица женщин, с которыми встречалась здесь, в очереди, два-три раза в неделю. Лица тех, кто постарше, были покорно-терпеливыми либо злобно-въедливыми; ее ровесницы, замотанные жизнью, бесконечными хлопотами, скудостью возможностей, с недоуменным вопросом в глазах: почему все так утомительно, скучно и безрадостно? В очереди обычно говорили о пьющих мужьях, о сыновьях в тюрьме, о тесных квартирах и протекающих потолках и подробно, очень подробно — о болезнях. Были здесь и молоденькие мамы, еще не успевшие поверить в то, что праздник окончился и начались будни на всю жизнь. Они обычно молчали, еще думая, что у них все будет иначе — и с мужьями, и с детьми, и со здоровьем.

Тина всегда ждала: расскажет ли кто-нибудь о чем-то радостном, хорошем, ведь было, обязательно было в их жизни и свое маленькое счастье, пусть и на миг. Но об этом молчали, все радостное жадно хранили в себе, пряча от завистливого глаза. Оно — счастье или воспоминание о нем — принадлежало только им; оно, быть может, и помогало мириться с безысходностью жизни. А горе свое выплескивали на всех, находя утешение в схожести судеб.

Сегодня очередь была непривычно молчалива, сосредоточенно оценивала новости. И только шепот-шелест за спиной у Тины: "Нет... не может быть... ужас... опять...". Тина оглянулась: за ней стояла женщина, в ее ничего не видящем, обращенном внутрь взгляде плескался страх, недоумение и детская обида. "Еще одна идеалистка-идиотка", — с категоричностью получасового прозрения подумала Тина. Она оглядела женщину: платье из сжатого индийского ситца, ожерелье из распиленных персиковых косточек, сандалии без каблуков — все приглушенных коричневатых тонов. Интеллигентский прикид с легким оттенком богемы — научный сотрудник музея или библиотеки, технический сотрудник редакции: вечера в литературном музее, абонементные концерты в филармонии; дома — девятнадцатилетняя дочь и старенькая мама; в душе гражданственное горение, надежда и трепетная, до боли, любовь к родным. Может быть, все совсем и не так, но какое это имеет значение? — судьба советской женщины смотрела на Тину страдающими глазами.

И тут наконец прозвучало то, главное, ради чего очередь сегодня и собралась. Старуха со зло поджатыми губами, в белой, туго накрахмаленной косынке, углы которой воинственно торчали в стороны, с мстительной радостью начала говорить, и в голосе ее была уверенность, что ее поймут и поддержат:

— Слава Богу, опять порядок будет. Как их зовут... кооперативы, закроют, спекулянтов посадят...

— Пора, — подхватил старик-ветеран с орденскими колодками на заношенном пиджаке. — Что наша пенсия? Теперь на молоко не хватает, а они, гады, квартиры покупают...

— А где то молоко? — откликнулся кто-то. — Из-за них, ворюг, в очереди стоим по два часа... Все гребут под себя, вон они — на машинах мимо, а мы здесь стоим.

Очередь гудела в уверенности: посадят, изведут, — извечная надежда нищих — отобрать и зажить лучше. Женщина, стоявшая позади Тины, шептала:

— Что они говорят? Неужели совсем не понимают?

И вдруг закричала плохим голосом, истерично, с надрывом:

— Рабы! Вам нужна только палка! Вы никогда не поднимете головы!..

Очередь потеряла свою форму и начала окружать женщину и Тину, которая так и продолжала стоять на своем месте рядом с женщиной.

— Паскуда... Тоже из этих ворюг... Мы всю жизнь работали, а она нам говорит...

— Жидовка, уезжай отсюда и там командуй... — звучало вокруг.

Круг сужался, люди приблизились почти вплотную, и Тина поняла, что еще один шаг — и кто-нибудь протянет руку. "Народ, кажется, уже выбрал жертву. Ох, глупая", — подумала Тина о женщине. И уверенная, что ее, Тину, знает хотя бы в лицо, каждый человек в очереди, она поднапрягла голос и, перекрывая крики, заговорила на понятном им языке, пытаясь отвлечь внимание толпы на себя:

— Что-то, бабоньки, я вас не понимаю. Двадцать лет вместе с вами стою здесь, в очереди, а не заметила, что много счастья вам коммунисты дали. Работали всю жизнь, а что вы имели? Концы с концами не сводили? Не эти, так те мимо вас на машинах. А вы все так же стояли...

— Кто это? — послышалось в толпе.

— Та учительница, из университета...

— Дочка Лукича...

— Эх, правду говорит, а мы на бедную бабу окрысились...

Напряжение спало, очередь снова обрела форму, а тут и молоко подвезли.

"Девять лет тебя уже нет, папа, а я все еще дочка Лукича", — подумала Тина и посмотрела вдоль квартала, с трудом сдерживая слезы. Вспомнила, как лет восьми-десяти она любила стоять на балконе, вот этом, который и сейчас над ней, и смотрела так же вдоль квартала, ожидала, когда появится фигура отца. Она узнавала его издалека: морская форма — черная с белым, высокая фуражка с золотыми ветками и крабом. Она сбегала с лестницы и мчалась навстречу — это был ритуал: сбежать как можно быстрее, чтобы встретить подальше от дома. Он, подыгрывая ей, шел по их кварталу медленно. А когда подбегала, то отец уже частенько беседовал с одной из этих, тогда еще молодых женщин, о том, куда пристроить ее Витьку или Вовку. Расспрашивал, как учится, чем увлекается. "Зайдите вечером, Михайловна, — говорил, — подумаем вместе".

Тина шла ко входу в парадное. Корзина, полная бутылок и баночек, оттягивала руку.

— Спасибо, — раздалось сзади, и Тина остановилась, — вы, вероятно, меня спасли. — Я вела себя, как дура. А потом так испугалась, что не могла уже ни слова сказать. Как страшна толпа, я никогда раньше об этом не думала. Если бы не вы...

— Пустое, — сказала Тина, все они злы от своей несчастливости, обделенности, что ли. И глядя в лицо женщины, спросила напрямик: — А почему вы не уезжаете?

Женщина помолчала, глядя поверх головы Тины, и сказала тихо, отрешенно:

— Некуда. Понимаете ли, я — русская...

* * *

Дома все были на ногах. Работали телевизор и два радиоприемника. Юра и Тимка пытались одновременно слушать "Голос Америки", "Би-би-си" и смотреть первую программу. Юра растерянно повторял:

— Тина, ты слышишь, что происходит? Я всегда этого боялся, все вернется опять... Тина!

— Да, да, — отмахнулась она, потому что в голове мелькала и никак не могла сложиться какая-то очень нужная мысль.

Телевизор вещал о том, что все новые и новые регионы страны выражают поддержку законному правительству; "голоса" старались определить, какие реальные силы стоят за вдруг всплывшими никчемными фигурами.

Без перерыва звучали телефонные звонки: звонили все — родственники, друзья, просто знакомые и даже весьма отдаленные тоже. Страх, растерянность, непонимание и явное желание — ох, чудесное советское словечко — сплотиться.

"Не хочу, не хочу", — твердила про себя Тина, хотя даже для себя не могла уяснить, чего же она не хочет.

Наспех позавтракали и опять приникли к радио и телевизору, а Тина вдруг поняла, что не может оставаться дома. Внутреннюю напряженность нужно было снять движением, действием. Она быстро собралась, отмахнулась от вопросов, куда и зачем, и вышла на улицу. И тут же задала себе те же вопросы.

Куда — она решила быстро и зашла в парикмахерскую. Она была необычно пуста. Здесь ее тоже все знали.

— Что это вы не в свой день? — спросила Симочка, к которой она — не помнит уже сколько лет — ходила стричься, причесываться и, как говорится, приводить себя в порядок.

— Да так, под настроение.

— Хотите быть красивой? — начала профессионально игриво Симочка и ту же осеклась. — Что теперь будет? Мы коллективно приватизировали парикмахерскую...

Тина неопределенно пожала плечами. "Что теперь будет?" — дельный вопрос. Из парикмахерской она вышла с новой прической и с "лицом". Ей всегда казалось, что за парадным фасадом легче скрывать свои мысли, смятение. "Это мое, — повторяла она про себя, — мое, никому нет дела, никому... даже самым..." — додумывать до конца не хотелось.

Она шла не спеша по Пушкинской, над которой смыкались кроны полуторавековых платанов. В ясный августовский день уже скользнула прохладная осенняя струйка. В день или в ее душу? Гнев, обида, недоумение — все ушло, сменилось прозрачной пустотой, отрешенностью. Она всматривалась в старинные знакомые дома, в сохранившиеся завитушки и обсыпающуюся лепнину с остротой первого узнавания, которая сопоставима разве что с пристальностью последнего взгляда.

Тина вышла к бульвару. У археологического музея постояла на яркожелтом кусочке мостовой, выложенном удивительно гладкими, отполированными плитками. Рассказывали, что еще в начале века какая-то итальянская фирма предложила вымостить улицы Одессы этими плитками; шли переговоры. Но вскоре началась первая мировая война, и стало не до них. А этот образец остался до сих пор, без изъянов, не тронутый временем, как будто положенный вчера.

Бульвар был пуст и тих; она села на скамейку и скользнула взглядом вдоль — по фасаду ведомственной поликлиники пароходства, где много лет работала мать, по фасаду гостиницы "Лондонская", которую в городе так и не привыкли называть "Одесса", по узорчатым балконам, говорят, повторяющими парижские... Может быть, может быть...

А память вдруг рванулась почти на тридцать лет назад и наполнила бульвар тоненькими фигурками девочек с узкими талиями, в юбках из клетчатой тафты, под которые надевались нижние юбки с оборками, — чтобы казаться еще более хрупкими. На бульваре встречались, знакомились, проводили время... На фоне бульвара протекла, улетела, растворилась и ее первая любовь. Не было, не просматривалось общее будущее у нее, изнеженной девочки-десятиклассницы, и матроса-радиста. Не было будущего, но было сегодня, была любовь. Они расставались на этом бульваре, давая слово больше не встречаться, и через два дня, не выдержав, снова прибегали на бульвар в надежде встретиться. И так тянулось два года, пока он не разрубил этот узел и не уехал, не предупредив, в Мурманск. И она отчетливо, как будто не было этих долгих лет, вспомнила темно-синие глаза, выгоревшие добела волосы, нездешний тропический загар и то необычное в лице, что Александр Грин называл "острота бегущей волны".

* * *

Призрачный, отраженный в водах канала Амстердам дрожал, змеился, потревоженный катером, менял свои очертания. А выше сквозь еще прозрачную молодую светло-зеленую листву были видны узкие, в два-три окна, дома с высокими фронтонами. Мимо проплывали стиснутая домами, рвущаяся ввысь Вестккерк — Западная церковь, где, как принято считать, покоится Рембрандт, дом Анны Франк, плавучие жилища на воде, Оуде Керк — Старая церковь, в ней похоронена Саския. "Почему они — Рембрандт и Саския — не вместе?" — пожалела их, разделенных в смерти, Тина. Через столетия смотрят с полотна подвыпивший гуляка с рыжеволосой пышнотелой красоткой на коленях, еще не ведающие о мимолетности радостного мгновения и о том, что им на века суждено стать символом счастливого супружества.

Но эти мысли мелькали где-то в глубине сознания; Тина не слышала уже голос гида, повествующего о достопримечательностях Амстердама. Что-то саднило в душе, мешая раствориться в теплом дне, слиться с пестрой толпой, ощутить прелесть так долго ожидаемого мига. Вот, вот оно —

то, что сказал гид вначале: "Добро пожаловать в самый веселый, самый свободный город Европы...".

"Свобода" — без этого слова не обходились там ни одни посиделки. Рефреном звучало: "Если бы мы жили в "свободном мире...". Уже живем. И что же? Жизнь разбросала друзей по разным континентам "свободного мира". А теперь страшно и подумать, не то что спросить: "Чувствуете себя, дорогие, свободными?". Новая кожа еще такая тонкая и нарастает так медленно, а под ней все еще пульсирует: свобода ли, свобода ли?.. Наверное, надо было еще давно договориться о том, что понимать под этим словом. Свобода реализации? Не тут-то было. Давно уже стала заезженной фраза: "Германия — не страна для эмиграции". Частокол местных привычек, предвзятых представлений и амбиций не оставлял тебе ни малейшей щелочки. Свобода на совершение ошибок? Ее у тебя никто и никогда не отнимал. Свобода духа? Вот тут посложнее. Говорят, она может быть и у человека в кандалах, и на эшафоте. Но с ней нужно уже родиться.

Когда-то Тину потрясла, перевернула одна фраза из исторического романа армянского писателя Церенца. Название романа и его содержание ускользнули из памяти, осталась только эта фраза: "Сильные жаждут власти, слабые — свободы". Люди ее круга к власти никогда не стремились, были убежденными аутсайдерами. Значит, были слабыми? А остальное — слова, которые, в конечном счете, и привели их сюда.

А экскурсия шла своим чередом. Побывали в Музее мадам Тюссо, постояли в Бегийнхофе — тихом приюте для старых одиноких бедных женщин. Тина оглядела круглый двор со сквером посредине, прелестные светлые дома с высокими окнами и будто физически ощутила неотвратимость бегущего времени, и над двором прошелестело щемящее: все в прошлом. Хотя, подумалось, есть своя грустная радость в этой тихой жизни, когда не нужно уже принимать решений, ждать ответов, спорить с самой собой, а просто, сидя у окна в кресле с прямой спинкой, вязать бесконечный шарф.

А улицы пестрели флагами, плакатами, все более наполнялись людьми. А гид объяснил, что сегодня — день рождения королевы-матери Юлианы. Этот день любимой старой королевы традиционно празднуют все голландцы.

В зале Португальской синагоги, где гид рассказывал о путях миграции евреев — Марокко — Испания — Португалия — Нидерланды, Юрка задумчиво произнес:

— А знаешь, евреи в каком-то там пятнадцатом, шестнадцатом веке чувствовали себя здесь свободными.

И Тина в который раз поразилась тому, как часто их мысли текут параллельно.

— Посмотри, какие высокие потолки, какое пространство...

— И что же? — не улавливала ход его рассуждений Тина.

— Понимаешь ли, приниженные люди строят всегда что-то приземистое, неуклюжее. А здесь они жили, работали, наверняка ощущали себя равными. Иначе не строили бы такой храм...

"А Юрка прав, — подумала Тина. — Работали... А что здесь делаем мы, те, которым не тридцать, и даже уже не сорок?" Тина вспомнила свои похождения на ниве преподавания русского языка. Время от времени звонил владелец частной школы по изучению языков для взрослых. И Тина знакомилась с очередным учеником, который бодро объяснял, что хочет — так как предстоит поездка в Россию с коммерческими или туристическими целями — "взять" русский язык за восемнадцать часов, иногда называлась цифра сорок восемь часов. Самый усердный решил уделить освоению "великого и могучего" семьдесят два часа. Приходилось изобретать краткий целевой курс и попутно отвечать на поразительные вопросы: есть ли в России общественный транспорт, пьют ли там что-нибудь кроме водки, и можно ли летом снять пальто или круглый год стоит мороз? Но работа выпадала редко, а чаще приходилось выдумывать, создавать себе занятия, искусственно наполняя жизнь содержанием и смыслом. Концерты, литературные встречи, лекции, экскурсии, представления — здесь смешивалось все: желание поделиться своими знаниями, душой и страх, уничтожающая боязнь потерять себя, исчезнуть духовно, утратить последнее прибежище. Отсюда и суета, и работа локотками, и нетребовательность, и подчас печальная мизерность происходящего. Как говорила одна Тинина приятельница: "Эх, если бы столько усилий мы прилагали там, то давно бы стали "новыми евреями".

Экскурсия проходила мимо Тины. Она снова очнулась и оказалась со всеми уже в музее Ван Гога, когда кто-то теребил ее и говорил:

— Как жаль, что он сошел с ума...

— Высокое, гениальное безумие, — сказала Тина жестко. — Если бы не оно, он навсегда бы остался автором "Едоков картофеля".

— Ты действительно так думаешь? — тихо спросил Юрка.

— Конечно. Посмотри, чем глубже овладевало им безумие, тем раскованнее становилась форма, более смелым, парадоксальным сочетание красок...

Автобус ждал их у выхода из музея. Издалека доносились шум и музыка, а толпа веселых людей двигалась в сторону Старого города. Но они вместе со всеми направились к автобусу.

— Подожди, — неожиданно придержала его за рукав Тина. — Давай останемся...

— Где?

— Здесь... — неопределенно развела руками она.

— Как останемся? Что ты говоришь?

— До утра... Не хочу как все, как всегда. Одно и то же слышим, видим... Жвачка! Мы же с тобой можем увидеть свое, иначе, совсем другое, — сбивчиво говорила Тина. — Пойдем, предупредим, — и уже тянула его к автобусу.

— Ну, как мы сами... Ты создаешь сложности... — начал было Юрка, но посмотрел на Тину и осекся. — Ладно... Мы остаемся здесь, не ждите нас, — сказал он гиду.

И отметая прощальным взмахом руки недоуменные возгласы и ненужные уговоры, они побежали к мостику через канал. И только смешавшись с толпой, перестали чувствовать за спиной давление возмущенных и укоряющих взглядов.

По мере приближения к Старому городу толпа становилась все плотней, движение замедлилось, а потом и вовсе приостановилось. Взявшись за руки, Тина и Юрка пробирались сквозь толпу, сквозь оглушительный шум. Люди ели, пили, кричали, смеялись, беззлобно обменивались шутками. Все казались знакомыми, одной семьей, собравшейся на праздник на своем дворе. Завтра они, наверное, и не вспомнят лиц тех, с которыми рядом пили, но сегодня открытые двери кафе, ресторанов и дискотек, ритмы музыки, вспышки рекламы создавали ощущение шального веселья.

Они прошли улицами Старого города, которые выглядели совсем иными — не такими, как днем. Люди вокруг, изображая изумление, удивленными смешными жестами спрашивали у них, почему они не пьют, как все, и зазывно махали руками, приглашая присоединиться к их компании. Потом они вышли на Дамрак, но снова свернули в узкие старинные улочки, петляя без цели. Из темноты выплывали странные фигуры: ласкающие друг друга девушки, молодые мужчины в ярких женских платьях, длинных завитых париках, с макияжем на лицах. Тина ошарашено уставилась на одного — высокого, тонкого, в облегающем оранжевом платье, слишком легком для прохладного вечера, и туфлях на высоких каблуках. Красивый, изящный, с волной черных волос по плечам, он был похож на экзотический цветок. А он, зная свою привлекательность и явно наслаждаясь произведенным впечатлением, дружелюбно подмигнул Тине. Юрка развеселился и спросил:

— Ты хотела увидеть Амстердам с этой стороны? А как чувствует себя твое пуританское воспитание?

— И с этой... Воспитание бунтует, но любопытство пока что загоняет его вглубь. Но я чувствую себя динозавром...

— Кем?

— Динозавром... Ты заметил, что на улицах все моложе нас?

В одном из темных переулков, куда выходили задние двери домов, они вдохнули пряный дымок. Здесь было тихо, на крышках, прикрывающих подвалы, смутно вырисовывались силуэты в расслабленных позах. Ленивым взмахом руки кое-кто из них предлагал прилечь рядом и покурить.

— И эти готовы поделиться своей радостью, — сказал Юрка.

Ночь шла на убыль. Они снова вышли на Дамрак и по мостику перешли на другую сторону канала, и неожиданного очутились в квартале "красных фонарей". Тускло освещенная улочка скрывала в своей тени фигуры мужчин, медленно бредущих мимо окон-витрин. Тина, конечно, знала, где-то читала об этом знаменитом квартале Амстердама. Но ничем не прикрытая обыденность и разрешенность исключала всякую мысль об увлекательном приключении. Почти во всех окнах сидели и стояли более или менее темнокожие женщины — из Африки и Азии, низкорослые, многие тучные и уже немолодые. Кое-где мелькали миловидные личики девушек то ли из Вьетнама, то ли из Бирмы.

"Наверное, я ханжа, — подумала Тина, — но мне кажется сомнительным удовольствие, которое здесь можно получить. Я чего-то не понимаю". И тут же по привычке немедленно поделилась своей мыслью с Юркой.

— Тебе и не полагается понимать, — как-то покровительственно сказал Юрка. — Но это развлечение определенно не для нас. Пошли...

— Да, я устала. Давай где-нибудь посидим...

На выходе из квартала они увидели кучку мужчин, которые рассматривали девушку в угловом окне.

Высокая, с безупречной фигурой и гривой светлых волос, она стояла в окне, расставив ноги и держась поднятыми широко разведенными руками за что-то, расположенное выше рамы. Фигура и поза сложились в совершенную по форме букву "Х". Она смотрела поверх голов спокойно, презрительно, скорее не предлагая себя, а демонстрируя. Кто-то из мужчин пробормотал: "Наташа...".

— Черт возьми! — почти кричала Тина. — Такая девушка могла быть моделью, натурщицей, звездой шоу, наконец, чьей-то подругой... Что мог-

ло бросить такую красоту в амстердамский бордель? Посмотри, у них даже не хватает смелости ее купить...

— Жизнь... — грустно сказал Юрка и обнял Тину за плечи. — Идем...

На набережной Амстеля они сели на скамью. Было холодно, тихо и одиноко. В белесом свете раннего утра проступали контуры зданий. Их монументальный строй терялся вдали. Набережная так очевидно была похожа на петербургскую, но почему-то не было радости узнавания.

Издалека донесся звук торопливых шагов. Мимо них, зябко поеживаясь от холода, быстро прошли двое молодых людей. Один из них беззаботно говорил по-русски:

— Когда я приехал в Амстердам, у меня было семь долларов в кармане...

— И как ты выкрутился?

— Как видишь, выкрутился, живу уже полгода...

Не сговариваясь, Тина и Юрка поднялись и пошли к вокзалу. Улицы были безлюдны, чисто вымыты, и ничто уже не напоминало о ночи разгула и вседозволенности.

Когда они вышли на привокзальную площадь, Тина тихо спросила:

— Мы уедем домой?..

Вот оно, то, чего он боялся все эти годы — Юрка заметался в поисках несуществующего ответа, еще надеясь спасти Тину и себя, но сумел лишь деланно неторопливо, буднично проговорить:

— Скоро, потерпи немного, поезда в сторону Дюссельдорфа и Кельна идут, наверняка, каждые два часа.

Тина взяла его за руки и с силой развернула лицом к себе:

— Ты понимаешь, о чем я... Мы уедем домой?

Глядя в ее глаза, ждущие и страдающие, он отбросил все сомнения и, не веря в свои слова, но стараясь удержать ее рядом, здесь, навсегда, на час, еще на минуту, сказал:

— Да, любимая, конечно, мы только переведем дыхание...

Раф АЙЗЕНШТАДТ

"Revisor"

Легкость в мыслях опять была необыкновенная, в ушах звенело, по телу то и дело перекатывались тревожные мурашки. Это его одновременно и пугало, и радовало. Хорошо, конечно, что опять все ему было подвластно, а куда это его могло завести, он хорошо знал. Но камень уже катился с горы, и его было не остановить.

"Ну что, брат Пушкин?" — сказал он себе и приободрился. Тут, как всегда, надо было держать ухо востро, пока другие не захватили главные стратегические высоты. Не то замешкаешься и проходишь до конца дня в каких-то Карамзиных. И так каждый день. И держали евреи оборону от посягательств на их великих классиков, и не давали их никому в обиду. Только один раз случился у них прокол с "нашим всем" — прорвали немцы глухую оборону и прилепили к водке столь дорогое имя.

Было ровно 7 часов 30 минут. Еще бы пять минут — и ходить ему сегодня в Достоевских, а там по убывающей — Толстой, Чехов... Вчера же ему достался только Есенин, так как проснулся он в одиннадцать после гульбы накануне. Сегодня он успел.

"Неплохо", — возликовал Иосиф. Все в нем играло и пенилось. Как же — летящий профиль, нежные завитки смоляных волос, бурный норов и вулканические страсти. Напевая, ринулся он к зеркалу и помрачнел. Там опять отражался этот старый мудак с голубыми глазами и с корявыми завитками жестких седых еврейских волос.

"Ну, нет... — перечеркнул он мысленно увиденное. — Ничего, ничего... Все вы там высокие, модные... Посмотрели бы вы, что у меня внутри творится".

И чтобы лишний раз удостовериться, он заглянул. Там, в высоком храме искусства с коринфскими колоннами, уходящими ввысь, царил высокий штиль. Он увидел себя в белоснежной тоге, в сандалиях с крылышками, пересекающего столбы света.

— Куда в такую рань? — раздался трубный глас. Он стукнулся о колонну и выпал в переднюю. Там опять была "она" и ничего иного.

— Да, так... — уклончиво ответствовал Иосиф и начал собираться.

Собственно, идти-то ему было совершенно некуда, но тут все было за последние тридцать лет отработано до мелочей, и он знал, что задержись чуть дольше — конфликта не миновать.

— Опять эти джинсы, эта куртка... — привычно "пела" жена. Почему не надеть пальто, туфли, а не кеды?

— Утром, за хлебом? — взвился он.

— Я не позволяю себе распускаться, — дожимала она. — Чем ты отличаешься от негров на нашем квартале?

"Вот, вот... Недалека от истины", — подумал Иосиф, так как летящий профиль первого поэта уже опять звал к чему-то великому и прекрасному. Теперь надо было не растерять это ощущение, прорваться любой ценой.

Надевая это постылое длинное пальто, меняя кеды на туфли, он пропускал мимо ушей призывы к уборке, к мытью окон и Teppich'a, к размену квартиры и континента. Тут дело решали секунды, и он со словами: "О ужас, то была Наина", — выскочил из квартиры.

Уже на улице Иосиф отряхнулся и, мысленно поигрывая тростью, пофланировал к перекрестку. "Наши" уже были в городе. Одни с напряженными лицами перебегали на красный свет, другие стояли понуро со своими каталками в робкой надежде на скорое избавление. Дальше они тащили свое тело в турецкую лавку, затем в магазин, сравнивали и опять возвращались в лавку. Но наш Иосиф только промелькнул мимо и потек себе дальше в путь по народной тропе. Навстречу ему попадались другие корифеи, ведущие толпы неофитов и прокладывающие свои тропы к "войне и миру", "преступлению и наказанию" и к "хуторам, что близ гемайнды". Пути их не пересекались.

А улицы уже были заполнены служивым людом. Они спешили к своим конторам, банкам, непостижимым делам, и всё мимо. А он был в пальто не для того, а он погиб не для того у Черной речки... "Послушайте... Если бы вы знали, какие колонны там... у меня, какие закаты и восходы, а та любовь на первом курсе. А моя библиотека, что осталась там, а треп за рюмкой... Для чего-то это было? Идут себе. А от Москвы до Владика надо было ехать полмесяца поездом, а наша рыба, а помидоры... — бросался он то к одному, то к другому. — Вот он я! Идут! Да вы знаете, что чернозем на Украине в метр глубиной, а у меня там тоже была собака... и жизнь".

Он выпал из общего потока и двинул тихими улочками Altstadt'a. Была среда. Был Рейн, а над ним телевизионная башня, были ровные шеренги платанов на набережной, которые посадили уже при его жизни. Город хорошел и менялся у него на глазах. За эти восемь лет выросли новые дома, появились шикарные торговые центры, а этот как валялся все эти годы расчлененным у самой оживленной трассы, так и продолжал, вызывая у Иосифа недоумение и злость. Но сегодня уже поэт пришел к поэту.

— Ну что, брат Гейне? — мысленно спросил "брат Пушкин". — Уделали тебя?

Этот памятник вызывал горячие споры меж интеллигентов-контингентов. Одни видели в этих монументальных кусках великого немецкого поэта, разбросанных по милой лужайке, проявление ярого антисемитизма, другие — модернистские изыски. А брат Гейне гордо воротил свой нос и косил глазом, в углу которого сверкала предательская капля.

— Вот ты и выдал себя, — вздохнул "брат Пушкин" и прислушался. Где-то рядом раздавались какие-то ритмические подвывания и легкий треск аплодисментов. И он пошел им навстречу. Через два квартала подвывание перешло в громкое стенание. Большая стеклянная дверь распахнулась перед ним и впустила его. Здесь было то самое, которое издавало эти звуки.

В большой комнате за рядами столов восседали поэты и прозаики — его соплеменники, которые издавали здесь не только завывания, но и книги.

— О чем это вы, — ужаснулся "брат Пушкин", — когда там поэт пропадает?

И все почтенное собрание бросилось за ним вслед. На месте преступления они долго горестно качали головами, припоминая этой каменной голове, что он хоть и был крещеный, но поэт.

— Я добьюсь аудиенции у царя, — провозгласил "брат Пушкин", и старый мудак Иосиф испугался и за него, и за себя. Но слово было, и его слышали.

— Слабо тебе... — ухнула голова, и потрясенные литераторы бросились ей на помощь. Они стягивали к ней разбросанные тут и там части великого тела, осознавая все величие этого момента. У всех на глазах происходило слияние и взаимопроникновение двух культур; и когда тело было сделано, то только большой булыжник не вписался в его структуру. И то ли это был камень в чужой огород, или в фундамент общего дела, но было ясно, что ретивые литераторы не пощадили ни живота своего, ни подручных материалов на великого сына Дюссельдорфа.

— Ну что, брат Пушкин, — сказал великий сын, вставая во весь рост. — Слабо?

— Тяжка ты, поступь командора, — захрипел Иосиф. — Идем.

— Куда? — загудели литераторы.

— Вперед! — заключил он, воплотившись опять в "брата Пушкина".

* * *

...На главной площади города колыхалась толпа. В центре ее возвышалась фигура отца Дюссельдорфа на коне.

— Янчик! — дергал за ногу короля великий Гейне. — Слушай сюда!

— Алё! Мы здесь! — присоединялись к нему остальные. И впрямь. Они были уже здесь и давно. Из Москвы и Ленинграда, Киева и Одессы и даже из Харькова. Все они пришли постоять за солнце русской поэзии и сказать, наконец, свое слово. Шел дождь. Солнце стояло внизу у пьедестала в длинном и намокшем пальто. До немцев, проходивших мимо, оттуда, из центра площади, доносилось, как кто-то качал свои права:

— Мой дядя — самых честных правил...

— Пока сердца для чести живы...

— Я памятник себе воздвиг...

— Врешь! Не тебе! — послышалось сверху. Это Ян Веллем смотрел оттуда свысока на копошившихся внизу.

— Кто это? — спросил у собравшихся вышедший к ним из ратуши бургомистр.

— Это наше всё...

— Все, что у нас осталось...

— Солнце наше...

— Пушкин! — раздавалось со всех сторон.

— А Пушкин — еврейский поэт? — удивился бургомистр.

— Великий, великий, — подтвердили собравшиеся евреи.

— Ну, тогда слазь! — глядя наверх, распорядился отец города.

— Давай, давай! — зашумели все.

— Янчик! — присоединился к ним Гейне.

Раздался громкий скрежет, и отец города Ян Веллем, досадливо взмахнув рукой, спрыгнул с лошади. Земля содрогнулась. И тут же под громкие приветственные крики десятки рук подхватили "брата Пушкина" и вознесли вгору.

Иосиф сидел на коне и озирался вокруг. На память пришли слова уже из другой оперы, и он не удержался:

— Я волком бы выгрыз бюрократизм!

Собравшиеся было опешили, но потом полностью согласились с выступавшим — куда нашим доморощенным бюрократам до здешних зубров, а кто-то в тон ему продолжил:

— Кончилось ваше время!

Растроганный бургомистр жал руки собравшихся евреев и повторял:

— Пока так... Все, чем могу...

И тут, почувствовав предательскую дрожь в голосе бургомистра, его слабину, задал ему самый смелый литератор вопрос, которым раньше там определяли принадлежность к посвященному кругу, к своим:

— Любите или вы Брамса?

— Или кого? — переспросил предводитель, но наши евреи услышали только первое слово и остались довольны. И тогда второй литератор патетически воскликнул:

— Ах, любите ли вы Дюссельдорф так, как я! — и заплакал.

Тогда заглянул бургомистр в печальные глаза собравшихся и понял, что им плохо... без их помидоров... без их нерушимых республик свободных... без их великого и могучего... И тут же распорядился переименовать площадь перед ратушей в Пушкинскую. А Иосифа оставили сидеть на коне и даже назначили ему "базис" — зарплату в 630 марок, от которых ему перепадало 220 из-за козней "социала".

Шли дни. По утрам Иосиф заглядывал в готические окна зала заседаний и изредка качал головой. Это повергало в шок собравшихся, и они начинали усиленно размышлять над судьбой этого кочевого племени и чем их еще больше привязать. Сходились только в одном, что делать это надо покрепче. По вечерам приходила жена Иосифа и тоже укоризненно качала головой. О какой уборке, мытье окон и Teppich'а, размене квартиры и континента могла идти речь, когда он восседал на коне, когда его именем назвали эту площадь.

— Иосиф... — засылала она ему наверх призывы. — Спустись на землю. Не витай в облаках. Ты выглядишь смешно. Какой из еврея всадник?

— А Бабель? — не задумываясь, ответствовал "брат Пушкин" с высоты своего положения.

Шли дни. Работа в магистрате совсем не клеилась. За окном зала заседаний целыми днями базарили Гарри, Янчик и "брат Пушкин", выясняя между собой, кто из них сделал больше для родного города. Все так же укоризненно качал головой поэт-всадник, отмечая во всеуслышание, что опять те в ратуше не выделили ни пфеннига на русские культурные центры.

Но чтобы быть поближе к тексту, иногда в ратуше распахивалось окно и оттуда раздавалось:

— Не будет ли какого замечания по части почтового управления?

По этой части наш "брат Пушкин" был не в курсе, но было приятно внимание, и такая жизнь ему нравилась. Осмелев, он чуть было не поведал тем, "какой странный с ним случай приключился, в дороге совершен-

но издержался", но почему-то приплел каких-то курьеров... 35 тысяч одних контингент-флюхтлингов.

Но дни шли, и приближался карнавал. Уже были приготовлены в разных концах города штабели заграждений, вывешены плакаты. Город жил только этим днем.

Приготовления эти дошли и до нашего Иосифа, совершенно сросшегося уже с королевским конем. Рядом с ним бомжевали бывший король Ян Веллем и Гаррик Гейне. Завернувшись в куски целлофана и ворох газет, уже который день пылко обсуждали они свое участие в этом волнующем мероприятии.

— Мне без коня — никуда... — со слезами в глазах втолковывал им бывший король. Гаррик с недоумением взирал на свою новую часть тела в виде булыжника в руках, на котором кто-то из этих "русских" уже вывел — "оружие пролетариата".

Иосиф же коня покидать не собирался, решив до конца представлять великую русскую поэзию на марше. За плечами его были ее золотой и серебряные века, за ним были местные литераторы, они же евреи и русские, аки Бог-сын и Бог-отец в одном лице. Он должен был вести их и опекать. И был вечер накануне карнавала. Под окнами ратуши тихо скулил об утерянном могуществе Янчик. На эту "могучую кучку" задумчиво взирал бургомистр:

— Да помиритесь вы... — втолковывал он им. — Чего не поделили?

— Коня... — нервно всхлипывал король. — Кто он такой? Кто его здесь знает?

— Ты свои антисемитские штучки брось! — вспылил Гаррик. — Говорят тебе — наш!

— У вас же еще один великий есть, — вставил бургомистр, у которого вдруг созрел план. — Самый великий.

— Чем я? — обиделся "брат Пушкин".

— Христос! — выпалил отец города.

— Кто? — опешило солнце русской поэзии.

— Да, да! Да, да! На кресте! — ликовал бургомистр, представив себе, как завтра впереди шествия будет передвигаться этот величественный крест... Он не успел дорисовать перед глазами троицы эту величественную картину, как со спины коня раздался вдруг страстный вопль:

— Я! Это я! — кричал Иосиф.

Солнце русской поэзии померкло, и вокруг головы Иосифа среди ночи сиял нимб:

— Вы же знаете! Мы там свои! Там тоже бывший наш народ! Если что нужно! Мы поможем! Можем режим наибольшего благоприятствования...

— Так вы согласны, если мы вас немножечко распнем? — с опаской начал бургомистр.

— Валяйте! Это будет здорово! Я готов немножечко пострадать для вас и моего народа... — ответил Иосиф. — Только чтоб я был в белоснежной тоге, сандалиях с крылышками, среди коринфских колонн и столбов света.

— Abgemacht! — подвел черту отец города.

* * *

...Когда на следующий день среди истомленной долгим ожиданием многотысячной толпы раздались, наконец, приветственные крики, то все головы враз повернулись в ту сторону, откуда появилось это непонятное сооружение, которое росло и приняло очертания гигантского креста, подпираемого белоснежными колоннами. Шел обязательный в таких случаях дождь. Иосиф картинно вырисовывался на фоне креста в мокрой тоге, облепившей его тело. Он плыл над морем голов. У подножья креста грозно вышагивал бургомистр в плаще Понтия Пилата с кровавым подбоем. Тут же рядом беспечно горевали два разбойника — Ян Веллем и Гарри.

А Иосиф сеял сверху разумное, доброе, вечное в виде конфет и жвачек. Внизу копошились дети, подбирая дары, вдаль уходило море голов, и все это плыло, колыхалось перед ним и обдавало волнами жара. Шел холодный упорный дождь, и понял Иосиф, что он заболевает.

— Мне плохо, — застонал он. Да, сказались эти ночные бдения на коне, эти игры комнатных мужчин во взрослую самостоятельную жизнь, этот вечный дождь, который вколачивает каждую частицу твоего вольного тела к этому добровольному кресту эмиграции.

— Что с тобой, Иосиф? — заподозрив неладное и не услышав себя в грохоте карнавала, закричала жена Иосифа.

Все это время она шла рядом с платформой и не отрывала взгляда от своего дурака. "Опять в очередной раз куда-то занесло, — досадовала она. — Спустись, в конце концов, на землю. Опомнись! Что ты мечешься? Шестьдесят лет уже, дураку, стукнуло...".

Но его, как всегда, несло. Возносило над этой платформой, над этим морем голов.

— Иисус! Иисус! — кричали внизу дети, женщины в ярких карнавальных нарядах, пираты, мушкетеры, турки-разбойники, японцы — цветы жизни, негры — горечь жизни и евреи — вечные евреи.

А Иисус все швырял в эту ненасытную толпу дары даже тогда, когда они кончились.

— Всё, всё, возьмите всё, мне уже ничего не надо, — выкрикивал он в бреду. — Вот вам мои закаты и восходы, вот вам моя любовь на первом курсе, моя библиотека, что осталась там.

Он швырял туда, отдавая свое последнее, и слезы утраты текли по его мокрым щекам. Впрочем, был дождь.

— Вот вам наша рыба, вот вам наши помидоры, — шевелил он губами. — Зачем они мне здесь? — и жена читала это по его губам и повторяла за ним:

— Вот вам наш чернозем, что в метр глубиной, вот вам наша собака, что осталась там, вот вам наша жизнь...

"Все, — подумал он. — У меня уже ничего не осталось. Я пустой. Я никому ничего не должен".

И тут она увидела, как туфли его начали отделяться от пола. Да, да... Начали. Она отлично знала эти его состояния, когда он куда-то уплывал от нее, от всего, от мира. Тогда она всегда приходила ему на помощь.

А Иосиф судорожно хватался за перекладину, за воздух. Ноги его колыхались где-то вместе с ним.

— Иисус! — ревела толпа.

— Иисус! — закричала жена его и, вскарабкавшись на платформу, обхватила обеими руками непокорные ноги.

"Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа", — улетали ввысь бессмертные строчки вместе с ним.

— Возносится! — закричал бургомистр.

Он метался между двумя разбойниками и лихорадочно повторял:

— Надо что-то делать... Надо что-то делать... Что скажет "Голос Америки"?

— А "Немецкая волна"? — спросил Ян Веллем.

— А "Би-би-си"? — добавил Гарри.

— Помогите! — не справляясь с непокорным, как всегда, телом и перекрывая многотысячный рев, вопила жена.

— Сейчас, — бросился к ней бургомистр и повис на уходящем теле.

— Сейчас! — засуетился Ян Веллем, доставая из своих хозяйственных штанин поковы, гвозди и прочую мелочь.

— Давай! — закричал он Гарри, протягивая ему гвозди.

— Бей! — король уже стоял у креста и уже держал одну руку.

— Я не могу! — в ужасе отшатнулся поэт.

— Спасите! — кричала жена.

— Уходит! — сползал вниз бургомистр.

— Давай! — кричал король, приставив гвоздь к ладони Иисуса. — Бей!

И был булыжник в одной руке, и был уже поэт Гейне у креста, и был этот взмах руки. Гвоздь как по маслу вошел в плоть и древо. Иисус охнул и закатил глаза. Со вторым гвоздем проблем уже не было. Кровь текла по рукам Иисуса и тут же смывалась дождем. Внизу плакала жена и шептала его ногам:

— Слава богу... ты со мной... Ну, что ты витаешь где-то, спустись на грешную землю...

И тут бургомистра вдруг осенило: "Вот оно что... А ведь Иисуса прибили гвоздями, чтобы он не сильно возносился, как у них там... "главою непокорной".

Он смотрел на этих людей, окруживших со всех сторон платформу, в эти скорбящие, грустные еврейские глаза и говорил:

— Не бойтесь... Все будет хорошо... Мы вам поможем.

Ян Веллем ползал по платформе, подбирая рассыпавшиеся гвозди.



"Из тех, кто помнил мой город..."

* * *

Вы, конечно, правы, Андрюша, — второй крестовый поход,
в сущности, был обречен еще до его начала.
Дело вовсе не в тупости возглавлявших его господ,
и не в том, что стратегия или тактика подкачала.
Все куда серьезней. Когда вы ведете взгляд
по рядам готовых сражаться за освобождение Гроба Господня,
вы должны выбирать себе хороших солдат.
То есть именно тех, кого ждет преисподня.
Тех, кто, глядя на крест, узнает рукоять меча,
кто в бою не срежет с убитого ни золотых, ни медных
побрякушек, лишь краем глаза их отлича,
чтоб не сдохнуть на месте средь полчищ жадных и бедных.
Тех, кто лепит на рану смесь плесени и земли,
кто милосердно втыкает нож в горло побратимам
неисцелимым,
а уж если покажется, наконец-то, город вдали,
чем бы он трижды ни был — он будет Иерусалимом.
Крестовый поход праведников закончится в первом бою,
даже если их, праведных, удалось бы собрать для похода,
даже если их убедили бы оставить семью,
даже если их оторвали бы от любимого огорода...
Что с них, Господи, толку? Какой от них, к дьяволу, прок?
Разве что вклад в развитие медицины.
Так что если уж нужно вести солдат на восток,
отбирать следует тех, от кого побегут сарацины.
И тогда выясняется, что не получится ни черта
даже с самым лучшим войском. Ничего, кроме сущего вздора.
Какой же Господь допустит, чтобы святые места
освобождали убийцы, насильники и мародеры?
Невозможность, Андрюша, добру оставаться добром,
заставляет надеяться, что зло еще превратится в благо,
что когда утихнут пожар, бесчинство, погром,
из них образуются мужество, благородство, отвага.
Все придут на молебен. Черные губы солдат
будут двигаться в лад с молитвенным ритмом — таков обычай.

Что ж это был за город?.. Молебен, затем парад,
а уж после парада справедливый дележ добычи.

* * *

Нам досталась такая страна,
что она и беда, и вина,
лет по триста любым разговорам,
да и птице, видать, не впервой
убеждать вологодский конвой:
— Я не мельник, я — ворон.

Эту землю как книгу из книг
сочинял не монах, но ледник,
русла завтрашних рек нацарапав,
валунами утыкав гряду
вдоль пути в Золотую Орду
от Хвалынска и вниз — на Саратов.

На широтах тюрьмы и сумы
государство страшнее зимы,
все столичные бунты — гусарство.
Но как грянет пурга по земле,
эти несколько дней в феврале —
пострашней государства.

Нам досталась такая страна,
где наивно рассчитывать на
правоту и рассудок,
здесь легко голодать-холодать,
но когда низойдет благодать,
здесь не выжить и суток.

Соплеменник, изменник, беглец,
ты не мельник, и я не кузнец,
что ж нам снятся под пальмами юга
тьма да вьюга, да снежный завал,
что мороз намолол и сковал
близ Полярного круга.

* * *

Ливни и грозы соответствуют мартовским идам
(если гонять родной календарь по чужим орбитам),
что объясняется близостью Антарктиды
к этим краям, позаброшенным и позабытым.
Ибо, достигнув известных пределов, айсберги тают,
гибельны теплые воды белым громадам.
Айсберги тают, и испаряются, и улетают,
и через тысячу верст выпадают градом.
Мятые крыши автомобилей заморской марки,
сбитые наземь телеантенны и апельсины.
Так испаряешься и погибаешь в марте,
в мокрой траве — холодный, маленький, синий.
Айсбергам трудно в начале марта, как и тиранам,
не заходить далеко за пределы боли.
Мы не Титаники, нам не идти тараном
в южных морях, а уж в северных и тем боле.

* * *

Мы убыли, мы выбыли —
какая благодать!
Ни убыли, ни прибыли
уже не угадать.

Мы ухнули как с горочки
в отвал, в провал, во тьму,
и терочки-разборочки
нам ваши ни к чему.

В другие полушария
мы вышли из игры
в коллекции, в гербарии,
на кончике иглы.

По низкой траектории
мы вышли из пике
в неведомой истории
на странном языке.

И лишь одно созвездие
из памяти живой
как позднее возмездие
висит над головой.

* * *

Ночь не спросит, утро не ответит.
Ветер провожал нас — ветер встретит.
Жемчуг мелок, да и супчик редок.
Улыбнись подруге напоследок.

Улыбнись подруге, ей досталась
кочевая поздняя усталость,
с моря тянет ветром незнакомым,
ветер пахнет дымом, а не домом.

В две руки — природа и свобода —
мастерски стасована колода.
Там в колоде обещаний много,
а сбылась лишь дальняя дорога.

Поклонись дороге — ты свободен.
Нет на свете ни одной из родин.
А уж от чужбины до чужбины —
что тебе и пальмы и рябины?

* * *

Из тех, кто помнил мой город, остался лишь я один,
а было людей в моем городе, словно в банке сардин,
теперь они где попало — в раю и в чужом краю.
Наверное, плавают в масле. И я черт те где стою.
Будущее на лысинах предписано дуракам —
посредине пустыня, заросли по бокам.
Дымный ветер гуляет в чахлых пучках седин.
Из тех, кто помнил мой город, я остался один.
Никто не знает, что строит, тем паче граф Воронцов,
воткнувший в татарский берег тьму пионерских дворцов,
где будущие поэтессы, хитрюги себе на уме,

нетерпеливых поэтов отталкивают во тьме.
Купеческое барокко, левантийская грязь и спесь,
но каолин и сера — это опасная смесь.
И берег сползает в воду с хрустом арктических льдин.
Из тех, кто помнил мой город, остался лишь я один.
Его больше нет над морем, он сгинул вместе со мной,
а когда-то в его колоннадах качался июльский зной,
и все дрожало и плыло, предсказывая пейзаж,
где сам ты лишь очертанье, жажда, жара, мираж...
Отсутствующий виновен. Отрезанное болит.
Прошлое в настоящее врезается как болид,
и тогда сдвигаются плиты, и в дыру посреди миров
летят бульвары и скверы, фонтаны бедных дворов.
Паутиной прибрежных тропок, колеблемой зыбью мостов,
мой всплывающий город прошепчет мне — будь готов.
Давно готов, — я отвечу на тихий призыв его.
Из тех, кто помнил мой город, больше нет никого.

Сидней



Елена ИСАЕВА

Хорошо и просто

Две недели по приглашению студии "Юго-Запад", ее руководителя Елены Палашек-Сторожук провела в Одессе Елена Исаева, известный московский поэт и драматург. Это второй приезд ее в наш город. В прошлом году она участвовала в акции "Шелковый путь поэзии", открыла для себя Одессу, ее литераторов. Пока в творческом портфеле Исаевой еще нет стихов, навеянных Южной Пальмирой. Но они будут, так как все стихи рождаются из любви, а Лена влюбилась в наш город.

– Об Одессе написано уже столько, что даже страшно подступаться, но мне так хочется отдать дань своему восторгу и написать о ней хорошо и просто – ведь в этом завет Анны Ахматовой, родившейся в Одессе.

Остается поблагодарить студию "Юго-Запад", Елену Палашек-Сторожук за возведение мостов дружбы между литераторами Москвы и Одессы.

Е. Г.

* * *

Я б не завидовала Анне —
Завидовать ей поздновато.
Но! Амедео Модильяни! —
Какая звукопись, ребята!
Какая легкая походка —
Монмартр, кафе, береты, блузы...
Какая редкая находка
Для русской утонченной музы.
Художники, эстеты, франты,
Случайные шальные франки.
Д'Аннунцио, Бодлер и Данте,
Цитируемые по пьянке.
Абсент, смеющийся в стакане,
Тоска по солнцу и Тоскане,
Набросок, сделанный в подарок,
Где линии, как нити парок...
И — гениальности на грани —
Бессмертным отраженьем в Лете —
Ее лицо в оконной раме,
Его шаги в парижской рани —
На все двадцатое столетье —
Ахматова и Модильяни.

* * *

За империю за третию,
Если можешь, помолись.
На античную трагедию
Не потянет наша жизнь.
Там у них — слова высокие
И возвышенная страсть.
А у нас — снега глубокие,
Чтобы выйти и пропасть.
Хоть вселенскими вопросами
Задаются (прав — не прав) —
В каждом кабаке философы,
Пьяный в каждой из канав.
Это жизнь, совсем не дикая,
Просто так заведено.
Очередь стоит великая.
Что дают там — хлеб? Вино?
Сыр голландский? Кашу манную?
Власть Советам? Кислород?
Господи, небесной манною
Русский накорми народ.

* * *

Будет-будет за что карать,
Лишь бы точно вину измерить.
Я сначала училась врать,
А потом уж училась верить.
А до этого сколько лет
Я жила так легко, неспешно
И не верила в Бога, нет,
Потому что была безгрешна.

* * *

Они войдут (и негде спрятаться,
Не остановит их никто!) —
Красивые, как два гестаповца,
В шуршащих кожаных пальто.
Я книгой заслонюсь беспомощно,
Я в книгу опущу глаза...
Поэты, проходимцы, сволочи —
С такими жизнь прожить нельзя,
Но... посмотреть еще минуточку —
И что-то стронется в судьбе,
И я, зародыш, институточка,
Открою женщину в себе.

* * *

И восхищаться, не дыша,
И обольщаться — нет причины.
Да неужель поет душа
Вот из-за этого мужчины? —
Который просто и легко
Меня сменяет на любую.
Что ж я витаю высоко?
Зачем так радостно ликую?
И каждой клеточкой звеня,
Маню, дразню, блещу, играю,
У отраженного огня
Других несчастных согреваю,
Меня так много! Мой полет
Все озарит — и дни, и ночи!
А он... пускай себе идет,
Пускай идет, куда захочет.

Москва



"Живут счастливо наши души..."

* * *

По курсу плещется мартини.
В пленительных бикини
вкушают девушки клубнику.
мчат паруса на Мартинику.

Иное протекает тут...

В изрядно старенькой "шестерке"
стою на шумном перекрестке,
бомж в камуфляжной гимнастерке
нахально требует на пиво,
и все достаточно уныло.

Но паруса —
вдали —
плывут.
Сдувают острова цунами.

* * *

По тесной Европе —
через века понятно
слово тесность —
неслись вандалы,
ломая лоб, жилище, крепость.

Рассыпался песок мандалы...

* * *

Прохожий. Дождь.
В окне старик-еврей,
как древний мавзолей,
струится.

Волхвы глядят на колыбель,
и над младенцем — плащаница.

* * *

Фонтан, Отрада.
Разгородки —
роскошные,
для VI-персон —
Ласкают глаз,
как будто сон.

Замки на кодах и решетки
ползут от центра до Слободки,
распространяясь на Пересыпь.
Моя красавица Одесса...

* * *

Стонет О, глядя на нас.
С губ стекает вист и пас.
Снов бесстыдных вереница...

Где-то за морем девица,
журавлем летит синица...

Не соткется самость в сваи,
свивы истин в статуэтку.

Снег.
Сонница, конница,
пепел, бессонница.

Спелость колосьев.
Терновник в яру.

* * *

Мой взгляд, достаточно банальный,
берет каштан пирамидальный.
Быть может, через два-три дня
его акации подарит,
за то,
что расцвела она.

* * *

С холма смотрели два героя,
как тихо дотлевала Троя.
Елена плакала в ночи,
и археологи-потомки
несли украдкой кирпичи.

В глубинах наднебесных сфер
комет и звезд неслышный ход,
нечесаный астральный зверь
зевает черною дырою.
За нитку тянет кукловод —
Елена покидает Трою.

Тусуются по морю яхты,
перекрывая горизонт.
Отрада. Солнце.
Как ты?
Молчание.

Витает облаком Елена.
Витийствует Эвксинский Понт.

* * *

Соблазн скользящих тел
еще теплится,
как отдаленный звук.

* * *

Ни мира, ни моря,
ни счастья, ни горя.
И улица пьяна,
и облако пьяно...
Нирвана,
нирвана,
нирвана...

* * *

Быть может, в магме раскаленной,
вдали от неба и от суши,
живут счастливо наши души,
совсем не ведая огня.

Гряда Курильская курится.
Из кратеров и трещин дна,
рождая острова и горы,
выходят души погулять.

* * *

На острове сомнительной погоды
сомнительный стоит отель.
Сомнительною стало модой
там пить сомнительный коктейль.

Сомнительные танцы, речи,
сомнительные игры, встречи,
сомнительное
все.

На острове сомнительной погоды
никто давным-давно
не видел парохода.

Но вот — вдали дымится он.
На рубке,
кажется,
Харон.

* * *

Шаленілий шепіт марний
неушкодженої хмари,
і лише птахи у небі,
поодинці чи попарно,
тишею втішають душу...

Юрий ШТЕРН*

"...Я живу в Ерусалиме"

* * *

Уезжаем из столицы,
Едем в дальние концы —
То ли в город Черновицы,
То ли в город Черновцы.

Ты такого не увидишь
Ни в Москве, ни под Москвой:
Все вокруг галдят на идиш —
И еврей, и даже гой.

Резиденции, чертоги,
Ивы плачут у ворот...
В доме бывшей синагоги
Кинотеатр. Кино идет.

У евреев нет столицы,
У евреев нет страны,
Нам, евреям, Черновицы
В утешение даны!

...Я живу в Ерусалиме,
Я вернулся в отчий дом.
Я обрывки многих линий
Заново связал узлом.

А спросили "на засыпку":
В чем секрет? Ответ мой был:
Я еврейскую прививку
В Черновицах получил.

* Автор — известный политик, депутат Кнессета — парламента Государства Израиль

* * *

Он на картах едва мелким шрифтом помечен
И лежит в стороне от туристских маршрутов
Как он манит меня — мир отцовских местечек:
Шепетовка,
Полонное,
Заслав,
Славута.

Я потомок дворян — из Подольского края,
Я потомок ученых — из Хелмской йешивы...
Имена своих предков в таблицы слагая,
Их зубрю наизусть — и во мне они живы.

Я почти опоздал с этим странным занятьем —
Всех имен не найти, многих дат не имею.
Только знаю: себя не смогу разгадать я,
Если связи времен воссоздать не сумею.

Мой отец спит высоко в горах Иудейских,
А душа, может, бродит в лугах над рекою,
И далекие предки в местечках еврейских
Угощают его родниковой водою.

Иерусалим

Вячеслав ТУЛЯКОВ*

Осенний дождь

Если всю ночь льет дождь и мир умирает,
если во сне ты уезжаешь из гостиницы и не можешь уехать, потому что она запаздывает: запропастилась куда-то, веселясь с иными постояльцами, а ты, набычившись, как в 16 лет, смотришь в окно,
если утром статуя Дюка становится сквозь струи воды похожей на статую Командора, темную и безжалостную, а собака на большую, невыжатую половую тряпку,
значит, это осень.

Пора замаливать грехи и очищаться,
пора жить по-новому...
Привыкать к пледам и горящему камельку,
горячему белому вину с тертыми яблоками, капелькой меда и корицей,
жаренному на решетке мясу с выжатой на него половинкой лимона.
И есть его по этикету: мясо в правой, вилка в левой, сок на подбородке...

Или пора уезжать,
уезжать, чтобы вернуться или не возвращаться никогда,
потому что воды реки, хранившие отпечаток твоих поцелуев, ушли в океан и соленая капля, упавшая со щеки, миллиардом капель закрутилась в течении Эль-Ниньо, неся чужим континентам смерть и разрушения.

Или вернуться, чтобы услышать: "Здравствуй, дорогой"
И тихо так, как бы про себя, зная, что,
несмотря на глухоту, все равно услышу:
"Ты не представляешь, как я ждала этой встречи".
В жизни всегда есть место выбору. И встречам.

* В. Туляков — профессор, проректор Одесской национальной юридической академии

Вещи

Я себе купил ножницы для срезания фитиля у свечей. Бронза. Начало XIX века. Не знаю, что ими делал в Одессе Пушкин, но в его музее в Москве — такие же. Абсолютно ненужное. Лампочку не заменит. Но вещь...
Нашел вот еще колоду. Деревянная кадка — долбленка. 40 см диаметром 150 высоты.
Это представь себе — кто-то долгими зимними вечерами выдалбливал объем изнутри, чтобы получилось Место, куда класть.
Ни одного гвоздя.
Опять-таки два века назад сделанное.
В них тепло рук.
В этих вещах.
В них солнце.
В них истома и поцелуи.
И шепот: "Не молчи, говори же, я хочу тебя слышать"...
В них расставания и встречи.
Это как колониальная мебель, везомая англичанами в сырые предместья столицы мира...
Это как случайно найденные письма в столе...
Пора публиковать избранное...

Двенадцать

Пятнадцать плюс один — это сундук, наполненный сокровищами инков.
Три плюс один — Дюма, в урюк напившись, выдал эту книгу.
И семь плюс шесть, всего не перечесть, как карты складывают пары.
Двенадцать плюс одна — и это есть в возу воспоминаний и реалий.

Но что те цифры, вот одна она
Кто стоит сундуков, ночей бессонных, книг, порванных страниц, ночных звонков
и утренних видений полусонных.
И вроде бы не в силах разорваться, казалось, что развязана струна...
Ушли писать Деяния двенадцать.
Осталась для меня она одна.

Ветер лиманов

Вот он в лицо, соленый, свежий, звонкий.
И ты, в пыли почти окаменев,
Забудешь все: дороги шепот громкий,
Степей казацких сумрачный напев
Колоколов разливы, тень каштанов
Мороженщиц усталых хриплый крик,
Душой ты здесь — она, душа ребенка,
Отыщется. Не прячь ее, старик!
И в шестьдесят, на острове скучая,
Откроется вам эта простота.
Мы души близких нам берем, играя,
Как море нас вбирает. Неспроста
Оно пускает погулять к нам ветер.
Соленый бриз ложится на карниз.
Как Муза на диван. Послушай вечер,
Он донесет мой шепот. Губы вниз,
в ладони пряча,
прошепчу я имя,
Которое как манта на плече
Оно звучит. Беру его моими
губами, не пуская далече...
А все, казалось, ветерок усталый
с лиманов
Поцелуя соль донес.
Так, губы, в кровь искусывая, раним
Друг друга, не взахлеб — взасос...



Олексій МАРДАШКО*

"Осінь ступає, кроки розмірені..."

* * *

В осіннім темно-золотім багрянці
Листя спадає з дерев зажурених.
Сонячний промінь, народжений вранці,
Ще не торкнувся очей зажмурених.

Осінь ступає, кроки розмірені,
Листя на брукові, морось накрапує,
Проходять люди, обличчя змінені.
Сум обгорнув усе тяжкими лапами.

Сум невиразний, а може це відчай?
Біль, що пронизує, обрії втрачені?
Може це зрада, покинутий звичай?
Кроки у темінь, події вже бачені?

Спокій, де ж ти? Як знайти рівновагу?
Стати як криця, не зламним турботами?
Може знайти веселющу розвагу?
Пісню, що п'янить стрімкими нотами?

Відповідь знайдено, бо люди владні
Настрій змінити і думки розвіяти.
Волею хилі стають безпорадні,
Не можуть сміятись, про щастя мріяти.

* * *

О море! Дивний краєвид!
Я не впізнав тебе одразу.
Ревіло ти на цілий світ,
Гнівилось наче за образу.

* Автор — профессор Одесского медицинского университета

А хмари — спільники твої
Грудьми упали між горами,
Щоб вітер мандри зупинив
І хвилі гнав вперед горбами.

Бог моря — красень Посейдон
Явив чоло своє з глибини,
У сяйві тисячі клейнод
Ніс бороду з сивої піни.

На фоні блискавок різких
З'являлись привиди жахливі,
На кипарисах чарівних
Струмки шальні страшної зливи.

* * *

Підемо в гори! Вабить височінь,
Ялини, плекані на схилі,
Цілого неба неосяжна синь,
Прибою лазурові хвилі.

Підемо в гори! Серцю веселіш,
Чуття загострені без межі.
Панує спокій, непорушна тиш,
Забуті сплять могутні вежі.

Підемо в гори! Горда далина,
В'язниця вічна Прометея,
Гранітом небо підпира,
Опора мужності твоєї.

Підемо в гори! Сонце зустрічать,
За обрій подивитись швидше,
В підніжжі сум свій залишать,
Гож, ну-мо вгору, вище, вище!

Здравствуй, ж-па, Новый год!

Еще несколько лет назад о ней говорили шепотом, стыдливо прикрывая рот ладошкой и зорко следя, чтобы рядом не было женщин. Сегодня же уверенно и раскованно требуют ее у молоденькой провизорши, громко интересуясь у соседей по очереди в кассу не только результатами приема, но и ценой – как за упаковку, так и за одну пилюлю виагры...

Так и слово «жопа» стыдливо не включали в словари русского языка. Сегодня оно заняло свое законное место – сразу за «жокеем», что совершенно естественно, ибо последнему без нее никак не обойтись.

О малом женском счастье, которое никак не заменить удовольствием от почесывания партнером пяток тоже как-то не принято было говорить – особенно на страницах литературно-художественного и историко-краеведческого альманаха...

И наконец – эротический парафраз по мотивам любовной коллизии между царем Соломоном и царицей Савской...

В преддверии Нового года редколлегия совокупила произведения, поступившие к нам самотеком, и в качестве эксперимента предлагает их продвинутому читателю.

Ф. К.

Олег ГУБАРЬ

Честное слово

В толковом словаре С.И. Ожегова это слово, честное слово, отсутствует. Вероятно, толковый иже рафинированный автор его попросту не знал. Бывает... Впрочем, в предисловии к этому изданию сказано: "Из всего многообразия лексики современного русского литературного языка был отобран основной ее состав". Из чего можно заключить, что жопа в основной ее состав не входит.

Мне думается, что она (Ж) служит секретным оружием основного состава и лишь периодически выпускается на замену с целью придания сюжету (игре) остроты и динамики. Во всяком случае, на ее счету немало вырванных в практически безнадежных ситуациях, в последнюю минуту и буквально за хвост побед.

Ж отсутствует и у А.Г. Преображенского. Но с этим-то хотя бы все ясно. "Словарь А.Г. Преображенского, — пишет ученый комментатор, — во многом устарел. В нем не могли быть использованы новейшие данные в области сравнительно-исторического индоевропейского языкознания, опубликованные после завершения работы над словарем". Как говорится, ничего уж не попишешь. Другими словами — Ж в нашей жизни теоретически не встречается. Это что-то вроде Снежного Человека (а кстати, была ли она у него?) — слухи ходят на наших ногах и что-то такое сзади прощупывается, но фактически оно не легализовано. То есть наука отвергает.

Забавно, что и в четырехтомном "Словаре языка Пушкина" — ни одной жопы не значится. После "жницы", "жокея" и "жолнера" там сразу же идут "жордочка", "жрать" и "жребий". (Поистине — О, жалкий жребий! — просто какое-то печальное безжопье!) В словаре жопы нет, зато в текстах — сколько угодно. И что занимательно — все больше мужеских. С чего бы это?..

Когда смотрюсь я в зеркала,
То вижу, кажется, Эзопа,
Но стань Дембровский у стекла,
Так вдруг покажется там Ж.

Или:

В Академии наук
Заседает князь Дундук.

Говорят, не подобает
Дундуку такая честь.
Почему ж он заседает?
Потому что Ж-а есть.

Еще (о Муравьеве):

На диво нам и всей Европе
Ключ камергерский, золотой
Подвесили к распутной Ж,
И без того всем отпертой.

Но и дамы не обижены:

Подогнув под Ж-у ноги,
За вареньем, средь прохлад,
Как египетские боги,
Дамы преют и молчат.

Обижена лишь регулярно продажная пресса:

"Сыны Отечества" и "Вестники Европы"
Полезны для ума, а более для Ж.

Да и к собственной поэт относится с известным вниманием, хотя и без должного почтенья:

Вот перешедши мост Какушкин,
Опершись Ж-ой о гранит,
Сам Александр Сергеевич Пушкин
С мосье Онегиным стоит.

Ну, не могу я не верить светилу российской поэзии. Значит, по крайней мере, в его времена они (то есть Ж) еще существовали. Причем довольно интенсивно. А потом, может, пропали, как динозавры. Вот только академисты не верят. И население — туда же. Посылают в нее, любимую, а выходит, что неизвестно куда. Перефразируя первого классика социалистического реализма, зададимся риторическим вопросом: "А была ли Ж?!".

Несерьезное, легковесное отношение к данному предмету вообще свойственно нашим соотечественникам и нашло соответствующее отражение в народной поэзии, которая, впрочем, наличие современных (не былинных ли?) Ж как бы даже фиксирует:

Мимо тещиного дома я без шуток не хожу:
То ведро на хрен повешу, то ей Ж-у покажу.

Не вошедшая в академический обиход, Ж по-прежнему остается народным достоянием. Превосходная степень разочарования: "Ну, ты и Ж!.." Ехидство, помноженное на корысть: "Хитро-Ж". (Однако: "На хитрую Ж

есть хрен с винтом".) Рисковать: "Подставлять свою Ж", "Искать на свою Ж приключений". Отсутствие способностей при выдающемся трудолюбии: "Высиживать Ж". Многостаночность: "Одной Ж на двух базарах". Подхалимаж: "Ж-лиз" (тоже красиво, напоминает вокализ), "Заглядывать в Ж". Пронырливость: "Без мыла в Ж лезет". Суетиться, мельтешить: "У него шило в Ж", "Бегать с мокрой Ж". Неумелость: "Все делает через Ж", "Руки из Ж растут". Абсентеизм: "Ему всё до Ж". Беспечность: "Пока в Ж не припечет". Про вертихвостку: "Ж вертит". Стадия опьянения: "Бухой в Ж". Не соответствующее здравому смыслу: "Ни в какую Ж не лезет". Нелогичное: "Как пришитые к Ж уши". Болтливость, несдержанность: "У нее же вода в Ж не держится". Эврика, прозрение и одновременно самодурство: "Клюнул в Ж жареный петух". Утихомиривать: "Засунь язык в Ж". Наслаждаться: "Торчать — как вилка в Ж". Унизительные наказания или угрозы: "Под-Ж-пник" (не подзатыльник же!), "Глаз на Ж натяну!". Еврейский анекдот, убедительно доказывающий, что Борис и Степан — одно и то же имя: "Борис — это Боря, Боря — это Брухис, Брухис — это тухис, тухис — это (все-таки!) жопа, жопа — это Степа, а Степа — это Степан". Загадки: "Без окон, без дверей — полна Ж огурцов". Пословицы и поговорки: "У милки Ж — как орех, так и просится на грех", "Одна Ж, а половина обаяния!", "Ж нет — считай, уродка". Высшая степень подкаблучности: "Ж мыть и воду пить". И т. д. и прочее.

Насчет мытья и питья — особая статья.

Ну, любят у нас это дело. То есть, чтобы вовсе не виртуальной Ж было много и вся она была твоя. То есть, чтобы вообще-то она была чужая, но при этом твоя. Типа: "Что в вымени тебе моем...". Того не ведает профессура, "в языкознанье знающая толк". Выдохнуть бы в припадке яростной нежности: "Ах ты, Ж моя ондатровая!..".

А вообще-то нам можно бы доверить это самое заветное слово и самоё Ж. Поскольку не в Рим же, в конце-то концов, ведут все дороги...



Игорь БОЖКО

Виагра

В одной из центральных аптек города к очередному всенародному празднику появилось объявление: "Пенсионерам, ветеранам труда, лицам мужского (противоположного) пола отпускается (со скидкой — 50%) препарат виагра — резко повышающий функцию органов, связанных с интимно-чувственным наслаждением человека. Скидка действительна при предъявлении документов, подтверждающих пол и пенсионное значение". Под этим объявлением была нарисована картинка — два яблока и банан, расположившийся между ними, как-то вертикально и не совсем пристойно. Еще ниже шла надпись: "Вот что делает виагра — не страшна теперь подагра!".

Через какое-то время у окошка, над которым появилось это объявление, выстроилась очередь. Убеленные сединами и откровенно лысые мужчины бодро передергивали плечами и на первый взгляд выглядели значительно моложе своих лет. Действительно, препарат виагру стали отпускать с вышеозначенной скидкой. Некоторые брали даже по две, а то и по три коробки.

Но тут кто-то пустил слух, что, возможно, препарата на всех не хватит. Очередь заволновалась:

— Отпускайте по одной коробке в одни руки! — закричал человек в гражданском пиджаке и генеральской фуражке.

— От одной коробки у вас ничего не получится, — возразил ему мужчина, похожий на высохшего бухгалтера.

— Вы что, уже пробовали? — спросил того человек в пижаме со свежими пятнами от кефира.

— От одной не поможет! — в строгой утвердительной форме сказал бухгалтер.

— Ему уже только цемент поможет, — встряла вдруг в разговор незаметного партизанского вида старушка.

— А виагру эту — надо жевать? — заволновался старичок с волосами цвета хаки. — У меня нечем ее жевать!

— Сделайте сначала себе рот, а потом будете стоять здесь в очереди, — произнес человек с кроличьими ушами.

— Тыловикам не отпускать! — закричал вдруг ветеран с усами, как у маршала Буденного. Очередь вновь заволновалась, но отпускающая виагру дама сказала, что препарата хватит всем, а если кому не хватит — то тому будет выдана специальная справка определенного значения.

— Виагра — это корень. Его надо привязывать! — заявил мужчина с охрипшим голосом.

— К чему привязывать? — спросил у него человек с палкой, набалдашник которой изображал особым оскорбительным способом сложенные пальцы.

— К дверной ручке, — вставила свои пять копеек партизанская старушка и захохотала вдруг загульным лесным голосом.

— Молодая и красивая! — обратился к ней с явной издевкой человек с кроличьими ушами. — А вы что же здесь делаете? Препараты отпускаются только лицам мужского достоинства. Вон в объявлении так и сказано.

— А я тебе что?! Баба рязанская?!

— Ну и не мужик ты по образу своему, — ответил тот и пошевелил ушами.

— Тебе что — доказательство показать?! — разозлился то ли он, то ли она, и вдруг не на шутку завозился в своих одеждах в поисках неоспоримого доказательства.

— А что, пусть покажет, — изрек человек в генеральской фуражке.

— В аптеке доказательство показывать не положено! — строго заявила отпускающая виагру дама.

— Я Ленина видел! — закричал вдруг неизвестно почему один из стоящих.

— Кто Ленина видел — тому уже никакая виагра не поможет, — съязвила старушка-мужчина.

— Я Ленина живьем видел! — обиделся тот, который видел Ленина. — А она, тля адвокатская, меня позорит тут при народе!

— А здесь про тех, кто видел Ленина, в объявлении ничего не сказано! Им не отпускать! — закричала старушка-мужчина, размахивая неизвестно откуда появившимся в ее руке плотным, как кирпич, томом сочинений Ленина.

— Угроза действием карается по статье двести восьмой прим! — закричал тот, который видел Ленина, и хотел было вырвать том-кирпич из рук его обладателя.

Но тут все, кто был рядом, сплотились грудью вокруг старушки-мужчины, а того, кто видел Ленина живьем, оттеснили в сторону.

Сразу же, чтобы вы не волновались, скажу: виагры хватило всем. Кстати, говорят, что ее впервые изобрели в Японии. Жалко, что не у нас. Но...

Хотя виагры хватило всем — не все ветераны получили ожидаемый результат в силу различных причин. Например, у Гуськанова (стоявшего

в очереди первым) наблюдались только весьма незначительные подвижки, да и то ненадолго. Пока он со своей супругой Вероникой Ивановной Гуськановой-Полторацкой (1924 года рождения) ждал более деликатного действия препарата — время вышло. Все у него как-то пошло вкривь и вкось, и как Вероника Ивановна ни старалась взбодрить супруга, вселить в него веру в человека, у нее так ничего и не получилось.

Более удачно дело сложилось у Фрузгайлла (стоявшего в очереди вторым). Хотя, к большому сожалению ученых-наблюдателей, у него довольно многообещающим было само начало процесса, но затем все резко пошло на спад без всякой надежды на улучшение.

Майор Ер (стоявший в очереди третьим) наблюдал у себя после принятия виагры резкие судороги в деликатном отношении. Потом судороги эти перешли на икры ног — и этим все закончилось. Соседка Ера, Евдокия Савельевна Туртакова, (1912 года рождения), которая оказалась невольным свидетелем этих судорог, вынуждена была вызвать скорую, после чего Еру сделали укол, и его отпустило. На все четыре стороны, без всяких последствий.

Облезлов принял виагру перед сном. Утром проснулся от того, что его образование приняло форму теннисного мяча, на удивление плотного, но совершенно невозможного для фактических действий. Законная супруга Облезлова — Марфа Ильинишна Облезлова (в девичестве Хак, 1913 года рождения) не могла взять в толк проявившееся образование и от душевных чувств — просто разрыдалась. В таком положении всеми нами уважаемый гражданин Облезлов находился целые сутки, но без всякого применения.

У Плисовских (старушка-мужчина) дело пошло на лад быстро и, можно сказать, результативно. Ученые, специалисты в области эротических явлений, были приятно удивлены, когда им сообщили, что в учреждение областной психбольницы доставлена старуха с грубо возбужденным достоинством. Отчего вышеозначенная претерпевала сильную эротическую боль, и возбужденный предмет не менял своих очертаний не только после надлежащих уколов, но и после довольно сильных ударов деревянной линейкой по его конфигурации. Этот метод ударов деревянной линейкой, по мнению ученых, хорошо зарекомендовал себя на призывных пунктах отечественных военкоматов, когда кое-кто из обнаженных призывников оказывался перед женским медперсоналом военкомата и впервые предъявлял свое детородное начало перед лицом противоположного пола. Зачастую у некоторых мало воспитанных молодых людей наблюдалось

глупое наполнение, после которого медперсоналу вменялось в действие взять деревянную линейку и резко влепить ею по наполненному предмету. После такого применения линейки призывник резко взвизгивал и у него надолго пропадал всякий интерес к эротическим размышлениям и потугам. Старуху Плисовских ударяли по ее предмету несколько раз. Она резко взвизгивала, а линейка в руках медперсонала больницы безрезультатно отскакивала в сторону, как от плотной резины. Старуха Плисовских между тем сообщила ученым, что виагру она приняла как бывший нештатный сотрудник органов безопасности, неоднократно награжденный грамотами за непримиримую борьбу с врагами советской власти. Кое-кто из ученых рекомендовал применить к старухе метод Бройля-Сокальского, но другие посмотрели на него, как на полного идиота, хотя, в конце концов, почти что все согласились на применении этого метода. Старухе стало значительно легче, но через два часа после применения означенного метода Бройля-Сокальского у пациентки все возобновилось с прежней силой. После этого она с позором была выгнана из психушки на улицу. Потом ее несколько раз замечали на обширных собачьих свадьбах в самой гуще бодрящихся животных.

Не буду скрывать, что виагра не всем помогла в той или иной степени. Например, Друльскому (стоявшему в очереди ровно тридцатым), она не сделала никаких воздействий. Приняв виагру строго по инструкции, по прошествии трех часов у досточтимого Василия Ивановича никаких изменений в его организме не наблюдалось. Не наблюдалось их и после шести часов. В седьмом часу ожиданий его законная супруга Друльская-Дряшек Варвара Эрнестовна, 1917 года рождения, желая помочь супругу своему, — обнажилась, как говорится, до полного безобразия и стала принимать всяческие позы вызывающего характера. Некоторые из этих поз, по словам очевидцев, были явно рассчитаны на низменные животные чувства и не несли в себе никаких эротико-эстетических символов. Некоторые из очевидцев даже утверждали, что если бы кто-то из посторонних мог заглянуть в этот момент в окно квартиры Друльских, то сочли бы эти позы весьма непристойными, пагубно влияющими на подрастающее поколение. Я, как излагающий эти события, не стану описывать все эти проявления женской выдумки, как бы этого ни хотела сама Варвара Эрнестовна. То, что она сначала вытворяла на диване, а потом на столе — просто не хочет ложиться на бумагу. Нет, я совсем не ханжа, но ведь мое поколение и поколение наших ученых воспитывалось совершенно на других примерах. Нас учили, что все таинства брака должны происходить ночью,

когда темно, когда ничего непристойного не видно. Когда все делается на ощупь, затаив дыхание, или же наоборот, жарко дыша партнеру в шею, боясь при этом нарушить интимные отношения внезапным хрипением или дурацким кашлем, вызванным попаданием в горловую трубу перьев из подушки и прочей постельной пыли. Но если Варвара Эрнестовна предалась некоторым вольностям — то это ее личное дело. Лично меня возмущает совсем другое — стихи! Да, да! Именно стихи, которые она декламировала при этих своих выкрутасах. И где это она нахваталась этих стихов — ума не приложу. И, как я уже говорил, ни виагра, ни позы, ни роскошные стихи Инны Ерсеневой — положительного результата не дали. Сам Друльский сказал по этому поводу так: "Сколько волка ни корми, а он все равно в лес смотрит".

Весьма благодарен я Первозису Геннадию Андреевичу за его чуткое отношение к виагре. За то, что он, приняв препарат, почувствовал его силу ровно через три часа — как и было сказано в инструкции. Возрождение сил возникло весьма полным и внушительным, и появилась явная возможность использовать эти силы по их прямому назначению. С этой целью всеми нами уважаемый ветеран сел в четырнадцатый номер трамвая и поехал к себе на дачу, где в полном здравии находилась в ту пору его законная супруга Первозис Галатея Ивановна, 1926 года рождения. Представ перед супругой, возбужденный Геннадий Андреевич предъявил ей для обозрения все свое внушение, наполненное сатанинской статистикой и сокрушением. Удивившись такому внушению, Галатея Ивановна вздрогнула и передернула плечами. И когда уже все дело сладилось, как бы само собой Первозис вдруг осознал, что все происходящее происходит во сне — не имея под собой никаких реальных событий. Он тихонько заплакал, затем перевернулся с животика на бочок и снова уснул как младенец. Во сне он приятно посапывал, и слюнная струйка текла из уголка его рта, приводя этим в умиление сидящую возле кровати кошку.

Так же крупно повезло, в смысле действия виагры, и старику Журавчику. Его волосяной покров цвета хаки резко закудрявился. Резко в начале действия виагры взбодрился и так же резко, как видно, уже навсегда, сник его "хвостик", как ласково именовала сей предмет законная супруга Журавчика Эльвира Леопольдовна, 1909 года рождения, но тут же, как бы в приятное дополнение, весь он (то есть "хвостик") оброс волосами цвета хаки. Причем такими густыми и прочными, что гражданину Журавчику стало довольно затруднительно (как иголку в стогу сена) отыскивать сам "хвостик" на предмет обычного исполнения малой нужды человеческой.

Каждый раз при этом данном нам самой природой процессе всеми нами уважаемый Анатолий Васильевич Журавчик, находясь в творческом поиске, клял все на свете: саму виагру, Японию и Маодзедуна.

Гражданин Пурсор привязывал виагру к дверной ручке, и в этом был смысл. Он чувствовал положительную дрожь в теле, по животу его бегали мурашки, и он очень часто возбужденно вскрикивал, а потом стонал и плакал.

А вот гражданин Скляр все же ухитрился использовать приятное возбуждение чувств по их прямому назначению. Как это у него получилось и с кем, мы здесь описывать не будем. Скажем только одно — лечился он амбулаторно и каждый раз, когда ему делали очередной укол, также проклинал виагру, Японию и Маодзедуна.

Наши ученые говорят, что применять виагру надо с умом и весьма осмотрительно. Я считаю, что нам всем нужно прислушиваться к мнению ученых. Нужно всеми силами бороться против собачьего подхода ко всякому зарекомендовавшему себя с хорошей стороны делу. В сознание людей нужно внедрять разумный подход к виагре, и делать это надо не завтра, а сегодня.

Да, чуть было не забыл обозначить законную супругу гражданина Скляра. Это — Скляр Ксеретоя Ивановна, 1919 года рождения.

Как вы уже догадались — он подло изменил ей. Но этот факт не есть темой нашего повествования. Наша тема себя исчерпала. Здесь я больше ничего добавить не могу, поэтому позволю себе с вами раскланяться, пожелать всем крепкого здоровья и долгих лет жизни на благо всего нашего народа.



Кира САПГИР

Дуэт Соломона и царицы Савской

Отрывок мюзикла на тему "Песни песней", который пишется

Он:
Совокупись со мной, кирпичная стена,
Когда бутылкой я тебя ласкаю
В сыром подвале смрадного сарая
С мышами, что скончались от вина.

Она:
Совокупись со мной среди камней
На фоне черствого ночного неба,
Зажав в руке кусок сухого хлеба,
Танцуя танец белых лебедей.

Он:
Совокупись со мной на лезвии ножа,
Что был откован прямо в преисподней.
Не вздумай выходить ко мне в исподнем,
Зажав меж ног горячего ежа!

Она:
Совокупись со мной в душе твоих осин,
Где осы тешатся, вдыхая пар чугунный,
Где плесень источает свет безлунный,
И пот сочит из вмятин наших спин.

Он:
Совокупись со мной на смрадном сундуке,
Где мощи женихов твоих хранятся,
Которые не знают, чем заняться,
Мечтая о слепом бурундуке.

Она:
Совокупись со мной, мохнатый сельдерей,
Изъятый из кровавых уст Ваала,

Вонзая зубы в рыжий сок коралла
Вися на черных крючьях меж дверей.

Он:
Совокупись со мной на спутнике Земли,
Держа в руках обрезок арматуры,
Что выдран зло из чьей-то драной шкуры
Средь зарослей пахучей конопли.

Она:
Совокупись со мной на фонаре,
Где певчий пес наутро опостылел,
И скунс вонючий, весь в дегтярном мыле,
Терзает когтем рану на заре.

Он:
Совокупись со мной, задрав вуаль,
Что светлый лик твой вечно затеняла.
Пусть голоса рычат, как два нарвала,
Пронзив рогами ражими скрижаль.

Она:
Совокупись со мною, падишах,
Размахивая в ярости фаготом,
Играя марш по нервам, как по нотам,
Держа меня в колючих кандалах!

Вместе:
Совокупись со мной/с тобой в багажнике пустом,
Чтоб грудь моя/твоя до грунта отвисала,
Чтобы дорогой в ноль ее стесало,
И новая бы выросла потом.

Париж



Татьяна ОРБАТОВА

Home Art
(эрогенные зоны семейного счастья)

...Она была немного рассеянной, заумной и пудрила мозги окружающим чаще, чем свой нос. Она думала ни о чем и, соответственно, об этом и говорила. Например, о металлической спице, вставленной в руку мужа, и о черной птице, приснившейся ей перед тем, как он эту самую руку сломал, упав со стремянки. О стремянке она не думала. Да и о чем думать и, тем более, говорить? Она просто однажды поставила ее посреди комнаты, чтобы сменить лампочку в плафоне и... забыла. Ходила мимо нее, нисколечко не смущаясь препятствием, и бормотала себе под нос: "Женское счастье, был бы милый рядом...". Милый услышал это и, почувствовав себя обязанным сделать для нее хоть что-то приятное, взобрался на стремянку...

Ей не приходило в голову, что он страдает, тем более он старался казаться мужественным. Улыбался вымученной улыбкой и здоровой рукой чесал ей пятки. Она любила эту процедуру. В такие минуты ей казалось, что на всем белом свете нет большего удовольствия. И он чесал. А она ему готовила обеды. Вегетарианские. Несмотря на то, что врачи советовали ей потчевать его наваристыми бульонами и холодцами. Она смеялась им в лицо, называя трупоедами, и шла домой, затарившись в ближайшем магазине овощами. Он ел обеды, морщась от тянущей боли в руке, а затем они шли в спальню, где она, снимая носки, подставляла ему свои пятки. И он чесал их, задумчиво глядя в окно, периодически корчась от резкой боли, которая возникала от случайного дрыганья ее ноги.

...Знакомство с ней не входило в его планы. Впрочем, и не выходило. Поэтому она появилась в его жизни, и поэтому он на ней женился. Она хотела, чтобы он тоже думал ни о чем. То есть ни о работе, ни о творчестве, ни о любви, ни о жизни... ни о чем. Ей не всегда удавалось этого добиться. Слишком много внимания он уделял мыслям обо всем. Но она все же пыталась отсекать то, что его интересовало. Своими длинными монологами о собраниях акционеров, о которых по телефону рассказывала ей приятельница, диалогами в парикмахерской, событиями, произошедшими с Айболитом на Занзибаре, подробностями многочисленных сериалов. Сначала он слушал ее внимательно, потому что умел слушать. Тем более, его интересовало все. Но потом он понял, что его уши перестали выполнять свою обычную функцию. Они остались на месте, но уподобились по-

ломанному сливному бачку. Как только она начинала говорить, внутри что-то хрустело, и в ушах появлялся шум водопада, заглушающий ее речь. В первый раз он испугался и инстинктивно ухватился за ее ногу, и даже шутливо почесал пятку, демонстрируя, что с ним все в порядке. И вдруг она умолкла, а несколько секунд тишины вернули его ушам привычные функции. Он не обратил на это внимание. Но когда сломал руку, сливной бачок ушей полностью перестал контролироваться. И тут инстинкт самосохранения напомнил ему о ее пятках. Он повторил эксперимент, теперь уже осознанно. Она снова замолчала. И пришлось ему чесать пятки жене всякий раз, когда она была дома...

...В ее планы только и входило, что думать ни о чем. Пока она говорила, это у нее получалось. Но как только муж начинал чесать ей пятки, думать ни о чем она переставала. И просто получала удовольствие от щекотки. В такие минуты ей не хотелось говорить, а только молчать. Для нее — непривычное состояние. Молчать она не умела с детства. И все потому, что боялась — пауза затянется, и людям будет казаться, что с ней не о чем говорить. Она так боялась пауз, что заполняла их всем подряд — ценами на мясо-молочные продукты, рецептами фаршированной рыбы и торта "Наполеон", обсуждением одежды учителей и зарплаты врачей, комментариями к телевизионной программе "Сад — огород" и мечтами вслух о таком же лице, как у Белоснежки, и таком же зеркальце, как у ее мачехи. Но как только муж начинал чесать ей пятки, она замолкала.

...Почти год прошел с того момента, как он начал чесать ей пятки. Ее жизнь стала иной. Она перестала задерживаться на работе, чтобы поговорить ни о чем с сотрудницами, и спешила домой с одной целью — чтобы муж чесал ей пятки. Теперь в ближайшем магазине она покупала не только овощи, но и мясо, рыбу. И все потому, что заметила — если муж ест вегетарианскую пищу, он быстро устает чесать ей пятки. А если мясо или рыбу — может несколько часов кряду доставлять удовольствие.

— Удовольствие того стоит, — думала она, готовя мясное рагу или жаря на сковородке рыбу.

Муж приходил с работы, ел, и они шли в спальню. Постепенно она научилась молчать. Теперь на работе, в общественном транспорте, в магазине она не думала ни о чем, а думала конкретно об удовольствии, которое ее ждет дома. И старалась растянуть время до его осуществления. Она заметила: если ее пятки зудят от предвкушения несколько часов подряд, то вечером она испытывает более сильные ощущения при их почесывании. Но пятки зудели у нее особенно сильно, когда она читала книги!

Именно поэтому в свое время она перестала их читать. А еще пятки зудели, когда она ходила в музеи и театры. Что делать? Так она стала заядлым театралом и любителем художественной литературы. Всякий раз, когда она впечатлялась действием актеров на сцене или сюжетом книги, пятки зудели со страшной силой. И она поняла: эмоции включают ее пятки на полную катушку. Муж тоже любил театр и литературу, и поэтому однажды она стала обсуждать с ним особенно понравившиеся книги и спектакли. Оказалось, что обсуждение еще больше влияет на кровообращение пяток, и таким образом она научилась оттягивать момент их чесания.

Секс не впечатлял ее с первых дней замужества. Она считала его занятием бесполезным, потому что этот процесс мешал думать ни о чем. Но однажды она почувствовала, что после того как с мужем обсудит премьеру нового спектакля или фильма или прочитает интересный роман, секс становится даже более приятным, чем чесание пяток. Теперь она стала совсем молчаливой и задумчивой, вызывая подозрения у сотрудников. Правда, ее это мало заботило. Она хотела удовольствий и думала, что предпочесть сегодня вечером — чесание пяток или секс. Долгие молчаливые размышления заканчивались предпочтением последнего.

...Прошло еще два года. И однажды она, разомлевшая от похода в театр, ужина в ресторане и сексуальных упражнений, ласково сказала мужу:

— Когда я выходила за тебя замуж, даже не представляла себе, что мы — идеальная пара!

Муж улыбнулся и, погладив ее по волосам, нежно произнес:

— Когда я думаю о тебе, у меня так чешутся руки!



Роман БРОДАВКО

Саксаганский возвращается в Одессу

История украинского национального театра тесно связана с Одессой. В последней четверти XIX и в начале XX века, когда царизм делал все, чтобы задушить мощные ростки украинской культуры, наш город одним из первых в стране приветствовал украинские театральные труппы. При этом публику на спектаклях составляли не только украинцы: многонациональная Одесса всегда была чутка ко всему, что по-настоящему талантливо и интересно. Наш город — место дебютов многих знаменитых украинских драматургов, режиссеров, актеров. Среди них — Панас Саксаганский, один из великой семьи Тобилевичей, подарившей Украине выдающегося драматурга Ивана Карпенко-Карого, известного актера и режиссера Николая Садовского, актрису Садовскую-Барилотти.

Панас Карпович родился 16 мая 1859 года в семье обедневшего дворянина, который по любви сочетался браком с бывшей крепостной Евдокией Садовской. Она была родом из Саксагани, что впоследствии обусловило выбор псевдонима. В детстве проявилась страсть Панаса к лицедейству — это было неудивительно, поскольку в семье искусство, в том числе — театральное любили все. А кроме того, мальчик обладал исключительной памятью и ярко выраженными музыкальными способностями. Кроме родителей на формирование художественных вкусов Панаса оказал влияние старший брат, Иван Тобилевич. Он приобщал младших братьев и сестер к изучению литературы, в том числе украинской. Под его влиянием уже в школьные годы Панас стал редактировать рукописную газету. Первым, кто обратил внимание на музыкальную одаренность Панаса, был известный украинский композитор Петр Нищинский, который в 1875 году приехал из Одессы в Елисаветград и много времени проводил в доме Тобилевичей. Именно Панасу он поручил сольную партию в своих знаменитых "Вечорницах", которые впервые были исполнены в марте 1875 года в честь дня рождения Тараса Шевченко. Исполнителю в то время еще не минуло шестнадцати лет.

Огромную роль в духовном формировании Панаса сыграло знакомство с Марком Кропивницким. Оно произошло в октябре 1875 года в доме старшего брата, Ивана. Забегая вперед, скажем, что сотрудничество двух мастеров продолжалось вплоть до кончины Марка Лукича. И еще: для Панаса Тобилевича, как и для других любителей театра в Елисаветграде, важную роль играла близость Одессы, крупного культурного цент-

ра. Многие выдающиеся гастролеры и даже целые театральные труппы по дороге в Одессу останавливались здесь и давали спектакли. Спектакли тщательно разбирались и обсуждались в доме у Ивана Карповича, и в этом принимал участие младший из Тобилевичей. Многие знаменитости бывали в доме Ивана Карповича, и Панас имел возможность общаться с ними. Кроме того, Иван Тобилевич постоянно выступал с рецензиями на спектакли в местной прессе. Эти рецензии читались в доме автора по вечерам.

Тем не менее, в то время актерская карьера еще не привлекала Панаса. В 1876 году началась русско-турецкая война. Идея освобождения братьев-славян, болгар, от пятивекового ига овладела умами и сердцами многих молодых людей. В армию шло много добровольцев, среди них был и Николай Тобилевич, будущий актер и режиссер Николай Садовский. Пример брата вдохновлял Панаса, и в 1878 году без разрешения родителей он добровольцем поступил в запасной батальон и был направлен на учебу в Одесскую военную школу. Здесь у будущего актера был серьезный конфликт с начальством, которое требовало дисциплины и послушания, систематически проводило обыски у юнкеров. С детства Панас записывал в тетрадку полюбившиеся стихи Тараса Шевченко. Так сложился его собственный "Кобзарик", с которым он приехал в Одессу. В свободное время он читал своим однокашникам по военной школе стихи Кобзаря. Очевидно, кто-то донес об этом начальству. "Трусили" юнкеров основательно, но стихов запрещенного поэта не нашли. Это событие впервые породило у Панаса Тобилевича сомнение в правильности выбранного им пути. Тем не менее, обучение он успешно завершил и стал армейским офицером.

Служа в разных местах, молодой офицер постоянно занимался самообразованием, никогда не упускал возможности попасть в театр. Искусство сцены звало: он убеждался, что его призвание — в театральном искусстве. В августе 1883 года в Одессе проходили военные маневры, и в это же время на гастроли в наш город приехала украинская труппа М. Старицкого, в которой играли М. Кропивницкий, М. Заньковецкая, брат и сестра Панаса Карповича — Н. Садовский и М. Садовская-Берилотти. В первый же вечер Кропивницкий пригласил Панаса выступить в своей драме "Доки сонце зійде, роса очі виїсть", специально написав для этого небольшую роль приятеля одного из главных персонажей, Гордея.

Так в Одессе состоялся дебют Панаса Тобилевича на профессиональных сценических подмостках. А после этого Старицкий официально при-

гласил Панаса Карповича в свою труппу. Он принял предложение, уволился в запас и стал актером, взяв псевдоним Панас Саксаганский.

Яркая внешность, сильный голос, исключительная музыкальность — сопутствующие факторы дарования актера, который в равной мере был убедителен и в драматических, и комедийных ролях. Как все представители школы корифеев, Панас Карпович создавал глубокие, психологически наполненные образы.

В восьмидесятые годы с труппой, которую возглавлял Кропивницкий, Панас Карпович не раз выступал в Одессе. На одном из спектаклей на сцену полетела открытка с такими словами: "Приветствую тебя, дорогой артист, за то высокое наслаждение, которое ты приносишь своей художественно талантливой игрой. Природа щедро наделила тебя своими дарами, и ты не закопал их в землю. Буди же в сердцах людей чувства гуманности, любви, правды, искренности и сочувствие к несчастным и угнетенным жизнью. Вперед, артист, вперед, — во славу святого искусства, которому ты служишь!". Эта открытка была опубликована в газете "Новороссийский телеграф" в 1888 году.

К Саксаганскому перешло много ролей, в которых блистал Кропивницкий: Иван Непокрытый в "Дай серцю волю...", Стецько в "Сватанні на Гончарівці", Выборный в "Наталке Полтавке"... Однако он не повторял того, что было наработано Марком Лукичом, а шел дальше и глубже в раскрытии характеров этих классических персонажей.

Одной из лучших комедийных ролей Саксаганского был Голохвастов в комедии Михаила Старицкого "За двумя зайцами". Автор признавался, что Панас Карпович своей игрой во многом углубил характер Голохвастова. Старицкий уже в процессе исполнения комедии добавлял некоторые реплики, в частности, придумал новый єпизод — появление городового. В Одессе спектакль "За двумя зайцами" имел огромный успех. Еще бы: ведь по тональности он так отвечал духу и нраву одесситов!

Свирида Петровича Голохвастова Саксаганский играл сорок лет — и всегда с неизменным успехом. В последний раз он исполнил эту роль в Одессе в 1927 году.

Год от года возрастало мастерство Саксаганского как актера и режиссера. Уже к началу XX века на его счету были десятки постановок и сыгранных ролей. Занимался Панас Карпович и литературной деятельностью. Интерес представляет его комедия "Лицеміри", которая посвящена памяти его гениального брата Ивана Карпенко-Карого. Пьеса эта была запрещена цензурой в 1910 году. Автор создал второй вариант, однако и он

не получил разрешения на представление: уж слишком хлесткой была сатира Саксаганского на нравы тех, кто составлял "сливки" общества. Затем Панас Карпович начал работу над сатирической комедией "Кролики", но не завершил ее. А вот рождение его третьей пьесы имеет весьма любопытную историю. В 1914 году Саксаганского пригласили на чтение нового водевиля С. Васильченко "На першій гулі". Прослушав пьесу, Панас Карпович дерзко заявил, что напишет водевиль не хуже этого за одну неделю. Заявление Саксаганского вызвало у многих присутствующих недоверие. Однако было заключено пари, которое мастер выиграл: ровно за одну неделю он написал комедию-шутку "Шантрапа". Со временем она вошла в репертуар многих украинских театров.

Саксаганскому также принадлежат литературные переводы нескольких известных пьес. Одна из них — трагедия У. Шекспира "Отелло", постановку которой мастер осуществил в 1926 году.

Панас Саксаганский прожил большую жизнь. В послереволюционные годы он еще целое десятилетие играл на сцене, ставил спектакли, читал лекции, передавая свой богатый опыт молодежи. В качестве актера он в последний раз гастролировал в Одессе в 1929 году.

В этом же году он начинает писать мемуары под названием "Дорогой жизни". Фрагменты из них публикуются в периодике. В 1932 году выходит его книга "Театр и жизнь", которая интересна как правдивая летопись деятельности корифеев украинского театра. В 1936 году Саксаганскому было присвоено почетное звание народного артиста СССР. В 1939 году в Украине и в России широко отмечается восьмидесятилетие артиста. Его приветствовали Станиславский, Немирович-Данченко, Михоэлс и многие другие театральные деятели.

Панас Карпович ушел из жизни в 1940 году. В истории украинской культуры он остался как яркая творческая личность, деятельность которой во многом определила высокий уровень национального театрального искусства.

Панас Саксаганский возвращается в Одессу с новой постановкой "Шантрапы" в Одесском украинском музыкально-драматическом театре имени В. Василько. Возвращается в город своих многих творческих побед, ставших страницами нашей театральной истории.



Евгения РУДЫХ

Поэт

Он ворвался в нашу жизнь как метеор. Энергия в каждом жесте, в каждом слове и сияющие глаза. До 1963 года я знала его только по роли сержанта Орлюка в фильме Юлии Солнцевой "Повесть пламенных лет", снятом точно по сценарию ее мужа Александра Довженко, в то время уже покойного. От учившихся вместе с ним во ВГИКе слышала, что в 1955 году он приехал в Киев поступать в Институт театра и кино им. Карпенко-Карого. Оказавшийся в это время в Украине мастер Александр Довженко забрал его с собой в Москву и принял на свой курс без экзаменов.

Когда Винграновский был еще студентом первого курса, украинская "Литературная газета" на развороте (с портретом автора во весь рост) опубликовала его стихи, и даже не имея ни одного сборника, он был принят в Союз писателей Украины. Это был первый и, кажется, последний случай в государстве. Разговаривал он и в Москве, и в Одессе только по-украински. Это никого не смущало, его все любили и знали, что иначе говорить он не умеет. Правда, иногда его плохо понимали и просили пояснить какую-либо фразу по-русски. Он повторял ее по-украински, но другими словами.

Лично с Мыколой Винграновским я познакомилась в 1963 году. Одесская киностудия приступила тогда к съемкам художественного фильма по остросюжетной повести Васыля Земляка "Гневный Стратион". Сценарий был написан Земляком в соавторстве с кинорежиссером Василием Левиным. Поскольку все действие происходило в партизанском отряде, съемки проводились в лесах близ Житомира. Я была редактором этого фильма. Когда приехала в съемочную группу в Дыныши, посмотрела отснятый материал, то испугалась — все было снято далеко от написанного. Мои претензии вызвали возмущение режиссера: "Но ведь я один из авторов сценария, могу и менять!".

Он не заметил, что, улучшив что-то в одном месте, ему приходилось менять ситуацию во втором, а дальше вообще ничего не связывалось, фильм распадался. В таких случаях студия, бывало, отстраняла режиссера от съемок, но Василий Николаевич Левин был одаренным человеком, интересным режиссером, и хотелось выправить дело с наименьшими потерями. Отснятый рабочий материал потребовало Министерство кинематографии Украины. На просмотре вместе с автором романа Земляком присутствовал Мыкола Винграновский, он недавно закончил учебу во

ВГИКе. Передо мной стоял сержант Орлюк, те же сияющие радостью глаза, быстрые движения, озорная улыбка.

Не могу сейчас вспомнить, кто первый предложил подключить Винграновского к съемкам "Гневного Стратиона", думаю, что все-таки Земляк, но мысль эта понравилась всем.

— И фильм надо снять на украинском языке, как и роман написан, — предложил министр кинематографии Святослав Павлович Иванов.

К моему удивлению, и Земляк, и Винграновский возразили:

— Не нужно. Мы хотим, чтобы фильм смотрела вся страна.

— Мы все, что снимаем на русском, потом дублируем на украинский, — поддакнула я.

— Дублируете... — хмыкнул Святослав Павлович.

Левин в Киев не приезжал, нагонял отставание в съемках по графику. Я повезла Мыколу в Дыныши, представила Василию Николаевичу как второго режиссера — практиканта, надеясь, что когда Винграновский плотно войдет в картину, можно будет говорить о сопостановке. Мыкола сходу стал энергично предлагать различные решения. Из него так и фонтанировали идеи, оригинальные решения, метафорические образы, поэтические детали. И хотя сам Левин любил поэзию, но все, что предлагал Мыкола, было так далеко от его представлений, что он вообще перестал контактировать с новым вторым режиссером. Мыкола сразу потерял к фильму интерес, занялся своими делами. У себя в номере он работал над стихами, читал книги, которые ему привозили друзья из Киева. К нему часто приезжали писатели, поэты. И хотя он числился в штате съемочной группы, его даже не поставили в титры.

Но Одесская киностудия не хотела терять Винграновского ни как режиссера, ни как просто интересного человека, ни как поэта, которому нужна была помощь. Через студию прошло много в то время не признанных талантов. Достаточно вспомнить Булата Окуджаву, Владимира Высоцкого, Андрея Тарковского, Юрия Антонова... Кстати, в то время начинающих режиссеров, таких, как Станислав Говорухин, Петр Тодоровский, Анатолий Васильев, можно было перечислять долго.

Мыколе Винграновскому предоставили комнату в знаменитом общежитии "куряж". Вскоре туда с маленьким сыном приехала жена Лида. В зеленом дворе студийных домов то и дело было слышно:

— Масик! Дэ ты? Масик — йисты!

И Мыкола, и Лида, и малыш — все были масиками.

Винграновский писал вирши, беседовал с интересными людьми, кото-

рые приезжали к нему со всех концов страны, чтобы послушать, как он читает свои стихи и побеседовать с сержантом Орлюком.

В это время писал он и прозу: работал над сценарием Фильма "Сіроманець", постановку которого осуществил уже в Киеве. Задумал снять фильм "Хаджибей", писал к нему эпизоды о войне с турками и об основании города Одесса, придумал много интересного. Но, как нам тогда сообщили "свыше", в постановке фильма отказали по политическим мотивам. В это время Мыкола писал много стихотворений, маленьких рассказов, давал их мне, просил перевести на русский язык. Не помню название рассказа о маленьком сельском мальчике, который во время войны раскапывал схороны полевых мышек, чтобы добыть из них немного зерна семье на кашу. Переводить его было очень трудно, так как каждая фраза — это оригинально звучащий поэтический образ. Меня поражали, казалось бы, простые, но трогательные детали. Например, мать героя, приехавшего из города в родительский дом, показывает ему найденную на горище теплую шапку:

— Тебе она уже не нужна, нехай кицьке будэ...

Сам Мыкола был родом из крестьянской семьи поселка Первомайский Николаевской области. Этого рассказа у меня нет, все, что я перевела, отдала Мыколе, но у меня еще и сейчас остались 44 страницы его рукописей, большинство из них, я думаю, уже опубликовано. А вот рассказ о матюках я нигде не встречала. И мы хотим предложить его вниманию читателей.

Не могу не вспомнить, как любил Мыкола играть в карты! Всегда предлагал: "Згуляемо в карты?". Играл он в подкидного дурака так виртуозно, что при любом раскладе карт не только выигрывал, но и "навешивал противнику погоны" из двух оставшихся шестерок. Помню одну игру у нас дома: Васыль Земляк, Мыкола Винграновский, мой папа и я. Трое мужчин в тот раз с огромной выдумкой столь лихо мошенничали, что я из-за слез от хохота и карт не видела.

Винграновского часто приглашали выступать в институтах. Будучи актером и режиссером, он читал свои стихи великолепно, откровенно отвечал на вопросы студентов.

В 1964 году Одесская киностудия предложила Винграновскому вместе с опытным режиссером Мироном Белинским снять фильм на историческом сюжете "Эскадра повернула на запад" по сценарию Александра Левады. Сказать, что этот фильм стал значимым в судьбе Мыколы Степановича, нельзя, но снят он был на хорошем режиссерском уровне. А те-

ма — разложение группой большевиков флота Антанты — не была близка режиссеру.

В восьмидесятые — девяностые годы Винграновского еще больше увлекла история Украины, и он стал снимать документальные фильмы: "Чегерин — столица гетмана Богдана Хмельницкого", "Батурин — столица гетмана Ивана Мазепы", "Галич — столица князя Данилы Галицкого", "Гетман Сагайдачный". Все в этих фильмах было окрашено высоким патриотическим пафосом. В 1997 г. Мыколе Степановичу Винграновскому было присвоено звание заслуженного деятеля искусств.

Думая о Мыколе Винграновском, всегда вспоминаю такой эпизод: в "куряже" на двух узких кроватях расположились Мыкола и три его гостя — кажется, один из Латвии, второй из Литвы, третий, кажется, эстонец. Меня это не удивило, к нему часто приезжали люди, но то, что они замолчали при моем появлении, насторожило.

— Это свой человек, — представил меня Мыкола. — Знаете, как она умеет убеждать? Такой агитатор! Если она будет с нами...

— В чем и кого нужно убеждать? — поинтересовалась я.

— Наш народ в том, что Украина должна быть самостоятельной державой.

Я села на маленькую скамеечку и снизу посмотрела каждому в лицо:

— Вот что, друзья мои, если бы вы сказали "мы против советской власти", то я стала бы вам помогать. А самостийность? Это несерьезно. Что это за держава? Маленькая, беззащитная...

— Почему маленькая?! — возмутились все сразу. — Вся Франция чуть больше Одесской области.

— А в нашей Украине и советская власть лопнет, — добавил Мыкола.

Теперь, вспоминая те годы, я с удивлением поняла, что, оказывается, и тогда патриоты боролись за самостоятельность своих стран и даже объединялись. Но что меня тогда поразило, так это то, что Мыкола Винграновский вел беседу с приезжими на правильном и красивом русском языке.

P. S. В моем архиве остались рукописи стихов и прозы Мыколы Винграновского. Часть из них уже давно напечатана. А вот этот отрывок я не видела ни в журналах, ни в книгах.

* * *

Не знаю де: чи то в коморі, чи то у погребі, чи на горищі, але в нашій хаті жили матюки. Я люблю матюки, бо мій батько починав і закінчував день матюками. Це абсолютно не значить, що він безперервно матюкався цілий день. Ні. Матюки у нього були щось на зразок гарніру до його клопотів і сердитостей.

Батько не матюкався. Матюки стирчали з його серця, як ножі. Вони з'явилися там разом з війнами, які він провоював, і разом з голодовками, за яких він не вмер, бо інакше не було б і матюків...

Я люблю матюки. Корова не слухає батька. Стоїть. Він щось каже-каже до неї — стоїть. Заматюкається — робить корова, що треба... Свиня не їсть. Заматюкається — їсть. Подвір'я не метене. Заматюкається батько і починає мести подвір'я.

Їм погано борщ. Заматюкається батько — ложка веселіша у моїх руках...

...Я не люблю матюків.

Аркадий ЛЬВОВ

Александрийский многочлен*

— Евреи, — сказал профессор Берс, — начались с галута. Кто был Авраам-праотец? Халдей. Из Ура. Ур халдейский — здесь, на берегу Евфрата, сорок веков назад он родился в семье Терраха, идолопоклонника. Поклонялись Луне. Авраам первый прозрел: какая Луна, какой бог! Заметьте, с маленькой буквы. А с большой буквы, — профессор Берс сделал круговое движение рукой, — Бог — это вселенная, все, что видит и не видит человеческий глаз. Двинулись в Харран. Почему в Харран, почему не сразу в Обетованную землю? Потому что галут — это дорога, которую начал халдей, а закончил еврей.

Борис Мойшезон, мой земляк, алгебраист из школы Шафаревича, недавно перебрался из Тель-Авива в Нью-Йорк, профессор Колумбийского университета, с двадцати восьми лет доктор, талантлив, обаятелен, застенчив до румянца, ссылается на Генриха Греца:

— Грец говорит, что патриарх Авраам вышел из среды арамеев.

Профессор Берс разводит руками. Борис, плутовато, по-мальчишески улыбаясь, дает географическую справку:

— Кстати, арамеи на севере жили бок о бок с армянами. Ходили друг к другу в гости. По Мандельштаму, Армения — младшая сестра земли иудейской, субботняя страна.

Таких сестер, кивает головой профессор Берс, в те времена у иудеев было не счесть. У Мандельштама, говорит он, на историю собачий нюх: одной молекулы достаточно, чтобы учуять запах. Большой был поэт. Очень большой. Может быть, гений. Его отец, Эмиль Хацнель, был родом из Риги.

— Мой земляк, — сказал профессор Берс. — После революции с папой и мамой я жил в Петербурге. Петрограде. Потом были другие города: Берлин, Цюрих, Прага, Париж. Другие города, другие времена. Но Петербург остался в памяти навсегда. Конечно, это свойство детской памяти. Но не только. Я помню строчки Мандельштама:

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель...

Автор теории псевдоаналитических функций, в семидесятые годы президент Американского математического общества, Липман Берс, нисколько не стесненный своими семьюдесятью годами, сухощавый, поры-

*Фрагмент из новой книги

вистый, беспрестанно, даже и оставаясь неподвижным, в движении, он создавал атмосферу удивительной простоты и естественности, которая распространялась и на его причудливые антрепризы, в которых математика сочеталась с любой интеллектуальной моделью.

Воротясь к прежней своей мысли, о галуте, положившем начало истории евреев еще до Моисеевых дней в стране, обещанной Господом, Берс вспомнил Мицраим, Египет, который дал приют израильтянам, пастухам овец, в земле Гошен.

— Их никто туда не звал, — сказал он, — они сами пришли, убегая от голода. Свободные люди, они стали рабами, которые лепили кирпичи для фараонов. Им понадобилось четыреста лет, чтобы спросить себя: "Разве мы не были свободными людьми? Что мы здесь делаем? Где наш Ягве?". И нашелся среди них человек, именем Моше, который прошел выучку у египтян и, случалось, сам выдавал себя за египтянина, и встал во главе этих людей, ибо никто не мог сравниться с ним в познаниях. И волхвы египетские, самые осведомленные среди египтян, не могли: позаимствовав у них многое, он во многом и превзошел их.

Тысячу лет спустя по соседству с теми краями, где Моисей со своими гвардейцами-левитами водил двенадцать колен, которым обещана была страна, где молоко и мед, Александр Македонский, ученик Аристотеля, заложил на берегу Средиземного моря, у дельты Нила, город.

В истории галута, который евреи вслед за греками стали именовать диаспорой, сказал профессор Берс, Александрия сыграла роль, до сих пор не вполне понятую ни самими евреями, ни теми, иудеями и не-иудеями, кто писал их историю.

Борис, как это делают в классе, поднял руку:

— Липа, можно спросить?

Липман Берс, среди друзей и университетских коллег с давних пор Липа, скомандовал по-учительски:

— Руку опустить. Прежде чем спрашивать, научись отвечать. Вопрос первый: как объяснить, что Александр Македонский, одержимый идеей мировой империи, отвел иудеям перворазрядную роль в основании эллинских городов на Востоке? Немец Теодор Моммзен, который знал об античности и эллинизме столько, сколько может в XX веке знать один человек, говорил: евреи принимали выдающееся участие в эллинизации Востока и Египта, сколь ни странно было то, что их призвали к этой роли. Уточним, странностей в этом случае было две: одна — иудеи крепко держались за обычаи отцов, обрезая крайнюю плоть; другая — они были зем-

ледельческим народом. Знал ли об этом Александр Великий, у которого наставником был Аристотель? Знал, и не только об этом, ибо Аристотель знал евреев и об евреях больше, чем вся Академия Платона, об основателе которой еврейские апокрифы утверждали, что он вышел из школы Иеремии. Что не было тайной для ученика Платона, Аристотеля, не осталось тайной и для ученика Аристотеля, Александра, именем которого иудеи стали нарекать своих сыновей.

Прервав на мгновение монолог, чтобы выйти на новый виток, Липман Берс поднял палец и держал его перед собой:

— Так вот, галутники, слушайте, ибо говорю вам: из тех, кто делал историю своими руками, македонский грек первый постиг провиденциальную роль интеллектуального заряда иудеев. Созданная им Александрия включала пять кварталов, два из них заселили евреи. В каждом квартале города был свой бет кнесет, "дом собрания", который александрийские евреи называли греческим словом: синагога. Искусные в ремеслах, евреи стали искусными в городской торговле, стали купцами-мореходами, стали инженерами-строителями, вызывая у своих соседей уважение и восхищение, которые всегда идут рука об руку с завистью. Парадокс: среди завистников первое место занимали сами греки, которые не решались бесчинствовать в иудейских кварталах, но тем охотнее заведомо безнаказанно подвергали еврея поношениям и насмешкам в собственных кварталах, глумясь над его верой, над его греческим языком, во многих случаях не только не уступавшим языку природного эллина, но превосходившим его. Превосходившим и по словарному запасу, и по совершенству фразы, которые достигаются только постоянным чтением и упражнениями.

В этот раз в нарушение школьного ритуала Борис не поднял руку, а ловко, воспользовавшись паузой, вклинился со своим текстом:

— Да, александрийский еврей говорил по-гречески не хуже эллина. Но какой ценой! Впервые в своей истории он потерял родной язык — язык отцов.

— Как впервые! — схватился профессор Берс. — А иврит, место которого в буднях, евреи уже и сами не помнили когда, отдали арамейскому! Или вы будете мне доказывать, что иврит и арамейский — это как русский и украинский!

Борис заявил, что не будет доказывать, но одно дело — свободный, естественный процесс, а другое дело — насилие...

— Так вот, профессор Мойшезон, — сказал Берс, — насилия не было...

— Липа, — тряхнул руками Борис, — дайте сказать слово!

Так вот, продолжал Берс, александрийские евреи эллинизировались не под давлением властей. Александр и Птолемеи не давили на них. Евреи получили практически все, что могли получить в те времена полноправные граждане полиса. У них были не только свои духовные лидеры, признанные властями. У них был, говоря понятным русскому человеку языком, свой райсовет, орган самоуправления в Александрии — столице царства Птолемеев. Они и жили по соседству с дворцами царей. Триста лет спустя Иосиф Флавий писал об этом с гордостью, как будто намекая императорам, что и Рим мог бы найти в этом примере назидание для себя.

Рим, сказал Берс, не нуждался в назиданиях иудейского историографа. Юлий Цезарь, величайший из римлян — благословенна будь его память! — провел через сенат указы о признании евреев друзьями и союзниками римского народа. Подтвердив право евреев на религиозную свободу, в Александрии Цезарь свидетельствовал свое безусловное уважение к иудейской традиции, признав в полном объеме власть тамошнего алабарха, главы еврейской общины города, независимого от греческого магистрата.

— Все, — Борис поник головой, как будто публично покоряясь и Клото, прядущей нить жизни, и Атропе, перерезающей ее, — профессор Берс оседлал своего александрийского конька.

Александрийский конек, напомнил Берс, назывался Пегасом. Но лично его в данном случае интересует не сам Пегас, а Музы, с которыми он был дружен. И не вообще Музы, а только одна из них: Клио. У нее было свое хозяйство, история, и это хозяйство, сколько могла, она старалась держать в порядке. И в этом деле среди первых помощников у нее были иудеи, которые посылали своих детей с пяти лет в школу, чтобы папирус и пергамент, писчие материалы Клио, были у них под рукой. Ну, не под рукой, перед глазами, поправился Липа, потому что стоили очень дорого.

Дорого, подтвердил профессор Мойшезон, но на папирусе и пергаменте евреи записывали Тору и свою историю, когда у греков еще не было своего алфавита который спустя века они заимствовали из финикийско-еврейского письма. Сказал Господь: "Я есмь Алфа и Омега, начало и конец".

Профессор Берс поблагодарил за справку, но продолжал стоять на своем: дети александрийских евреев в своих школах, где учителя проводили уроки на греческом языке, учили на память стихи Гомера, штудировали философию Платона и Аристотеля, читали современных поэтов-александрийцев, среди которых, известно, были их соплеменники и единоверцы. По мнению Теодора Моммзена, одно из лучших сочинений античности по эстетике, "О возвышенном", принадлежит перу иудея или, во всяком слу-

чае, человека, в одинаковой мере почитавшего Гомера и Моисея. Иудео-эллинистического поэта псевдо-Фокилида, взявшего себе имя известного поэта-дидактика из Милета, поначалу воспринимали как подлинного Фокилида, греческого лирика, писавшего за двести лет до возникновения Александрии. Только позднее обратили внимание, что этически вся лирика псевдо-Фокилида черпает из Септуагинты, греческого перевода Пятикнижия III века до н. э., и еврейских апокрифов последних двух веков до нового летосчисления.

В философию эллинов иудеи-любомудры погружались, как в микву, ритуальный бассейн. Сочинение, в котором автор пытался сочетать Аристотеля со стоицизмом, вероятнее всего, полагает Моммзен, написано было евреем. По обычаю эллинов автор посвятил его Тиберию Александру, высокопоставленному иудею эпохи Нерона. Евреи в это время уже без колебаний и оглядки на заветы отцов нарекали своих детей греческими именами.

— Не надо далеко ходить за примерами. Профессор Мойшезон, помогите мне, вспомним хотя бы первосвященников. Ну...

Вспомнили: три Аристобула, Язон, Менелай, Антигон, Александр. Кажется, кого-то упустили. Борис вспомнил: Теофила упустили.

В философии Филон Александрийский заслонил всех евреев, собратьев по племени и цеху, как, впрочем, заслонил и современников греков. Историки до сих пор не могут прийти к единому ответу на вопрос: в какой мере Филон владел языком отцов? Одни говорят "едва", другие — "едва ли".

В синагогах Александрии уже без малого триста лет проповеди читались на греческом языке.

— Септуагинта, перевод семидесяти толковников, — сказал профессор Берс, — выполнен был не по заказу Птолемея Филадельфа, а по настоятельной нужде александрийской диаспоры, которая в массе своей никакого другого языка, кроме греческого, не знала. Складывалась нестерпимая для иудея ситуация: Господь и его пророки говорили, а сыны Израиля не понимали. Казалось бы, учите своих детей в школах, чтоб понимали. Да, но как заставить детей, если все вокруг говорят по-гречески! Как заставить папу, маму, которые сами забыли, когда в последний раз слышали на улице родное слово!

Поставив вопросы, профессор Берс не стал дожидаться ответа, ибо, сказал он, в вопросах этих заложен и ответ: заставить нельзя было хотя бы потому, что заставлять было некому. Еврейские грамотеи сами осваивали язык эллинов и писали на нем свои сочинения. Был какой-то Аристей, который рассказывал грекам, что сам царь Птолемей пожелал ознакомиться

с законами евреев по их священным книгам и для начала пригласил сведущих в Писании иудеев, толковников, к застольной беседе. Следствием беседы, за которой последовал еще ряд бесед, общим числом 7, было пожелание царя, чтоб столь мудрые законы были переведены на греческий язык.

Бесспорно, сказал Липман Берс, у автора истории были самые благочестивые намерения, но благочестие, как и всякая добродетель, сильно теряет в своих достоинствах, преступая священные границы факта. Другой александрийский историк, Артапан, начал с того, что сам себя взялся убеждать в родственной близости еврейских преданий и сказаний Древней Эллады. Сочетая в душе своей ревностного апологета иудаизма со страстной восторженностью неофита-эллиниста, Артапан установил, что Моисей иудеев и Мусей греков — это одно лицо. При этом в греческий миф он внес поправку: не Мусей является учеником Орфея, а напротив, Орфей состоял в учениках у Мусея, который был ему первый наставник. Отсюда следовало, что Моисей-Мусей в действительности был тем человеком, который учил всех людей искусствам, мореходному и военному делу, философии и мудрым началам общественного устройства, как передавались они с тех пор из поколения в поколение у египтян и греков.

Выстраивая в общем ряду фигуры египетских и греческих мифов, автор "Истории евреев" Артапан отыскивал им эквиваленты в библейской истории, находя в этом убедительное основание тому пиетету к эллинизму, которым были проникнуты александрийские евреи.

Ничто так не располагает иноплеменника к заимствованиям и подражанию, как собственный пиетет. Греческие гимнасии, спортивные состязания, где мальчики и юноши упражнялись и соревновались нагишом, привлекали иудейских отроков, воспитанных в сознании, что нагота человеческая — срам. Присыпанное пылью тысячелетий, сознание это не всегда справлялось с натиском будней, и не только иудейские юнцы, но и отцы их и матери, оберегая в душах своих заповеди Торы, в быту изыскивали и находили способы обойти их.

То, что повергало в уныние дедов, вызывало у их внуков насмешку над людьми из каменного века, которые не могли, а еще в большей мере не хотели понять, что у каждого дня своя поступь, и тот, кто не может приноровить свой шаг к шагу дня, либо отойди в сторону, либо, еще лучше, сиди дома.

— Но как, — профессор Берс зажмурил один глаз, — я вас спрашиваю, как еврею сидеть дома, когда вся улица на улице! Три тысячи лет с гаком назад, при каком-нибудь Рамзесе или Аменхотепе в Египте, евреи, в особенности еврейки, плясали и соревновались с египтянами в разнузданнос-

ти, как будто хотели занять призовое место в оргиях. Тысячу лет спустя на праздниках македонян александрийский еврей чувствовал себя почти македонцем. Во всяком случае, Иосиф Флавий, говоря об александрийских гражданах, находил возможным называть и тех и других македонянами. И тысячу раз прав Гиббон — редкий случай, когда великий историк и великий писатель в одном лице! — который писал: в Римской империи все культы рассматривались простыми людьми как одинаково истинные, философами — как одинаково ложные, а властями — как одинаково полезные. А иудеи, которые в Александрии были всегда на всех трех ролях...

Профессор Мойшезон удивился:

— Всегда?

— Ну, не всегда, — сказал Берс, — но чаще да, чем нет. Иудеи, воспользуемся языком математики, в большинстве случаев находили способ вставить свой икс, игрек, зет в александрийский многочлен. Как говорил, — засмеялся весело Липа, — гениальный математик, человек из Одессы, Марк Крейн: "Я одночлен из многочлена вычленяю!". Со временем, как и следовало ожидать, эллины обнаружили в александрийском многочлене столько иудейских аргументов, что предпочли податься в иудео-христианство, которое и употребили как свой аргумент против хитроумных иудеев, уже вполне уподобившихся, в своих греческих туниках и хитонах, эллинам.

— Но под хитоном и туникой александрийского галутника, — сказал Борис, — все равно стучало еврейское сердце!

— И еще как стучало! — подхватил профессор Берс. — И продолжало стучать столетия спустя, когда в дремучей средневековой Европе, где императоры, герцоги и ландграфы, девять из десяти, едва осилили алфавит, среди тех, кто открывал новым хозяевам континента философию и изящную словесность древних эллинов, духовные потомки александрийских иудео-эллинов находили свою кафедру и в школе, и на городской площади. Соломон Гебироль, уроженец Малаги, поэт и философ, по определению Греца, "еврейский Платон", в своем трактате "Источник жизни" не отдал ни единой строки стиху из Библии. Однако этот певец, завершивший свою земную дорогу на тридцать седьмом году жизни, сочетал, по мнению историков, как никто другой, мысль и поэзию, истину и красоту.

— Да, — подтвердил профессор Мойшезон, — по мнению историков, сочетал как никто другой. А по мнению поэта Гейне, вслед за неоплатоником Гебиролем пришел другой, который еще больше сочетал: Иегуда Галеви, иудей из Кастилии. Между прочим, о нем говорили: "Из Кастилии воссиял свет, чтоб озарить мир".

Берс по-солдатски поднял руки:

— Сдаюсь. Но прошу помнить, профессор Мойшезон: Женевская конвенция предписывает гуманно обращаться с военнопленными. А теперь я вам скажу: неоплатоник Гебироль мозгу верил больше, чем сердцу; а начинающий аристотелик Галеви испугался наступления царства рассудка и предпочел ему царство чувства, которое сродни вере: рассудок оспаривает, а чувство, как и вера, требует: "Веруй!". Галеви же говорил: "Забыть Бога, значит, забыть самого себя". Но при всем этом и Гебироль, и Галеви, оба, и в радости и в унынии, одержимы были всю жизнь тоской пришельцев: "Да есть ли у нас на востоке или на западе определенное место, где мы могли бы спокойно пребывать?". И тут, галутники, — сказал профессор Берс, — не время ли открыться нам в кощунстве: в тоске пришельцев не перемешались ли, как в приворотном зелье колдуний, горечь и коварная сладость, так что не отделить одну от другой? И не обратиться ли, для примера из близких нам дней, к русскому поэту Осипу Мандельштаму, иудео-эллину от первой строки до последнего гвоздя, если...

— Если, — нашел слово Борис Мойшезон, — у поэта Мандельштама был гроб, в крышку которого был вбит этот гвоздь.

— Мнемозина, Мнемозина, — воззвал профессор Берс, — помоги вспомнить...

— Липа, — скорчил гримасу Борис, — пристало ли иудею, академику, взывать к греческим богам, чтобы помогли вспомнить...

— Умолкни, завистник! — отозвался Берс. — Ради таких стихов пристало:

На каменных отрогах Пиерии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.

Остановившись на мгновение, Берс прижал пальцами виски и торопливо, как будто опасаясь, что опять придется звать Мнемозину, продолжал:

О где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба,
И колесо вращается легко.

— Где, — воскликнул Берс, — где, у какого поэта-эллина, спрашиваю вас, найдете вы такие стихи, чтобы вся мечта человека о совершенном мире встала в пять строк! Здесь он весь перед вами, этот иудео-эллин, которого две тысячи лет носило по миру, пока не занесло в Россию, где тоска,

никогда не оставлявшая его, принудила память воротиться в давно покинутые края, обретшие за давностью лет волшебные черты потерянного рая. Я думал, это все-таки уникальный случай, но недавно мне дали почитать стихи другого русского поэта, Иосифа Бродского, у которого, показалось мне, тоже комплекс иудео-эллина, как у Мандельштама. Греки, — засмеялся Берс, — сбондили Елену по волнам, ну, а мне соленой пеной по губам! Не забудьте взять в кавычки.

На этих словах позволю себе оставить Колумбийский университет в Нью-Йорке, где на кафедре математики двадцать лет назад нежданно-негаданно пофартило мне быть свидетелем ученого разговора об иудео-эллинизме и александрийском многочлене двух выдающихся алгебраистов, Липмана Берса и Бориса Мойшезона, и попрошу читателя перебраться со мною, в те дни научным сотрудником Русского центра университета, в Гарвард. Здесь, несколько времени спустя после возвращения из Стокгольма, поэт Иосиф Бродский, Нобелевский лауреат 1987-го года, встретился с профессорами, аспирантами, студентами и пришлыми любителями изящной словесности, о которых никто не знал, как, впрочем, и не спрашивал, кто они, откуда. Университетский демократизм Гарварда не показной, а имманентный, говоря русской метафорой, посконный.

Бродскому был задан вопрос: кому из русских литераторов XX века он считает себя, как поэт, наиболее обязанным?

— Ну, Мандельштам... Да, конечно, Мандельштам, — сказал Бродский. — Я думаю, я уверен, он самый большой русский поэт века.

Объясняя, как сложился в его восприятии образ самого большого русского поэта XX века, он частью повторил то, что ранее писал в своем очерке о крайне одинокой фигуре в русской поэзии, каким представлялся ему и каким в действительности был Мандельштам. Еврей, поэт жил в столице Российской империи, где господствующей религией было православие. И религия, и политическая структура этой империи были унаследованы от Византии. Вследствие этого Петербург, чужой и близкий до слез, стал для поэта эсхатологическим убежищем. Это определило у него и особое чувство времени. В категориях самого поэта, "шум времени". Строго говоря, не Мандельштам выражал время, а время выражало себя через Мандельштама. Петербург, в архитектуре которого классицизм нашел свое непреходящее, свое каменное выражение, был для Мандельштама российской Александрией. Сквозь контуры города проступала античная Эллада, куда поэт убегал в метрику Гомера, в александрийский стих — "Бессонница. Гомер. Тугие паруса..." — где, по-язычески живучий, он брал верх над своим

отчаянием, над одиночеством, которое никогда не оставляло его. При всем этом он всегда, подобно Одиссею, был "пространством и временем полный". Греция была для него вечна, как и Рим, как библейская Иудея и христианство. Средиземноморье, в генетической памяти этого эллина, иудея, римлянина, было родным домом. А дома, с постоянным адресом, который после Октября, в сталинской России, полагался всякому советскому гражданину с паспортом, у Мандельштама никогда, за вычетом считанных недель, не было. Он оставался сиротой эпохи, "бездомным во всесоюзном масштабе".

Неподалеку от меня, ближе к двери, прозвучала произнесенная с английским акцентом строка: "На Васильевский остров я приду умирать". Было впечатление, Бродский услышал свою строку, круто вскинул голову и тут же торопливо, как будто спешил сам себя поправить, горячо заговорил:

— Мандельштам, да, был талантливый поэт. Но в России было много талантливых поэтов. XIX век: Баратынский, Вяземский, Пушкин, Катенин, а еще раньше Державин, Кантемир, Херасков. Моими учителями были Цветаева, Пастернак, Ахматова, Гумилев, Ходасевич, Заболоцкий, Кузмин, Клюев, Маяковский, да-да, Маяковский, и конечно, Мандельштам.

Аудитория напомнила:

— Вы говорили о Мандельштаме, что считаете его самым большим русским поэтом века.

— Я говорил? — пожал плечами Бродский. — Да, наверное, говорил. Но первый русский поэт века — Цветаева.

В своей нобелевской лекции он назвал пять поэтов — первым Мандельштама, за ним Цветаеву — тех, чье творчество и чьи судьбы ему дороги, ибо, не будь их, он, как человек и как писатель, по его словам, стоил бы немногого. В конце лекции, поминая заслуги поколения, частью погребенного в могилах сталинского архипелага, он опять назвал Мандельштама: "И тот факт, что я стою здесь сегодня, есть признание заслуг этого поколения перед культурой; вспоминая Мандельштама, я бы добавил — перед мировой культурой".

Поколение Мандельштама передало эстафету мировой культуры поэту Иосифу Бродскому. До конца века оставалось тринадцать годов.

— Кого из прозаиков...

Бродский не дослушал:

— Моя фанаберия — поэзия.

— Но все-таки, кого вы считаете самым крупным в русской послеоктябрьской прозе?

Бродский задумался, с разных сторон шли подсказки: Булгаков, Платонов, Бабель, Зощенко...

— Добычин, — быстро произнес Бродский. — Леонид Добычин.

Аудитория Добычина не знала. Переспрашивали с недоумением, друг у друга: "Добычин? Леонид Добычин?".

Оказалось, автор романа "Город Эн", сотня страниц, и двух книжек рассказов. По оценке Бродского, роман гоголевской силы, название из "Мертвых душ". Чичиков приезжал в губернский город NN. У Леонида Добычина — город Эн. Провинциальная жизнь. Все происходит, как всегда в русской провинции, точнее, ничего не происходит. Впрочем, произошла революция. У Добычина обостренное чувство семантики. Да, прустовское внимание к мелочи: мелочь перерастает по своему значению главное. Сильна джойсовская нота: сквозь долгое назойливое бормотание прорывается внятное слово. Добычин дружил с обэриутами, но их манифеста — "Смотрите на предмет голыми глазами!" — не разделял. Обэриуты — такое литературное течение в Питере. 20-е годы. Слависты знают. Добычин стоял особняком. Литераторы его боялись. Прозу Бабеля считал "парфюмерной". Да, среди обэриутов был поэт Даниил Хармс. Своеобычный. Увлекался английской поэзией. В сорок первом был арестован в блокадном Ленинграде. Помер в Сибири, в тюремной больнице. Теперь стихи Хармса в домашней библиотеке у каждого школьника.

Даниила Хармса аудитория знала. Знала и то, что английских поэтов Хармс читал в оригинале. Сохранилась тетрадь поэта с переписанными от руки стихами Блейка, Кэрролла, Киплинга, Милна.

Вспомнив английских поэтов, заговорили об английских стихах Бродского: русский поэт, почему он стал писать английские стихи?

Бродский сказал: всякий культурный человек, во всяком случае, человек, который считает себя культурным, должен пользоваться, по крайней мере, двумя языками. Тем более в его оказии, поскольку он принадлежит к двум культурам.

Культурно-лингвистическое двуязычие поэта публичный статус получило уже ранее. У всех на памяти была нобелевская лекция Бродского, где он говорил, что волею судеб принадлежит к двум культурам. О современниках и собратьях по перу в обеих этих культурах, о поэтах и прозаиках, он объявил урби эт орби, что их дарования ценит выше своего. Более того, выразил уверенность, что, окажись эти поэты и прозаики на его месте, они сказали бы миру больше, чем мог сказать он.

Эти слова поэта — существа, у которого скромность, состязаясь с гор-

дыней, не всегда, как известно, выходит вперед — тем больше имели весу, что сорвались не с кондачка, а были, прежде чем оказались произнесенными вслух, занесены на лист бумаги, где подверглись самому взыскательному досмотру.

Собственно, тема была исчерпана, и человек из аудитории, затеявший разговор об английских стихах Бродского, подтвердил, что в этом пункте все ясно, а теперь он хочет задать поэту другой вопрос:

— Зачем вы печатали свои английские стихи?

Не сам вопрос, но тон, каким были произнесены слова, казалось, оставил место только для немой паузы, которая сохранялась до тех пор, пока не заговорил Бродский. Ну, сказал он, всякий поэт, конечно, пишет в первую очередь для себя, но, понятно, хочет, чтобы стихи его знала публика. Он сам готов присоединиться к тем, кто видит в этом слабость, суетность. Но такова природа сочинителей стихов.

— Но ваши английские стихи — плохие стихи. Вы понимали, — спросил человек, — что ваши английские стихи — плохие стихи?

Бродский ответил, да, они уступают русским стихам, но и русские стихи его не все равны по качеству.

— Значит, вы понимали, — стоял на своем человек, — что ваши английские стихи — плохие стихи. И все-таки публиковали их, хотя знали, что такие стихи английского автора никто не стал бы печатать.

Бродский сказал, да, возможно, так; видно было, что мысль свою он не закончил, обдумывает продолжение...

— Значит, — не стал ждать продолжения человек из аудитории, — вы воспользовались своим доступом к средствам печати и публиковали то, что заведомо публиковать нельзя было.

Бродский сказал: когда русский поэт пишет английские стихи, пусть издатели сами решают, что заведомо можно и чего заведомо нельзя.

Несомненно, в этом был свой резон. В других обстоятельствах, когда дело касалось не собственных его сочинений, Бродский выступал на ролях то званого, то незваного советчика американских издателей. Но разумеется, последнее слово во всех этих случаях оставалось за издателем.

Валентина ГОЛУБОВСКАЯ

Мраморы Каррары



"Сидим у компьютера с Люсиком Межбергом, читаем тебя, читаем всякие штуки. Говорим до умоотказа.

Люсик чудный художник и все остальное тоже. Милая Одесса! Действительно, особый город. Обнимаю, Эвелина", — вот такое письмо из Милана...

Действительно, особый город — Одесса! Не мною первой было и не мною последней будет замечена эта благословенная способность одесской земли, одесского воздуха, одесского солнца и моря, зелени листвы весной и красных листьев дикого винограда осенью, словом, всего, что "блещет югом и пестреет разнообразностью живой", чтобы рождать и пестовать таланты, а потом щедро дарить их всему миру, распространять одесские "семена и побеги" по всему земному шару.

Строчки из миланского письма еще раз об этом напомнили.

Люсик Межберг более тридцати лет назад уехал из Одессы известным и любимым многими художником — расставание с ним было печальным...

В самом конце пятидесятых годов — первая персональная выставка Люсика Межберга на Большой Арнаутской (тогдашней Чкалова) угол Белинского — в доме художников, в маленьком выставочном зале). В политическом климате — "оттепель". А на картинах Люсика — воздушных, залитых светом, солнцем, впитавших уроки импрессионистов и южнорусской школы, — вибрирует, трепещет, переливается сочными мазками, тончайшими цветовыми нюансами одесская весна, одесское лето!

Я еще только вынашивала мечту об искусствоведении, пропадала в кабинете искусств библиотеки Горького, зачитывалась "Французскими тетрадями" И. Эренбурга, всей доступной тогда литературой об импрессионистах, дружила с художниками и архитекторами, и тут — выставка Межберга!

Наверное, от молодости и восхищения, переполнявшего меня, я решилась на первое "искусствоведческое" выступление в своей жизни. Так что могу считать и Люсика Межберга одним из своих "крестных отцов".

Через год я поступлю в Ленинградский университет, и во время первых зимних каникул Женя Голубовский поведет меня в гости к Люсику Межбергу — на Полицейскую — Розы Люксембург — Бунина. (Люсик жил по соседству с доктором Циклисом, и я, естественно, тогда не догадывалась, что вскоре и этот дом, и внучка Ильи Ефимовича Эдда войдут в нашу жизнь.)

В маленькой комнате на мольберте стоял большой холст, над которым Люсик тогда работал. Это была "Девочка с ананасами", которую в том же году он подарит нам с Женей на свадьбу. Так более сорока лет мы живем, не разлучаясь с "Девочкой" Люсика Межберга...

Люсик был так же осиян каким-то внутренним светом, как и его холсты. Менялись мастерские, квартиры, но где бы ни обитал Люсик, мы были непременными его гостями, да и не только мы. Повести, показать работы Межберга приехавшим в гости москвичам, ленинградцам — было священным ритуалом. Мы заглядывали в глаза приезжим, начинают ли они светиться от живописи нашего друга? И нехотя покидали мастерскую счастливыми оттого, что смогли подарить встречу с художником и его живописью "иноземцам".

Сколько смешных, трогательных эпизодов, связанных с Люсиком, хранит память!

...Я подхожу к остановке четвертого трамвая на углу Успенской и Преображенской, чтобы ехать к Ксаночке Добролюбской. На остановке стоят два друга — Люсик Межберг и Алик Суконик. Объятия, радостные восклицания, как будто мы не виделись несколько месяцев!

— Ты куда?

— К Ксаночке!

— Поехали с нами — "Черноморец" играет!

О, этот азарт одесских болельщиков "Черноморца" тех лет! Люсик был страстным болельщиком, и в письмах "оттуда", не уставая, спрашивал о счете, о победах и поражениях любимой команды.

...Наша общая подруга Женя Беркович снимает квартиру у Фриды — вдовы репрессированного украинского писателя Леся Гомина. Более чем скромная, даже по советским меркам, обстановка однокомнатной квартирки на Островидова. (Мы все тогда еще живем рядом друг с другом.) Единственно, чем она выделяется от многочисленных подобных ей квар-

тир, прижизненным портретом писателя, любовно и самоотверженно сохраненным Фридой, которая большую часть времени проводит в Казахстане, где со времен ссылки осталась ее и Леся Гомина дочь.

Большой компанией — за столом, на диване, на полу — мы сидим во Фридиной комнате в гостях у Жени Беркович. Люсик в ударе — искрометный юмор, ирония — вызывают соответствующую реакцию у присутствующих, тоже, нужно сказать, за словом в карман не лезущих. Смех заполняет тесное пространство комнаты. За всем этим с портрета сурово наблюдает писатель. Люсик в какой-то момент оглядывается на портрет и говорит: "А в кімнаті стояв великий гомін!".

Мы встречаем Новый год у Алика Суконика. Утром выходим на улицу всей компанией, и Люсик говорит: "Давайте пойдем на Главпочтамт, вдруг мы получим письма до востребования?!". И хоть все понимают, что писем никому не будет, но мы идем Садовую и по очереди выясняем, нет ли письма. Просто хотелось продлить очарование новогодней ночи, первого новогоднего утра, не хотелось расставаться... Хоть до настоящего расставания было еще далеко.

А оно приближалось, но мы об этом тогда еще и не знали, и не ведали.

Еще один Новый год в последней одесской квартире Люсика на Торговой. Был устроен маскарад. Люсик преобразился в Хроноса — на его торсе, подвешенный к поясу, болтался маятник. Было весело, и мы еще не догадывались, что этот шутовской маятник по-своему уже отсчитывает час, приближает расставанье. Вскоре художник уехал...

Какие-то пустячные вроде бы эпизоды припоминаются, но, как говаривала Ксана Добролюбская, "Пустячок, а приятно". Вспомнить, — добавлю я от себя.

Межберг приехал в Одессу почти через тридцать лет после отъезда. Аня Голубовская в галерее "Либерти" устроила выставку из тех работ художника, которые еще оставались в Одессе, в частных коллекциях. (Нужно сказать, что Люсик был необыкновенно щедрым, он постоянно дарил свои работы друзьям. А у Суконикова им была расписана целая стена с милыми приметами одесского быта — примусом, сковородками, скумбрией-качалочкой, табуретками, о чем теперь вспоминается с нежностью и грустью. Вряд ли эта роспись сохранилась, вытесненная каким-нибудь евроремонтом... Многие, уезжая, забирали картины Межберга с собой. К счастью, все-таки на выставку еще хватило работ, оставшихся в Одессе.) Это была встреча! Как радовались хоть на короткое время возвращению Люсика до отказа заполнившие галерею художники, друзья и знакомые.

Сколько объятий, слез, поцелуев, воспоминаний! И все это в пространстве прекрасной живописи Межберга!

Люсик был не только щедрым, но и очень преданным человеком. Таким и остался. Второй раз он приехал в Одессу на выставку Дины Михайловны Фруминой, своей любимой учительницы.

И вот это письмо из Милана от Эвелины Шац о встрече с Люсиком Межбергом, с которым они были знакомы в юности.

Эта одесская юность, настоянная на запахах моря, акаций, на легких летних дождях, сквозь прозрачные косые линии которых выглядывает солнце, юность с терпким вкусом богемности, с легким одесским вином, со стихами, с романами Ремарка и Хемингуэя, с долгими прогулками от Ланжерона до Аркадии, а то и до Фонтана, медленными проходами под густыми кленами Французского бульвара, с ночными заплывами в фосфоресцирующей воде до буйка и дальше, с талантливой живописью, с сумасшедшими влюбленностями, с танцами и сердцебиением, кружащейся головой от пьянящей близости партнерши. "Запах женщины"! Как недавно и как давно это было...

Жизнь, казалось, развела навсегда.

Эвелина Шац училась в Московском университете, приезжала в Одессу, где оставалась мама и друзья, потом уехала в Италию.

Кажется, Константин Батюшков, "оплакавший Тасса", был первым из русских поэтов, для которых Италия стала манящей и желанной... Что уж говорить о Пушкине, Баратынском — и так до Мандельштама и Иосифа Бродского. Для Эвелины Италия стала Судьбой.

Стремительно и отважно (ведь сказал кто-то: "Жизнь требует усилья и отваги!") вошла в итальянскую культуру стихами, рукотворными книгами, переводами, эссеистикой, театральными проектами. С горбачевских времен, может, неожиданно даже для себя она начала писать стихи по-русски, вернулась в простор русской речи своими книгами. Как и в Италии, в Москве проходят выставки ее книг, работ, в концертах звучат ее стихи, музыку к которым пишут итальянские и русские композиторы. Москва откликнулась на ее творчество монографией "Археология поэта. Словарь поэтических образов Эвелины Шац", написанной тремя авторами, преданными науке, поэзии и Эвелине, — Аллой Голованової, Верой Калмыковой и Геннадием Кулакиным.

И, наконец, третий приезд Межберга в Одессу этим летом — с выставкой своих акварелей. Все, кто побывал в галерее "Мост" на этой выставке — друзья, художники, любители живописи, — увидели и что-то пронзи-

тельно знакомое, вернувшее в далекую юность, и новое — безупречное мастерство художника. Не случайно же в одной из своих статей Михаил Шемякин, стилистика которого никак не похожа на трепетную и сокровенную живопись Люсика, Михаил Шемякин, кажется, не слишком щедрый на похвалы, назвал Льва Межберга "лучшим колористом в современной мировой живописи".

В этих акварелях переплелись итальянские мотивы — жанровые сцены, музыка, великая архитектура. Кажется, Лев Межберг может, как и Микеланджело, назвать одну из самых волшебных церквей Флоренции — Санта Мария Новелла — "своей невестой". А рядом с итальянскими сюжетами — живописные воспоминания об Одессе, о древнем Аккермане. Собранные вместе, они звучат в унисон, эти две мелодии средиземноморской культуры.

Люсик создал цикл работ, посвященных Учителям, тем, кто не только стал олицетворением лучшего в южнорусской школе, кто соединил в ней французскую утонченность и одесскую колористическую чувственность, но и воспитал поколения художников одесской школы. Это Теофил Борисович Фраерман, Владимир Михайлович Синицкий, Николай Андреевич Шелюто и Дина Михайловна Фрумина, успевшая еще посмотреть эту выставку своего любимого ученика, перед тем как уйти навсегда...

Одесса подарила культуре среди многих других и эти два таланта — Люсика Межберга и Эвелины Щац.

Через много лет они вновь встретились в Италии.

И сделали книгу — стихов Эвелины и рисунков Люсика.

...Их объединяет память об Одессе.

...Их объединяет причастность и служение высокой культуре.

...Их объединяет "Востока незваная власть" — вторая книга итальянских стихов Эвелины, вышедшая в Милане в 1986 году, называлась "Самарканд, или Книга церемоний", а у Люсика была ослепительная "Самаркандская серия" живописи и графики.

...Их объединяет любовь к музыке, которой пронизано творчество обоих. Не могу судить о жизни на Западе, но одесская консерватория была для Люсика вторым домом. Для Эвелины же вторым домом в Милане стала "Ла Скала".

...Их объединяет любовь к Иосифу Бродскому. Уже много написано о том, как Бродский снимался на Одесской киностудии в фильме "Поезд в далекий август", как киевские власти велели вырезать все отснятые эпизоды с участием опального поэта. Будущий Нобелевский лауреат жил тогда в Одессе в мастерской Люсика Межберга...

Эвелина живет в Милане и подолгу бывает в Москве.

Люсик Межберг (это для Запада он Лев или даже Лео Межберг, для нас он так и остался Люсиком, как для нас Эвелина осталась Линой) живет теперь в Карраре.

...Много лет подряд, рассказывая своим студентам о Микеланджело, я упоминала Каррару, где в течение года отбирал знаменитый мрамор для так и оставшегося не осуществленным грандиозного проекта гробницы папы Юлия Второго великий Буонаротти. Я произносила "Каррара", а память выталкивала строки Марины Цветаевой "После мраморов Каррары как живется вам с трухой гипсовой...". Но у меня нет повода к яростному цветаевскому противопоставлению.

У меня были и остались мои "Мраморы Каррары". И среди них Эвелина Шац и Люсик Межберг, одесситка и одессит, нашедшие вновь друг друга в Италии, в окружении волшебных мраморов Каррары...



Ирина ТИМОХОВА

Памяти Станислава Сычева



Легенда одесского андеграунда Станислав Сычев ушел из жизни 2 года назад. Ушел внезапно и незамечено, ушел в мучительных поисках и раздумьях, так и не раскрыв себя всего. Его судьба была типичной для художников-шестидесятников. Вспомните тернистые пути С. Довлатова, В. Высоцкого, М. Шемякина и многих других жрецов и мучеников искусства, которых государство обрекало на безвестность. Но, как считал С. Довлатов, "Талант как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать".

Искусство Станислава Сычева изредка прорывалось на выставки, но широкому зрителю не было известно. Уверена, что все, кто будет обращаться к жизни и творчеству Станислава Сычева, не избегнут слова *легенда*. Герой одесской богемы, творческий магнит, пленник женской красоты — это все Сычев. Его ближайшее окружение дает весьма противоречивые сведения о нем, тем самым подтверждая многомерность его личности. Как писал Гете: "Чтобы что-то создать, надо чем-то быть". И вот у нас на глазах его фигура двоится, троится и заворачивается в звездный плащ заново творимой репутации.

В 60-е годы Станислав, сын работника сельского хозяйства, не имеющий за плечами никакой художественной подготовки, становится ярчайшей звездой "Грековки". На традиционных обходах в училище все бежали смотреть на работы трех знаменитостей: Сычика (прозвище Сычева), Коки (Николая Лебединского) и Эдика Павлова. Сычев первым из своих однокашников открыл творчество Густава Климта и Эгона Шелли, представителей Венского Сецессиона. На то время стиль модерн в училище был запрещен, его считали декаденством. "Сецессион" — от лат. *seccessio*, "*отделение*", "*уход*". Все это говорило о нежелании молодого художника идти

в академическом русле. От Климта в работах Сычева появится культ красоты как высшей истины, филигранная отточенность рисунка и условное пространство, напоминающее клубящиеся облака, из которого проступают женские фигуры, лица.

Линия его судьбы столь же извилиста, как и линия модерна. В дальнейшем Сычев пройдет через увлечение импрессионизмом, модерном, Востоком, "суровым стилем". Учился Сычев у выдающейся художницы Дины Михайловны Фруминой, воспитавшей плеяду замечательных художников: Л. Межберга, И. Островского, А. Фрейдина, Н. Степанова, А. Басанца. "Он всегда был талантлив и всегда это знал", — говорила о Сычеве Фрумина, отмечая его особое чутье на цвет и свет. Дина Михайловна была для него много больше, чем просто учитель. В студенческие годы он так увлекся Востоком, что махнул по следам Фруминой в Самарканд.

Там, на Востоке, он найдет свой путь, откроет свой мир. Древние мечети и строения Самарканда, жанровые зарисовки дремотной жизни провинциальных местечек под ослепительным солнцем, где в тени развесистой чинары можно отдохнуть от жары, — все это можно увидеть в работах Сычева тех лет и еще почувствовать со всей очевидностью, как ему там было хорошо. Позже, на встречах с друзьями, он будет с мечтательным выражением на лице вспоминать и петушиные бои, и чайхану, где можно было побаловаться чайком, и тот восторг и почтение, с каким воспринял Восток самого Сычева, найдя у него явное сходство с родовитым потомком Чингисхана. Результатом его восточной экспедиции были не только многочисленные работы, но и похищенная им красавица-кореянка, ставшая его женой и музой.

Начало художественной деятельности Сычева совпало с годами общественного андеграунда 60-70-х годов. Непросто было молодым художникам входить в самостоятельную жизнь, самовыражаться, испытывая пристальный взгляд "генералов порядка". Если какой-либо художник нарушал канон соцреализма, что-то подчеркивал больше, чем нужно, его обвиняли в формализме. Самые яркие дарования одесской школы, такие как О. Соколов, А. Ануфриев, В. Стрельников, В. Хрущ, Л. Ястреб, В. Маринюк, И. Божко, С. Сычев отвергались Союзом художников, их искусство становилось как бы частным делом.

Тогда в кругах творческой интеллигенции стала формироваться мощная оппозиция официальному искусству — полуофициальные квартирные выставки. В Одессе было несколько адресов: по улице Осиновой, 9, в коммунальной квартире, где жил А. Ануфриев, в Строительном переул-

ке, где жил и работал Олег Соколов. Участников квартирных выставок объявляли идеологическими диверсантами, за ними пристально следил КГБ. "Мы привыкли к тому, что сейчас художнику все можно. Тогда было нельзя. Нас за простые натюрморты бросали в психушки или отправляли в отдаленные места", — вспоминает Михаил Шемякин, которого власти вынудили покинуть страну.

В 1971 году в Союзе художников состоялась выставка четырех — С. Сычева, А. Лопатникова, Л. Дульфана, В. Стрельникова; через три дня ее громко закрыло опомнившееся правление.

Легендой истории одесского андеграунда стала другая "бульдозерная выставка" с участием Сычева и его друга Валентина Хруща. Они развесили отвергнутые выставкомом свои работы на заборе в Пале-Рояле, у оперного театра, написав на заборе мелом "Сычик + Хрущик". Эта авангардная акция, по воспоминаниям самих участников, возникла спонтанно и была продиктована единственным желанием, чтобы картины увидел зритель. Через некоторое время эта история одесского андеграунда обрастет мифологическими подробностями: как часовые на посту, авторы несли вахту у своих работ, но через несколько часов наряд милиции все ликвидировал, а "возмутители спокойствия" были доставлены в отделение.



В личном плане Сычев всегда мстил своему времени и стражам порядка. После веселой пирушки, когда ветер гулял в карманах и не на что было добраться домой, он чуть ли не голышом вбегал в Жовтневое отделение милиции, устраивал там дебош. Его тут же на милицейской машине доставляли в районный вытрезвитель по месту жительства, который находился рядом с домом. Художник использовал милицию как бесплатное средство передвижения. Через некоторое время обман раскрылся, и менты уже не "велись" на его спектакль.

На одной из работ Сычева той поры представлена голая равнина, сплошь утыканная советскими флагами. Эти флаги в землю втыкают безликие (один как все, все как один) строители социализма, нелепые, как и время, и страна, в которой они живут. Облику рядового Homo sovieticus (советского человека) Сычев никак не соответствовал, ведь талант всегда нарушает равенство.

Бар "Красный" — стилистика жизни одесской богемы, "место встречи друзей и поэтов". На сборищах богема была талантливой, и это сказывалось во всем: в потоке стихов и острых эстетических споров, в бесконечных выдумках и импровизациях. У Сычева в баре было свое тронное место в углу. Многие помнят его статную фигуру (более 100 кг мужской красоты), седые волосы до плеч. Он привлекал внимание всем: выразительной внешностью, манерой смотреть, говорить, двигаться. Его магнетический взгляд буквально завораживал, проникал в душу. Он отрастил бороду и усы; побелевшие с возрастом, они сделали его слегка похожим на Хемингуэя, которого Сычев боготворил. На сходстве Сычева с Хемингуэем настаивала вся женская половина его знакомых.

"Что мешает писателю? Выпивка, женщины, деньги и честолюбие. А также отсутствие выпивки, женщин, денег и честолюбия", — повторял слова своего кумира Сычев. Как Хэмингуэй, он считал, что недопитая бутылка шампанского — враг рода человеческого. Его эксцентричные выходки не способствовали укреплению семейных уз. У этого легендарного мачо часто менялись спутницы жизни, распадались семьи. Он игнорировал условности, не признавал костюма, верил в свою мужскую силу, в свой талант и в то, что он подмечал, любил, желал. До женской красоты был он очень чуткий.

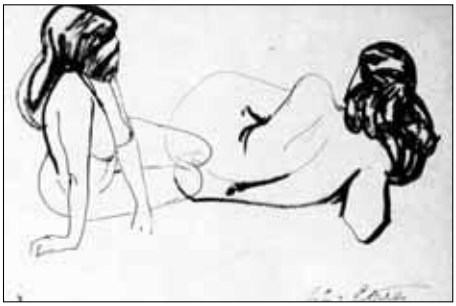
Поэт и друг Сычева Игорь Павлов вспоминает, что по своему темпераменту Сычик был типичный флегматик, который волнующие истории мог рассказывать бесстрастно, но таящийся внутри него вулкан давал о себе знать, когда речь заходила о творчестве. Он рьяно спорил о том, кто

больше знает и передает оттенков цвета. Сам же говорил о 60 оттенках серого в своих работах. Так за рюмочкой и бесконечными спорами он засиживался в баре допоздна. Когда он работал? Когда ел и спал? Никто не мог понять. Вроде бы ничего не читал, а на самом деле все знал. Давал точную, на уровне "абсолютного слуха", оценку всем сколько-нибудь заметным явлениям искусства — помогала интуиция мастера. Заслуженный художник Украины Н. Вылкун называл Сычева "глыбой", "гуру", который был интересен молодежи как художник и как личность.

Такие посиделки в баре заманивали художников, которые были рады хоть как-то скрасить гнетущую нищету своих мастерских. Сычев всю жизнь прожил в частном доме, построенном отцом. Высокий чердак дома был превращен им в мастерскую. Там он осуществлял замыслы, хранил эскизы, инструменты. Стиль его жизни наложил особый отпечаток на образ мастерской: художнический беспорядок был ей присущ, но природа, свежий воздух, шум моря были за окном... Он жил на поселке Котовского, на отшибе, и отправляясь в бар гостиницы "Красная", оказывался в центре города, а также в центре всех новостей и событий. Атмосфера там была свободной и чарующей. В братстве компанейского веселья и щемящей меланхолии отчуждения проходило его время.

Из окружавших его товарищей, пожалуй, только Слава Сычев мечтал о славе, но не хотел ничего делать, чтобы ее приблизить. Сотрудники Музея западного и восточного искусства Вениамин Млынчик и Олег Соколов способствовали тому, чтобы в 1989 году состоялась первая персональная выставка Сычева. Поэт И. Павлов насильно затащил Сычева в Интерсалон, который способствовал продаже его работ. Сам же художник никуда не ходил, никого не просил — он просто работал, не заботясь о продаже, игнорируя заказы, называя доллары "плесенью". Его дух оставался свободным, но жизнь, как и у Валентина Хруща, оборачивалась скромным достатком, стесненными условиями быта. Он почти не выставлялся. Он уходил с поверхности художественной жизни в глубину чисто профессиональных задач, но его работы пользовались неизменным успехом, их покупали. Значительная их часть оказалась в Англии. В 70-е и 80-е годы его имя стало появляться в иностранных каталогах и выставочных экспозициях.

Творчество С. Сычева фантастически автобиографично. Это дневник его жизни, цепь художественных взлетов и падений, любовных страданий, непрекращающегося одиночества среди людей, алкоголя. В его судьбе, словно в странном зеркале, чудится призрак судьбы А. Модильяни, Юлиуса Паскина, трагических фигур, "героев" богемы Парижской шко-



лы. Может быть, это сходство проявляется во внезапных переходах от замкнутости и молчаливости, от сосредоточенной работы к разгулу? В его искусстве было много кипящих страстей и того одиночества, которое предназначается избранникам, которые пытаются казаться себе и другим веселыми и беззаботными в мире жестоком. Но будь он иным — не сумел бы оставить такого художественного наследства, которое важнее печальных подробностей его жизни.

Пресыщаясь чувством, Сычев выплескивал его на холсты потоком света своей любви. Его живопись энергичная и темпераментная, в ней нет рассудочности и зашифрованности. Временами она кажется даже избыточно распахнутой.

Он словно выводит свои модели в пространство собственного искусства, где все подчинено ритуалу преображения чувством. Он без конца пишет женские образы, наделяя их то романтической мягкостью, то выразительной эмоциональностью, применяя стиль эскиза в рисунке человеческой фигуры. Его рисунок стремительный и мгновенный, скорее намекающий, чем завершающий.

Многие его работы появлялись в пору пылкого романа. Лежащая на кушетке брюнетка, длинноволосая красавица, словно радуга, соединяющая своей фигурой землю и небо, гордая римлянка, чувственная одалиска, нежная муза, прекрасная дама Средневековья и наша современница... Художественная форма появляется в той художественной зависимости и необходимости, какую требует в каждом отдельном случае образ. Очевидна "портретность" тел, словно парящих в плоскости картины. Лица героинь художник не конкретизировал. И в реальной жизни свои мужские победы Сычев с друзьями никогда не обсуждал. Своих героинь Сычев мог писать по воображению и с натуры. Молоденьких девушек частенько заставали в его мастерской друзья в последние годы жизни, очень скоро те появлялись и на его полотнах.

Работы Сычева — это музыка любви. Его цвета поют. В работах циркулирует воздух, мазок перехватывает блики солнца, безостановочно неустойчивые, как воды реки. Женская фигура словно экран, состоящий из

красочных мазков — бледно-голубых, розовых, зеленых и желтых тонов, делающих картину удивительно гармоничной и изящной.

Для художника осязание было, без сомнения, наиболее важным чувством. Его кисть стремительно летит, блуждает или мечется по холсту, позволяя видеть горячечный поиск нужной формы. От интимного наброска ню до внимательной зарисовки — все это поиски вечной женственности. Есть в этих работах тот самый элемент *non finito*, который обеспечивает жизнеспособность произведений искусства, позволяя каждый раз открывать новое. В лучших работах Сычева ему удавалось овладеть самым сложным и почти невозможным: согласовывать форму и цвет, находить контур счастья, формы веры и надежды.

Где сейчас можно увидеть работы маэстро? Непременно нужно заглянуть в галерею "Мост", к Т. Шигаревой. Мы предлагаем вам обязательно прийти на выставку в Музее западного и восточного искусства (Пушкинская, 9), которая явится новогодним подарком. 40 живописных работ из коллекции Владимира Хандроса вызывают даже у искушенного профессионала простодушное восхищение. "Трудно жить после смерти. Иногда для этого необходима вся жизнь", — справедливо заметил Г.Х. Андерсен. Станислав Сычев продолжает жить в своих работах, они призваны быть посредником в его отношениях с миром. Они ждут встречи.

Ольга БАРКОВСКАЯ

"Красок дым волнующий и тонкий..."
О Сигизмунде Олесевиче



"...г. Олесевич – это несомненный художник, обладающий резким темпераментом. В его исканиях формы иногда чувствуется щегольство и варварство манеры, проницательность и пренебрежение, беспощадность, ирония и, быть может, столкновение любви и ненависти.

Любит он couleurs d'oubli [цвет забытья], увлекается Ван Донгеном, Пикассо, Ле Фоконье, есть близость к Кончаловскому и Машкову, но его самого, г. Олесевича, нетрудно отличить от тех, кому с ним по пути".

Николай Скроцкий
(Одес. листок. 1916. 12 нояб.)

Сигизмунд Станиславович Олесевич — один из наиболее интересных и неразгаданных одесских художников начала XX века. Был известен как живописец и журнальный график, входил в ядро Общества независимых художников. На выставках его работы никогда не оставались незамеченными, о них писали, спорили. Молодому мастеру прочили большое будущее. А сегодня в Одессе его имя почти неизвестно, картины — в Израиле и во Франции; сохранилось ли что-то на родине — пока непонятно.

Родился Олесевич в 1891 году, рос без отца, воспитывала его мать, Мария Олесевич. В Одессу они приехали до 1898 года, жили на Торговой, 11, а позднее на Херсонской угол Петра Великого.

В областном архиве нашлось личное дело ученика Олесевича из одесского реального училища Св. Павла. В деле — всего несколько листочков. По двум заявлениям матери понятно, что он дважды поступал в училище: в 1899-м (весной 1900 выбыл "по здоровью") и осенью 1900-го. В личном деле отмечены "неблагоприятные условия домашней жизни". Ирония судьбы: по рисованию и французскому языку у будущего художника-парижанина были плохие оценки — в третьем классе из-за "хвостов" по этим предметам его оставили на второй год.

Весной 1907 года ученик шестого класса Сигизмунд Олесевич перешел в коммерческое училище Файга, где он числился до 1909 года. В эти годы в училище преподавали рисование художники Кириак Костанди и Адольф Остроменский (последний одновременно держал известную



Ева Таурская. Египетский танец

в Одессе частную рисовальную школу). Вероятнее всего, первые серьезные уроки будущему художнику дали именно они.

Уже в 1910 году Олесевич принял участие в выставке польских художников на Ланжероновской, в помещении польского общества "Огниско", и показал там три вещи — "Бальное", "Шопен" и "Снег" — о которых, к сожалению, не осталось никаких отзывов. Думается, дальше путь вел его в Париж, ибо именно оттуда были присланы семь работ на одесскую "Весеннюю выставку картин" 1914 года, где участвовали и московский "Бубновый валет", и мюнхенский "Синий всадник" во главе с В. Кандинским, и члены русской художественной колонии в Париже. Выставка была новаторской, для Одессы необычной и продолжила знакомство одесситов с последними веяниями европейского искусства — знакомство, начавшееся с нашумевших в 1909-1911 годах Салонов скульптора Владимира Издебского. Не все легко принимали отход от привычных норм. Вот как отзывался о работах Олесевича на весенней выставке критик Лев Думский: "Видели когда-нибудь, чтобы жницы работали в поле голыми? Так вот, на картине Олесевича можете полюбоваться. А дальше еще почище — картина "Торс". И так хочется повесить над нею плакат: "Отвернитесь"!.." (Маленькие одесские новости. 1914. 25 марта). Совсем другая интонация у одного из вождей нового одесского искусства Михаила Гершенфельда. В "Письме из Одессы" для столичного журнала "Аполлон" он отметил: "Лубочность его [Олесевича] картин интересно сочетается с приемами кубизма, со скошенностью и обрубленностью форм" (1914. № 5).

Непонятно, когда именно после начала I мировой войны Олесевич вернулся в Россию. До 1916 года его имя на страницах одесской прессы не упоминалось. Однако осенью 1916-го — он в Одессе, участвует в выставке картин авангардно настроенной молодежи (будущих "независимых"). И сразу обращает на себя внимание критиков не только количеством выставленных работ (их по каталогу 18), но и их уровнем. Вот отзыв Марии Симонович: "Чутко отражают изменчивую моду дня работы Олесевича.



Георгий Шебуев

Отзвуки "кубизма" и "лучизма" чередуются в них с японск. влияниями, иные вещи написаны в нарочитой наивности провинциальных вывесок, столь излюбленной "Бубновым валетом". Все его произведения производят несколько двойственное впечатление. В первый момент они отчуждают вычурностью своей фактуры. Но стоит подойти к ним поближе, вглядеться в них, и находишь иные, острые акценты в характеристике лиц, неожиданную убедительность и смелость выражения. [...] Очень неровны и его живописные достижения — в иных полотнах его краски грузны и материальны, моментами прорываются созвучия темпераментные и сильные (в его "Автопортрете" хотя бы). Цельней и законченней маленькие рисунки. Приемы, еще недостаточно созревшие для крупных композиций, применены здесь не в пример удачней. Самая причудливость манеры является новым приемом выразительности, создает стиль" (Одесские новости. 1916. 10 ноября). Отметил работы молодого художника и М. Гершенфельд в очередном обзоре для столичного "Аполлона": "С. Олесевича занимают реальности жизни, ее обнаженный материализм. Он различно воплощает ее, то в формах кубизма, то в стиле лубка. И в его портретах, и в сценах из быта парижских бульваров, в известной степени парадоксальных, несомненно, уловлен нерв современности; в особенности же удачны рисунки, чистый графизм которых позволяет легче схватить тайну их замысла; самый выразительный из них, пожалуй, японизированный портрет А. Каменского" (Аполлон. 1917. № 2-3).

В 1917 году Олесевич начал сотрудничать с сатирическим журналом "Бомба", где публиковались рисунки и карикатуры Сандро Фазини, Всеволода Никулина, Бориса Антоновского, Михаила Линского, Федора Сегаля, Юрия Олеши и др. Работы Олесевича, очень узнаваемые, выполненные в характерной острой, экспрессивной манере, появлялись, иногда по нескольку сразу, почти в каждом номере, вплоть до закрытия журнала в 1919 году. Подписывались они разнообразно: С. Олесевич, S. Oles., S. O., Sigismond и даже O-Sadao-San. Сегодня эти рисунки — основная часть известного нам графического наследия художника.

Осенью 1917-го на первой официальной выставке Общества независимых художников Олесевич показал 10 картин маслом, акварели и рисунки тушью. Критики пребывали в некоторой растерянности: "В работах местных кубистов: Олесевича, Фазини и Мексина — мало нового и понятного. Неудачное кривляние и перепевы петроградских и московских кубистов". (И. Златогоров, Южная мысль. 1917. 23 дек.); "Возьмем для примера портрет поэта С. [по каталогу — "Поэт П. Ставропуло"] работы г. Олесевича. Мы видим, буквально, негативный фотографический снимок большого формата. С таким же успехом портрет может быть назван портретом коммерсанта Игрека либо портретом политического деятеля Икса. Даже близкие друзья не смогут сказать — кого этот портрет изображает. (...) Г. Олесевич интересен только как график. В графике он блестящий техник с причудливой фантазией. Большое наслаждение вызывают его тонкие, изящные, с большим вкусом сделанные рисунки. Художник за короткое время сделал в графике огромные успехи, и нетрудно предвидеть, что ему предстоит сыграть большую роль в русской графике" (С. Золотов, Одес. листок. 1917. 6 дек.).

Как многие другие художники, Олесевич пробовал себя не только в живописи. Дружба с молодыми одесскими поэтами провоцировала на литературные опыты. Короткий, но интересный эпизод в культурной жизни Одессы — еженедельник "Яблочко", три номера которого вышли в апреле-мае 1918 года, "типичное уличное издание", как отозвался о нем один из одесских критиков. "Яблочко" — юмористический бюллетень, издаваемый корпорацией студентов, руководимых лозунгом: "Живи, пока живется! Смотри на все юмористично и презирай бездарь!".

В первом номере было заявлено: "В журнале принимают участие поэты и беллетристы: С. Фазини, С. Олесевич, Продаевич и др. Художники: Эд. Багрицкий, Бор. Бобович, Юрий Олеша, Анат. Фиолетов, Леонид Тредьяков, Зинаида Шишова и др.", т. е. художники в "Яблочке" стали литераторами, а литераторы — художниками. Олесевич активно печатал откровенно пародийные опусы — "Патологический пейзаж", "Простуженная портянка", "Всегда снаружи. Хронический роман из своевременной жизни" и т. п. Художник декларировал в стиле нахальных лозунгов футуристов:

"Мой манифест не нуждается в скуке стриженых одобрений,
Не для них я ковыряюсь бдительно в оптовых складах буржуазной морали".

Роман "Всегда снаружи" (опубликовано две главы) изобилует нарочито вычурными образами и политическими намеками: "Эхо ея голоса, звонкого, как дробление стекол во время погрома"; "Чувства эти, сменявшиеся с быстротой министерских кабинетов преждевременного правительства"; "Стройная до боли геометрия поворотов перемежалась с внезапно усеченными горизонтами наканифоленной мостовой. А улицы пели невеселую песнь новобрачных сионистов под аккомпанемент самостийных автосирен"; "Простуженный замок злобно заскрежетал зубами"; "Темно-полированное дерево его профиля было покрыто волнистой полосатостью наслоений, как любят изображать одесские кубисты" и т. п.

Одно из стихотворений Олесевича, "Крепкая любовь", достаточно характерно и для нашего автора, и для "Яблочка" в целом, поэтому приведем его полностью:

...Значит, она еще любит меня, если только вчера
Подарила мне кальсоны из французского трико,
Самые голубые из всех, что водятся у Альшванга!
Но что же я могу ей спеть,
Жестоко парализованный благодарностью 1-го ранга?
Советуйте же скорее, растерянно ликующему от счастья!..
Может быть постепенно
Украсить ее бедра платонической росписью
Или сыграть ей рапсодию на телефонной трубке?..
А может описью
Давно заложенного имущества
Вызвать улыбчивость на ея греческие губки?
Но нет,
Вижу, что только сдав себя ей в аренду на месяц,
Смогу компенсировать несметные ея преимущества.

Тогда же, весной 1918 года, Олесевич вместе с друзьями Владимиром Продаевичем и Сандро Фазини организовал ателье декоративной живописи "ПОФ" — от работ этого ателье сохранилась только плохая журнальная фотография одной из фресок в фойе театра-кабаре "Ко всем чертям". В июне-августе участвовал в выставке Общества изящных искусств, которая объединила "под одной крышей представителей всех течений, доныне между собой враждовавших. (...) Особенно грустно в залах "южнорусских". (...) В залах "независимых" дышится вольнее" (из рецензии поэта и художника В. Бабаджана. — Юж. огонек. 1918. № 7). Сколько работ по-

казал на этой выставке Олесевич — сейчас уже не узнать, но названия двух сохранились в статье некоего критика Е. К.: "Переписчица" Олесевича представляет собой интересный образец куби[сти]ческого портрета. Аскетический по краскам, он выдержан в благородной серой гамме — железа и стали. Ни сама женщина, ни "ундервуд" не интересуют художника как самостоятельные предметы. Объектом его внимания служат формы из отдельных частей, взятые в произвольных поворотах, их соотношение и взаимное влияние, выявленные посредством разрывов, сдвигов и развертывания плоскостей. Своеобразна "Девушка", простая по форме и общему спокойному тону, слегка оживленному пятном рыжеватых волос. Остальные работы менее значительны" (Мол. Украйна. 1918. 26 июня).

В сентябре начала работать Свободная академия Общества независимых художников — "по программе свободных академий Парижа и Мюнхена. Предм. преподаван. Рисование и живопись с натуры. Натюрморт. Быстрые наброски с живой модели. Декоративное искусство и композиция. Анатомия. История и теория искусства. Преподаватели: художники Г.Э. Бострем, М.К. Гершенфельд, С.С. Олесевич, Н.И. Скроцкий. Лекторы (...)". Как видим, Олесевич входил в группу преподавателей практических дисциплин. Пока это единственная информация, свидетельствующая, что Олесевич пробовал себя и как преподаватель.

Поздней осенью, уже традиционно, открылась выставка независимых. На ней, если верить каталогу, Олесевичем были показаны картины "Курильщик в котелке", "Натюрморт" и три рисунка. Но внимания критиков удостоилась только первая: "Курильщик" написан твердо, крепко и, вместе с тем, пламенно", — отмечал придирчивый Натан Инбер (Одес. новости. 1918. 3 дек.); "...картины г. Олесевича (курильщик). Несмотря на утрировку и "ломание" пробивается талантливость", — это уже Игорь Златогоров из "Южной мысли" (1918. 4 дек.). "У г. Олесевича отмечу "Человека, курящего трубку", вещь кубистическую, но яркую и интересную, как и все в кубизме, немножко холодную, голодную, но знаменующую большой шаг вперед в творчестве художника. Перед нами теперь прекрасный рисовальщик и вполне убежденный и верой окрыленный носитель неспокойной художнической мысли..." (Бобович Б. Театр. день. 1918. 22 нояб./5 дек.). Кстати, похоже, что именно эта картина сейчас находится в Израиле в некогда цельной, а теперь поделенной между наследниками коллекции Я. Перемена, одесского книготорговца и мецената.

Весной и летом 1919-го, в период правления большевиков, Олесевич, как многие другие "левые" деятели искусства, пытался найти пути сотруд-

ничества с новой властью: в мае участвовал в конкурсе плакатов о Красной Армии, организованном политуправлением Одесского военного округа (и даже получил 1-ю и 2-ю премии), вместе с Теофилом Фраерманом работал в комиссии от подотдела пластических искусств по оценке и распределению художественных ценностей, реквизированных у частных лиц, был временным заведующим "музеем Руссова". Осенью власть опять сменилась, город был занят Добровольческой армией Деникина — культурная жизнь оживилась, заработали многочисленные мелкие кино- и просто театры, открылись очередные выставки "южнорусских" и "независимых". "По общим политическим причинам и старые и молодые одесские художники работали в отчетном году мало, и особенно молодые..." — отметил П. Нилус. И далее: "Все-таки несмотря ни на что, как всегда, с известным удовлетворением смотрятся гг. Гершенфельд, Олесевич (...). Очень любопытно — г. Олесевич написал портрет "по старинке", скромно и непосредственно" (Южное слово. 1920. 1(14) янв.).

В начале 1920-х Олесевич эмигрировал и поселился в Париже.

О его парижской жизни в Одессе удалось найти немногое. Так, первое упоминание об Олесевиче встретилось в июльском номере престижного французского журнала "Art et décoration" за 1925 год, где опубликована фотография стенной росписи, сделанной художником в павильоне "Primavera" большого парижского магазина эстампов. В начале 1930-х на страницах. "Art et décoration" можно найти репродукции работ Олесевича, отзывы о них, иллюстрации к детским книгам — и даже сообщение о персональной выставке акварели в галерее "Quatre Chemins" в 1931 году. Из этих отрывочных сведений понятно было одно — начинался его парижский период значительно удачнее, чем у большинства его коллег, избравших тот же трудный путь эмиграции.



Из книги "L'art polonaise moderne"

Более подробную информацию, конечно, нужно было искать во Франции. Помог один из авторов хорошо известного специалистам и коллекционерам словаря "Художники русского зарубежья" Кирилл Васильевич Махров. Но даже ему, парижанину, это было нелегко. Дело в том, что в эмиграции Олесевич, как выяснилось, больше



Пьета

общался с польскими художниками, с ними же предпочитал выставляться. Поэтому не попал в круг интересов тех, кто изучал русскую художественную эмиграцию. К.В. Махров провел настоящее расследование и прислал самые разнообразные материалы, в т. ч. из Польской библиотеки в Париже.

Итак, в 1923 году (если не раньше!) Олесевич уже в Париже — участник Осеннего салона на Елисейских Полях. Далее: Осенний салон 1924; Салон независимых и выставка "Век XX" в Тюильри 1928; выставка в галерее Bonaparte, сопровождаемая изданием альбома "Современное польское искусство" ("L'Art polonaise moderne") 1929; выставка польских художников, работающих во Франции, 1935 (художники — участники этой выставки — члены Парижской группы польских художников, созданной в 1935 году, Олесевич входил в оргкомитет группы); выставка современного религиозного искусства в Лувре 1938. Несомненно, участие в этой последней выставке не было случайным — к примеру, в Осеннем салоне 1933 года Олесевич показал "Пьету", о которой в том же "Art et décoration" читаем: "..."Пьета" Олесевича, весьма сдержанная, не может остаться незамеченной, столько в ней ощутимой экспрессии и художественной индивидуальности" (1933. № 12. С. 358).

В апреле 1925-го состоялась первая персональная выставка, совместная с женой, художницей Барбарой Констан (наст. имя Варвара Приходько; 1895, Харьков — 1966, Париж) в галерее "Le Porique", а весной 1931 в галерее "Quatre Chemins" — выставка акварели, о которой упоминалось выше. Акварели представляли собой иллюстрации к "Трактату о Нарциссе" Андре Жида, предисловие к каталогу написал Жан Кокто: "Вот истинные обитатели Неба, Земли, Воды, Огня и Времени. Все, с кем мы соприкасаемся только в сновидениях. Те, что появляются, лишь благодаря волшебству или песне поэта. Здесь и сейчас их вызывает к жизни кисть Олесевича. Созвездия, волшебные сказки, басни, цирк — его сфера". Обозреватель "Art et décoration" высоко оценил выставку: "Акварели Олесевича, безукоризненно выполненные в традиционной технике акварели, вместе с тем не похожи ни на какие акварели, виденные ранее. К сожалению, они были обойдены критикой... Пятна-цветы, как драгоценные камни, фантас-



Титульный лист "Жанна д'Арк"

тические формы, странные облачения человеческих фигур. Из цвета постепенно проявляется форма... Идея фиксируется с помощью широких мазков, растушевки или очень мягкого карандаша — он очень сильный рисовальщик. Это как бы союз мысли художника, его бессознательной чувственности и его кисти... Результат — необычные, великолепные рисунки, где живет изменчивый мир мечты..." (1931. № 4. Chronique).

Кстати, просматривая репродукции работ Олесевича парижского периода, невольно восхищаешься прозорливостью Вениамина Бабаджана, который в рецензии 1918 года писал: "Г.г. Фазини и Олесевич — вполне зрелые художники в смысле технической подготовки. Но их кубизм — вряд ли подлинное и глубокое увлечение... Нет сомнения, что оба художника поспешат расстаться со своей манерой, как только она перестанет быть модной" (Южный огонек. 1918. № 7. С. 14).

В 1920-30-е годы Олесевич много работал как книжный график. Его оформление "Жанны д'Арк" Брюссона (1928) и "Наполеона" О. де Бальзака для издательства Дюшартра опять же, не осталось незамеченным ("Art et décoration". 1930. № 12. — Статья Мишеля Вокера "Книги для детей"). И если в "Наполеоне" Олесевичу принадлежит только фронтиспис, то вторая книга им полностью оформлена и проиллюстрирована. Вокер пишет: "...значительные личности необходимы как для создания текста, так и иллюстраций детской книги. Успех этой первой книги ["Наполеон"] вдохновил господина Дюшартра на создание других, аналогичных. Таким образом мы располагаем "Жанной д'Арк" Брюссона с изображениями, основанными на древнем народном искусстве". В 1930-м вышел "Нос" Гоголя



Иллюстрация к повести Н. Гоголя "Нос"

в переводе В. Льона и П. Ставрова (тоже бывшего одессита и близкого знакомого Олесевича — см. сборник, подготовленный и изданный Евг. Голубовским: Ставров П. На взмахе крыла / Илл. С. Олесевича. — О.: Друк, 2002.). Книга была иллюстрирована шестью литографиями художника. Были и другие издания.

Художник пережил войну, оккупацию, послевоенные трудности и умер в почтенном возрасте в Париже в 1972 году.

Казалось бы, сведений много. И все-таки вопросы остаются. Неизвестно, когда именно (между 1910 и 1914 гг.) Олесевич впервые попал в Париж, у кого учился, как отразилась на нем II мировая война, что он делал с конца 1930-х...

В заключение хочу поблагодарить К.В. Махрова (Париж), С.З. Лущика и Л.Г. Белоусову — с их помощью удалось хотя бы частично восстановить биографию художника. Моя признательность также В.И. Комендантовой — за перевод французских текстов.

А. Кранцфельд
Акварели. 1. Сигизмунд Олесевич

(Театр и кино. 1917. № 7)

Движения изломно-угловаты,
И женственно-малиновые губки.
И дым от кэпстена из закопченной трубки —
Вас одевают в клочья серой ваты.

Упадочны, причудливы и гладки,
Но мне понятны Ваши акварели,
— Дворцы, каких не выстроит Растрелли,
И розовая грива у лошадки.

Вы нашему театру незнакомки
Накинете влюбленно и учтиво
Одежду из шелков и Ваши примитивы
И красок дым волнующий и тонкий.

Мы разыграем с куклами из ваты
Серебряных седых венецианцев.
И среди масок, золота и танцев
Откроем балаганчик угловатый.

Белла ВЕРНИКОВА

Кстати, о птичках
Постмодернистское эссе

Несметное число популярных и научных текстов, на разных языках трактующих об интертекстуальности мировой литературы, написано по принципу "Кстати, о птичках".

Фраза из анекдота 70-х годов прошлого века осталась в памяти как ярлычок ассоциативности, как эмблема неведомого нам по названию, но хорошо ощутимого по содержанию ПОСТМОДЕРНА. Как всякое художественное явление, постмодерн постепенно созревал в культуре, пока не оформился в самостоятельное направление.

В 1970-е годы у советского читателя был доступ к источникам постмодернистской концепции интертекстуальности: появились в печати труды Михаила Бахтина (понятие интертекста через Юлию Кристеву идет от "чужого слова", "диалогичности" и других культурологических идей Бахтина) и книги поэтов Серебряного века. См., например, Посвящение в ахматовской "Поэме без героя", обращенное к началу 1910-х годов:

А так как мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике.
И вот чужое слово проступает
И, как снежинка на моей руке,
Доверчиво и без упрека тает.

Это вовсе не значит, что все тут же бросились писать интертексты, начитавшись Бахтина и прочих классиков. Мы шли не от приема, а от поэтической фактуры. А классики влияли себе подспудно или непосредственно — как и положено классикам, когда они опубликованы, а не спрятаны в спецхран. Чужое слово включено и в мое стихотворение 1978 года "Переводчик-водогребщик" — по сегодняшним меркам его название, концовка, и все смыслы насквозь интертекстуальны:

Переводчик-водогребщик

Тропинкой-строкою сбегаю к реке,
с т р о к а т ы е пестрые строчки навязли
в зубах, шелестят на своем языке,

катаются в украинском стихе
как сыр в масле.
Как манит река, п р о м е н и с т о — тиха!
в разлив ее слов мы отважно заплыли,
а то, что осталось за гранью стиха,
мгновенья паренья и будней труха,
на дне, в иле.
На дне нашей лодки з а в а д а — вода,
я вычерпну воду рифмовки случайной,
войду в этот смысл, в этот ритм и придам
совсем непохожим русским словам
второе звучанье.
Но вот он, тот берег. К с т р у н к и м тополям
то сами гребли, то теченьем сносило.
В чужом переводе две строчки болят:
"Родное слово, ты моя земля,
ты жизнь и смерть мою в себе вместило".*

Из книги стихов Беллы Верниковой "Звук и слово"
(Иерусалим: Филобиблон, 1999)

Любимая нами в те еще советские годы ассоциативность лежала в основе интертекстуального подхода к чему угодно. Свидетельство тому написанные в Одессе 1960-х-70-х годов "неподцензурные" (этим словом мы не определяли тогда свою поэзию) стихи Анатолия Гланца, собранные автором по моей убедительной просьбе в 2004 году и впервые опубликованные в 2005, — мною в рубрике "Литературный архив" на сайте Издательского содружества Анатолия Богатых и Эвелины Ракитской:

http://www.era-izdat.com/glantz.htm

и Олегом Губарем в 21-м номере одесского альманаха "Дерибасовская — Ришельевская" (архив альманаха на сайте):

http://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_about.htm

Игровая эстетика постмодерна, предрешенная бахтинской идеей карнавальности и статьями Ортеги-и-Гасета, была нам близка изначально ввиду обитания в ареале одесского культурного мифа. Указанные публикации Анатолия Гланца (поэта, прозаика и художника) содержат запоми-

*Стихи Самуила Галкина в переводе Анны Ахматовой

нающиеся пародийно-интертекстуальные стихи, к примеру, "Памяти Чехова" (совместно с Игорем Павловым) или "Кто там?":

Кто там?

— Кто там стучится в поздний час?
— Кто, кто, ну я, еврей.
— Иди домой, все спят у нас.
— А вы? — спросил еврей.

— Как ты прийти ко мне посмел?
— А что? — сказал еврей.
— Небось, наделаешь ты дел.
— Зачем? — сказал еврей.

— Попробуй в дом тебя впустить...
— Куда? — спросил еврей.
— Всю ночь ты сможешь прогостить.
— Не всю, — сказал еврей.

— О том, что буду я с тобой...
— Вот-вот! — вскричал еврей.
— Молчи до крышки гробовой.
— Уже, — сказал еврей.

Источник приведенного интертекста, стихотворение "Финдлей" Роберта Бернса в переводе Самуила Маршака, см. на сайте:

http://orel.rsl.ru/nettext/foreign/burns/burns.htm

Нарочито интертекстуальны и другие стихи Гланца тех лет, например, постхлебниковский "Сад", см.:

http://futurum-art.ru/autors/glanc.php

http://www.detira.ru/arhiv/3_2004/glanz.htm

Интертекстуальность в этих стихотворениях содержательна прежде всего тем, что снимает идеологические и эстетические табу, утвердившиеся в советской литературе: и на свободное употребление слова "еврей", и на поэтику Велимира Хлебникова.

Я помню, как дурацкие табу эпохи соцреализма обнаруживали свою нелепость при чтении поэтов Серебряного века, сохранивших (те из них,

кто выжил) естественность речи и в более поздних своих текстах. Так, строка из стихотворения Анны Ахматовой 1940 года — "еще с мужиком пошутить" — определила для меня меру свободы лирического высказывания.

А также иронического и прочих высказываний в других жанрах и видах искусства (см. веселую картинку с приветом "Членскому журналу", помещенную мною после сообщения о Сетевом каталоге "Литеросфера"):

http://www.era-izdat.com/bella1.htm

Или см. опус из нового цикла моих минималистских стихов:

Первая редакция "Искры"
в составе Плеханова, Игнатова,
Засулич, Дейча, Аксельрода
накрылась аббревиатурой
собственных фамилий, следуя интуиции,
облаченной в пушкинскую максиму:
БЛАЖЕН, КТО СМОЛОДУ БЫЛ МОЛОД,
БЛАЖЕН, КТО ВОВРЕМЯ СОЗРЕЛ,
КТО ПОСТЕПЕННО ЖИЗНИ ХОЛОД
С ЛЕТАМИ ВЫТЕРПЕТЬ УМЕЛ.

Вскоре после осенней революции 1917 года Павел Аксельрод писал в опубликованной в Нью-Йорке статье с красноречивым названием "Кто изменил социализму" (1919):

"Большевистская революция была просто военным заговором. Это было восстание не против реакции — а против социал-демократии, которая осуждала планы и методы большевиков, — большевистский переворот был только колоссальным преступлением и ничем иным быть не мог".

См.: http://hronos.km.ru/biograf/akselrod.html

Русский социализм, начинавшийся как позитивное социальное реформаторство, всего за два десятилетия пришел к тотальному экстремизму большевистской революции.

Этот исторический пример полезно иметь в виду при оценке эволюции различных социокультурных явлений, в том числе современного постмодерна. На наших глазах и при нашем участии претерпевает существенные изменения постмодернизм, теоретически оформленный несколько десятилетий назад в трудах французских постструктуралистов Дерриды, Фуко, Р. Барта, Лиотара, Бодрийяра, Делёза и др., см.: И.П. Ильин. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм.

http://www.philosophy.ru/library/il/0.html

Постмодернизм. Энциклопедия. Сост. А.А. Грицанов, М.А. Можейко.
http://infolio.asf.ru/Philos/Postmod/index.html

К счастью для людей, работающих в литературе начала 21-го века, в отличие от русского социализма, эволюция постмодерна плодотворна для европейской культуры. Литература переходит от концептов и перфомансов к насыщенной содержательности текста, от "смерти автора" к авторской индивидуализации. В подтверждение этого тезиса см. мои постмодернистские стихи "Советы постороннего писателя" в "Антологии поэзии Израиль 2005" (антология А. Кобринского), представленные на сайте: http://www.geocities.com/sibnsina04/almnh/

См. также мои "Верлибры Юрия Тынянова" (вступительный фрагмент):

Авторское предуведомление

В начале XXI века
когда дичок постмодерна
избежав соблазна обезличенности
привился к европейской традиции
сочетая метатекстом
авторские индивидуальности
"Верлибры Юрия Тынянова"
стилистически символизируют
единство смысло- и формообразующих начал
в новациях русской поэзии, заявленное
и обоснованное в тыняновских статьях 1920-х гг.

В число культурных табу советской эпохи попало и философское понятие иррационального. Если философ Серебряного века Николай Бердяев в своей книге "Философия свободы" (1911) свидетельствовал: "Современная философия признает иррациональность бытия, и она же гносеологически утверждает рационализм", см.:

http://www.krotov.info/berdyaev/1911/pil_sv03.html,

то "философия несвободы": Сталинско-брежневская идеология, не мудрствуя лукаво, попросту запретила иррациональное и приказала считать мир предельно рациональным, ясным и прозрачным.

Н.С. Мудрагей. Из статьи "Рациональное и иррациональное – философская проблема (читая А. Шопенгауэра)". Вопросы философии. № 9. 1994.

См.: http://www.philosophy.ru/library/vopros/41.html

Какие бы стороны жизни не табуировались в советской культуре, Юрий Олеша наперекор официальным табу сформулировал основной критерий качества поэзии: "Так никто не сказал нам о нас". Эта максима Олеши, как и статьи Тынянова, обращена к смысло- и формообразующим началам поэтического текста.

Наша лирика фиксировала смену жизненных установок, форм восприятия и поведения, не замеченную официальной литературой, — те перемены, которые сегодня определяются рационально:

"сексуальность... становится одним из важнейших качеств межличностного взаимодействия... и, добавим от себя, компонентом и инструментом собственной биографической ситуации".

Из рецензии Е. Вовк на книгу Энтони Гидденса "Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. Пер. с англ. В. Анурин" (СПб., 2004)

См.: http://bd.fom.ru/report/cat/journ_socrea/number_3_05/gur050303

В подтверждение сказанного приведу две строфы из лирико-абсурдистского стихотворения Татьяны Мартыновой 1982 года:

А рыбе поменять бы
судьбу — на совершенство.
И пусть не будет свадьбы,
она не любит жесты.

Она б частила в речи,
она б меняла кожу
и напрягала плечи,
и стоила дороже.

Цикл стихотворений Татьяны Мартыновой "С Новым годом, рыба!" (1982-83), фрагменты которого печатались в середине 1980-х гг. в еженедельнике Одесского университета (редактор Николай Трофимович Щербань), был полностью опубликован в одесской антологии неподцензурной поэзии "Вольный город" (1991, составитель Юрий Михайлик).

В начале 21-го века, дополненный одним стихотворением, тот же цикл Татьяны Мартыновой вместе с другими ее стихами напечатан в московском журнале поэзии "Арион", .

Если стихи, написанные двадцать или тридцать лет назад, публикуются и читаются как созданные сегодня, значит, их авторы раздвинули

поэтические рамки своего времени. И есть основание говорить о них как о значительных русских поэтах последней трети 20-го века.

Одесский еврей Анатолий Гланц, ныне американец и житель Нью-Йорка, и белоруска Татьяна Мартынова, с 1970-х годов живущая в Одессе, ныне в Украине, остаются русскими поэтами по языку и культурной традиции, т. к. "базовые культурные модели и направляющие образцы получены ими из *русской* поэзии, а не из германоязычной немецкой и английской или романоязычной итальянской и французской поэзии, где подобные модели также присутствуют" (автоцитата, см.: http://odessitclub.org/publications/almanac/alm_17/alm_17_214-217.pdf)

Нечто подобное уже случалось в прошлом веке при развале империй. К примеру, Франц Кафка:

"Еврей по происхождению, пражанин по месту рождения и жительства, немецкий писатель по языку и австрийский писатель по культурной традиции".

Из предисловия Д. Затонского к сборнику прозы Ф. Кафки в московском издании 1989 г.

Современному критику и историку неподцензурной литературы последних советских десятилетий хорошо бы увидеть в текстах и рассказать читателю, в чем конкретно выразились новации и сплетение с традицией у каждого из значительных поэтов нашего времени, и чем именно эти поэты обогатили поэзию. Как увидел и написал Тынянов в статьях 1920-х гг. о только что вышедших книжках Пастернака и Мандельштама, о Велимире Хлебникове, о классиках русской поэзии 19-го века (см. мои "Верлибры Юрия Тынянова").

Говоря о постмодернизме, я хочу возразить уважаемому мною культурному герою русского Интернета Максу Фраю. Дорогой (дорогая) Макс! Сегодня ПОСТМОДЕРН уже не ситуация, как безапелляционно сообщается в увлекательной Азбуке на сайте:

http://azbuka.gif.ru/alfabet/p/postmodernism/

http://azbuka.gif.ru/

Уже не ситуация, а сложившееся художественное направление, как барокко или романтизм, "академизирующееся" и приступившее "к эстетизации своих форм и приемов".

В подтверждение этого тезиса см. приведенную выше цитату из "Верлибров Юрия Тынянова", а также статьи, изданные в книге "Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н.И. Харджиева" (Москва: Языки русской культуры, 2000) — привожу цитаты из двух статей:

"И он [авангард] пришел к своей "академизирующей" стадии".

"Авангард пугался ... неизбежной эстетизации своих форм и приемов... отрицание прежней эстетики его участники воспринимали как отрицание эстетики вообще, увидев в этом свое сущностное качество".

Из статьи Н.Л. Адаскиной "Закат авангарда в России"

"И точно так же, как происхождение эстетики модернизма и постмодернизма можно вывести из романтизма..."

"Да будет мне позволено закончить свои рассуждения высказыванием Борхеса...: "Быть может, всемирная история — это всего лишь история разнообразного звучания некоторых метафор".

Из статьи Нийла Корнуэла "Черты Даниила Хармса"

О типологической общности постмодерна и романтизма, независимо от Н. Корнуэла, я упоминаю в своем эссе "Из нового разговора с автоответчиком" — мои разговоры с читателем-автоответчиком опубликованы в одесском альманахе "Дерибасовская — Ришельевская", № 12 и № 17, см.: http://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_12_cont.htm

http://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_17_cont.htm

В "Разговоре с автоответчиком" в 12-м номере альманаха представлен русско-еврейский писатель Осип Рабинович, автор романа "Калейдоскоп", написанного в Одессе в середине 19-го века. Название романа, не отличающееся оригинальностью, свидетельствует о любви к ассоциативности, распространенной и в позапрошлом веке.

Кстати, о птичках. Привожу первую строфу своего стихотворения, написанного в Одессе в 1980-е годы, т. к. оно имеет прямое отношение к последующему высказыванию.

Как он знает, какими красками куст
прошуршит вослед человеку,
как мазок добавляет к мазку,
безъязыко знание растворив,
как в пейзаж вплетает вселенский мотив
тот художник, ведающий тоску
по гармонии и разрыв и миров.
Он асоциален, терпим, здоров.

Задаваясь вопросом "Как он знает?", я не понимала тогда, что художник вовсе *не знает*, и даже *не хочет знать*. Поскольку действует иррационально. И в этом прелесть работы с красками — она не требует вербализа-

ции и позволяет предаваться архетипическому пристрастию к иррациональному. Не прибегая к мистике или психоделике, — люди, воспитанные рационально, принимают подобные культурные трансформации с некоторым скепсисом.

Прозрение пришло в 21-м веке, когда я стала художником. В достаточно зрелом возрасте, не имея специального образования. Хотя об образовании — вопрос спорный. Я всегда любила живопись, черно-белую и цветную графику, ходила в музеи и на выставки, смотрела альбомы и много чего знаю о разных школах, стилях и творческих манерах. У меня нет рационально-упорядоченного художественного образования. Но есть отчетливое представление о конвенциях в изобразительном искусстве и о возможности их нарушения, а также в избытке иррациональная тяга к работе с красками.

Мое нынешнее понимание иррациональности пластических искусств изложено в "Советах постороннего писателя" (2004):

Не гонись за вербализацией
пластических искусств. Как и в балете,
цени в абстрактной живописи,
графике, скульптуре
мерцание неявных смыслов.

См.: http://www.geocities.com/sibnsina04/almnh/ntl-96.html

Ощущение, вербализованное в приведенных стихах, развивается и конкретизируется в данном эссе.

Глобальная потребность в иррациональном занятии изобразительным искусством способствует возникновению обслуживающих ее институций. Таких, как литературно-визуальный альманах "Черновик: Смешанная техника" (выходит с 1989 года):

http://www.chernovik.org/main.php?main=glav&first=19&nom=20,

см. также в Сетевом каталоге "Литосфера":

http://www.litera.ru/slova/ring/index.html.

Более широкое явление, отвечающее этой потребности, — международное художественное движение МэйлАрт.

Организатор выставки МэйлАрта в небольшом немецком городке, в 100 км от Мюнхена, где экспонировалась и моя графика, художник Маттиас Бруггер определяет кредо своего проекта как стремление представить сложные художественные идеи в широком разнообразии работ профессиональных и непрофессиональных художников.

О выставке МэйлАрта на юге Германии (март 2005) см. на сайтах:

www.spaltenstein-projekt.kulturserver-bawue.de (Spaltenstein)
http://www.coll.spb.ru/public/113.php (Санкт-Петербург)
Кстати, о птицах — стихи Игоря Павлова:

Продавец веселых птиц
Постарел, оброс щеками,
Стал покорен, стал пятнист,
Он торгует овощами.
.....
Он — любитель тишины,
Он завесил ею рощи.
Так — таинственней. И проще.
Очи утяжелены.
Продавец задорных птиц
Беззаботных, улетевших,
Плачет, плачет, безутешен,
Над кустами белых лиц.

"Игорь Павлов — русский поэт, живущий в Одессе. Обычно "русский", да еще в противоположность "одесскому" означает нечто весьма определенное. Нет, Игорь Павлов просто русский поэт — без привычной почвенности, надрыва, истовости..." — пишет о поэте Наталья Оленева в своем "Вступлении" на сайте, где опубликованы его стихи:

http://paluba.tripod.com/pavlov/main.htm

Как видно, на постсоветском пространстве слово "почвенный" окружено негативными коннотациями. Благородный культурный контекст пастернаковских строк "И здесь кончается искусство, И дышит почва и судьба" заслоняется агрессивной актуальностью и зловещим прошлым. Прежде всего, потому, что немецкая и русская почвенность традиционно противопоставлялась еврейской безземельности и в крайних проявлениях оборачивалась антисемитизмом.

Традиционная юдофобия, порожденная многовековой религиозной нетерпимостью, преобразованная в 19-м веке в этническую парадигму и приведшая к геноциду еврейского народа в годы второй мировой войны, за свою долговечную историю пересекалась с разными явлениями европейской культуры. При этом само культурное явление могло не быть юдофобским и включать в число своих приверженцев евреев, не отрекающихся от еврейства, и известных юдофилов. Самый показательный пример

подобного феномена — философия Фридриха Ницше, чье имя в массовом сознании ассоциируется с германским фашизмом.

В статье 1947 г. "Философия Ницше в свете нашего опыта" Томас Манн писал:

"Не фашизм есть создание Ницше, а наоборот: Ницше есть создание фашизма; я хочу этим сказать, что Ницше, в сущности чуждый политике, не может нести моральной ответственности за фашизм, что в своем философском утверждении силы он, подобно чувствительнейшему индикаторному инструменту, лишь уловил и отметил первые признаки нарождающегося империализма и, точно трепетная стрелка сейсмографа, возвестил западному миру приближение эпохи фашизма, которая для нас стала действительностью и останется ею еще надолго, несмотря на то, что в войне фашизм был побежден".

См.: http://tumbalalaika.memo.ru/articles/artn07/n7_08p8.htm

Томас Манн выступил в защиту философа, под воздействием которого он формировался как писатель и мыслитель. Влияние Ницше сказалось на всей европейской культуре 1890-х — 1930-х гг. и, соответственно, на русском Серебряном веке:

"Пионеры *символизма*, так называемые "старшие" символисты...

Их отличает экстравагантность, "западничество", ориентация на французский символизм и ницшеанство, очень сильно на них повлиявшие".

Из книги французского автора и переводчицы Элиан Мок-Бикер "Коломбина десятых годов...",

см.: http://www.akhmatova.org/bio/kolombina/kolombina05.htm

О ницшеанстве Зеева (Владимира) Жаботинского упоминает Михаил Вайскопф в публикации в 15-м номере альманаха "Дерибасовская — Ришельевская", открывающейся парадоксальным утверждением:

"При всем блеске сионистских достижений Жаботинского, его подлинная биография — это во многом повесть о недовоплощенной жизни, о недореализованных возможностях, о потенциальных векторах судьбы, затерявшихся в злободневной политической сумятице". См.: http://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_15/alm_15_250-260.pdf

Кстати, о птичках. В европейской культуре 20-го века с оправданием почвы в стихах Бориса Пастернака уживается оправдание беспочвенности в тексте другого великого еврея, русского философа Льва Шестова. Его "Апофеоз беспочвенности (опыт адогматического мышления)" см. на сайте: http://www.magister.msk.ru/library/philos/shestov/shest08.htm

Повезло русской литературе — у нее есть равновеликое и разноголосое зарубежье, где легитимна моя позиция постороннего писателя, адресующегося к читателю-автоответчику.

Позиция, зафиксированная поэтом, точнее, поэтессой, живущей в Израиле и работающей в русской литературе, — благоприятствует расширению контекста и оправданию почвы или беспочвенности, по усмотрению автора.

Иерусалим



Наш учитель по имени Лева

Если говорить о возрасте, у нас была разница в одиннадцать лет. И почти все одноклассники сразу же после школы перешли с ним на ты и звали его просто — Лева. Я почитала в нем учителя и обращалась к нему по имени отчеству — Лев Хаимович, Вы.

Кто бывал в Чадыр-Лунге, знает — место это необычное и очаровательно странное. Только здесь в центре города на заросшем травой пятачке сами по себе пасутся овцы, а пастух, одетый в костюм "Адидас", зачитывается "Крестным отцом". Только здесь в летний полдень небо стелется по пыльной душной земле и воздух сух и особо пахнет жарой. Только здесь осень делит время с зимой, а весна приходит неожиданно. Утром.

В какую-то — одну из последних — нашу школьную весну неожиданно в класс пришел он. Утром. Резким движением взял чей-то учебник. "Дайте хоть посмотреть", — в пространство сказал он, полистал и — мы замерли и тут же влюбились — швырнул учебник в дальний угол. "Вы что, идиоты? — он напирал на нас. — Вы что, не в состоянии сами до этого додуматься?"

Мы еще не понимали, о чем это он — стояла ленивая провинциальная весна — но нутром чувствовали, как воздух наполняется непривычными запахами и время сжимается, чтобы сделать рывок.

Уж не знаю, о чем после звонка, прячась за туалетом, говорили мальчишки, почти по-взрослому затягиваясь сигаретами. Но мы с девчонками бурно обсуждали молодого учителя литературы и русского, его испачканный мелом синий костюм, навсегда желтый от табачного дыма указательный палец, его неповторимую стремительную походку, подгоняемую согнутыми в локтях руками. Его звали Лев Хаимович Гольдберг.

Как-то сразу исчезла грань между отличниками и двоечниками. Для него не имело значения, готовы мы к уроку или нет и в каких отношениях мы с заданным на дом классиком. Он пересказывал сюжет изучаемого литературного произведения и предлагал обсудить какую-нибудь ситуацию. Он учил нас думать, рассуждать и не бояться. Не бояться показаться глупыми. Не бояться произнести свою мысль вслух, не бояться отстоять ее.

Вовка Лазарев, красивый, смышленый, не прочитавший ни одной книги и севший сразу после школы то ли за убийство, то ли за чужую вину — говорили разное, — всегда тихо молчал на задней парте, за что получал гарантированные тройки и гладко перекатывался из класса в класс. Но на

каком-то очередном обсуждении, не поднимаясь с места, он тоже вставил свои "пять копеек". Лев Хаимович сосредоточился на нем и яростно стал разбирать героя с Вовкой.

А в конце урока, спохватившись, сообщил: "Лазарев, тебе пятерка". На следующем уроке Вовка тянул руку, выпрыгивая из-за парты. Было такое. Я не выдумываю. Спросите моих одноклассников.

А на первой парте сидела Лена Топчу. Тихая девочка. Что-то спросил ее Лев Хаимович, а она не ответила. Он аж задохнулся от возмущения, открыл журнал и прошипел: "Я не могу тебе поставить двойку. Для твоего незнания нет оценок. Ты не знаешь — на отлично! Тебе пятерка!". Что-было-на-следующем-уроке! Лена отвечала великолепно. В тихой девочке Лев Хаимович всколыхнул самолюбие и упертость. Оценку он ей не поставил, сказал, что она с честью отработала аванс.

Он ворвался в нашу жизнь. И словно открылись шлюзы. Хотелось свободы и бунта хотя бы в радиусе метра. Нас распирало. И мы с Иркой Бабинцевой первыми в школе сменили короткие юбки на макси. И нас выставили с урока — переодеваться. Мы переоделись, Но ветер перемен уже носился по коридорам нашей средней номер четыре, он искал выход, чтобы разнестись по соседним улицам.

Лев Хаимович очень скоро стал завучем по воспитательной работе. Завел в школе КВНы. Они были беспомощными, но собирали полные залы. Много зрителей было с других улиц — из других школ. В зале страсти между болельщиками гудели похлеще, чем на сцене между командами. Конечно, это было работой Гольдберга. Он находил для болельщиков неимоверные задания, типа одним снять транспарант, приветствующий праздник месячной давности, другим заколотить дыру в заборе — то, до чего у завхоза не доходили руки. А обнаружив как-то зевающего болельщика, тут же утвердил приз скучающему зрителю — спичку — в зубах ковыряться.

Он открыл в школе факультативный литературный кружок. Заседания проходили в актовом зале. Переполненном. Старшеклассники всех городских школ приходили сюда после занятий, заглянуть за двери других миров. Это были необычные заседания-лекции. Лев Хаимович зачитывался стихами, прозой, открывая ее для себя и для нас — одновременно. И мы, затаив дыхание, слушали непривычную музыку слов, загипнотизированно следя за рукой учителя с навсегда пожелтевшим от табачного дыма пальцем. Он отбивал такт.

А потом был городской театр. Режиссер все тот же Гольдберг.

А потом он выпустил наш выпуск из школы и ушел. Ему стало тесно. Ушел в районную газету.

Я любила, приезжая к родителям, приходить к нему в гости. Сидеть в прокуренной квартире под свиньями, нарисованными на потолке моим мужем, слушать старые записи Высоцкого, Галича, скрипевшие с бобин пыльного магнитофона, пить на равных вино и говорить. Вначале о литературе, потом о политике. О политике вначале говорить, потом для протокола спорить, потом слушать, соглашаясь, — все начинается именно здесь, в Гагаузии.

В этом загадочном крае любой, если хочет, может вырасти из провинциала. Стать министром, а потом послом в приличной стране, раскрученным модельером, преуспевающим предпринимателем. И чтобы стать классным — не провинциальным— профессионалом, знаменитостью, не обязательно покидать Чадыр-Лунгу. Лев Хаимович издал четыре поэтических сборника. Для себя. А потом издали его. Да где! Его стихи вошли в один из томов престижного альманаха "Сатира и юмор XX века"! Его стихи печатал "Фонтан".

Недавно я была у него в гостях. Он съехал из прокуренной квартиры со свиньями, нарисованными на потолке моим мужем. Он, как настоящий гагаузский помещик, жил в большом светлом доме. Компьютер на кухне и в спальне. Рабочий кабинет на кухне и в спальне. Все должно быть под рукой. Мы как всегда пили вино. Он гладил кошку и, конечно же, говорил о политике. Об этих вечных боях ветряных мельниц, о вечно одном сценарии с разными именами.

Было уютно и слегка пьяно. Но мой учитель еще не показал все владения и настоял, чтобы мы вышли во двор. Старый виноградник и огромная летняя пристройка. И погреб с двумя одинокими бочками. Лев Хаимович дал мне шланг и фантик — пластмассовую бутылку — и скомандовал: "Дуй". Я и стала дуть, взбаламутив ароматное вино. Он стал ругаться — между слов, — продолжая о чем-то говорить. Наверное, о том, что в сражениях с ветряными мельницами есть тоже толк. Ты каждый раз побеждаешь себя. А усталость... Это нормально. После сражений всегда так — пыль оседает на обувь, усталость ложится на руки. А может, он говорил о другом. О своей запутанной счастливо-несчастной жизни, застрявшей на десятилетия в этом очаровательно странном и необычном месте. Я не помню. Было немного пьяно и очень хорошо.

"Вы говорили как-то, что всю жизнь учите не бояться", — напомнила я ему. Он засмеялся весело и коротко и серьезно сказал: "Знали бы вы, как я боюсь сам".

Он учил нас, он учил их, он учился сам. Но только сейчас, когда в возрасте пятидесяти пяти лет он скончался, я вдруг поняла — он учил нас еще одной мудрости: мир каждого — две улицы и три перекрестка, а вдоль обочины множество открытых дверей в другие миры. Но чтобы владеть вселенной, совсем не обязательно покидать эти две улицы с прилегающими к ним тремя перекрестками.

За двоих, с любовью и признательностью
Ирина ТЮТЮННИК-ВИШНЕВСКАЯ

Из стихов Льва ГОЛЬДБЕРГА, очень давних

* * *

Каждый второй здоровается,
Каждый полуторный знает,
Что же до каждого первого —
Он тоже кое-что слышал.
Крохотный этот райцентр
Точно не центр рая,
Снег здесь и тот сразу тает —
Как навостришь лыжи?

* * *

В квартире — вовсе не во сне,
Как бы зайдя в пике,
Мерцают лики трех свиней
На потном потолке.
Серьезны взгляды у двоих,
У третьей — просто жуть.
Я, просыпаясь, вижу их,
И если спать ложусь.
А каждый гость вопросов горсть
Подбрасывает вмиг,
Чтобы понять, зачем как гвоздь
Торчит в решетке крик.
Все жаждут получить ответ,
Подвластный их челу,
Мол, почему такой сюжет,

И свиньи — почему?
Они твердят, что ни во грош
Не ставят, мол, химер,
И что ужасно нехорош
Подобный интерьер.
Как будто я не жду тех дней,
Развязки узелка,
Когда проснусь — и нет свиней,
Не стало потолка.

* * *

В этом квартале дома как монахи,
Но самый черный монах —
Где занавески дымом пропахли
И одиночеством сумрак пропах.

Раньше маячили магнитофоны
И теребил телефон,
Где отбиваются нынче поклоны,
Что ни строфа — то поклон.

Но зарифмованные молитвы
И среди прочих молитв
Только ответ на вопрос: "не болит ли?" —
Только ответ, что болит.

Это как клялся встречать на вокзале,
Да перепутал вокзал...
Жаль, что признания опоздали,
Жаль, что ответ опоздал.

* * *

Небрит мой дом и неухожен,
Щетина книг черней окна
Они толкуют: "Предположим"...
Они суются в руки: "На!"

Уже достали, стаей вышли,
Зажали плотное кольцо.
А я гляжу на них и вижу
Свое небритое лицо.

* * *

Это сто месяцев как замечено:
Там, где уже не свернуть,
Девушка с ведрами утром и вечером
Перебегает путь.

Ведра качаются, как запойные,
Ведь, если вспомнить, ну да:
Я никогда не встречал ее с полными —
Только с пустыми всегда.

Что ж это вечно все решка да решка?!
Во избежанье беды
Я задержусь, я немного помешкаю —
Пусть наберет воды.

Впрочем, зачем, чтобы малость потрафило,
Бить бесполезный сервиз!
Просто такие у нас с нею графики,
И по другим не сойтись.

* * *

Здравствуйте, фонарня,
Выросшая у обочин, —
Чернорабочие Дня,
Светлорабочие Ночи!

Здравствуйте, якоря
В сумрак заплывшего парка!

Вам это до фонаря?
Жалко.

Вся европейская цивилизация порождена морем

Диалог Маргариты Жарковой и Юрия Лейдермана*

М. Ж. Мы живем у моря, и для многих оно является сильным жизненным импульсом, особенно в юности. Существует мнение, что именно море создает особое ментальное поле города, порождающее так много талантливых людей в Одессе. А как оно для тебя, твое восприятие моря?

Ю. Л. Не знаю, основной ли признак Одессы — море, для меня главное то, что море несет в себе дух пассионарности. Вся европейская цивилизация порождена морем, начиная с Греции — это цивилизация мореходов, морских разбойников, викингов, т. е. вся Европа сделана морем, и оно создает для человека совсем иное состояние, чем для человека, прикованного к земле. Море задает техническое, вернее, технологическое отношение к миру, он знает, что почти все зависит от него — построй корабль, возьми меч или сеть, или товар — и дальше все происходит само собой. Тема моря сейчас для меня тесно связана с темой Европы, ее истории, цивилизации. В Одессе море предстает для нас в двух ракурсах, это — с одной стороны — ощущение беспредельной открытости, способности двигаться куда угодно, за горизонт; с другой стороны — море в Одессе — это курорт, оно окультуренное, камерное. По существу, мы имеем дело не с морем, а с пляжами, а это — узкая полоска воды в 20 метров у самого берега, такая теплая, запачканная, где все копошатся.

М. Ж. А визуально, ведь мы его постоянно видим, даже прямо в городе, оно становится принадлежностью сознания. Образ моря, ощущение, что ты в любой момент можешь подойти к морю, как Пушкин, и сказать — "свободная стихия..."

Ю. Л. Да, это так. Для нас, людей, вышедших из Одессы, море дало и плюс и минус. Плюс — ощущение безграничности, способности свободного движения, а минус — стремление к чему-то пляжному, сделанному, уютненькому, к маленьким теплым вещам. Я обнаружил, что северные моря мне нравятся гораздо больше, чем южные. Минус — стремление на Север, в Прибалтику или к Северному морю, где-то в Голландию, вот там нет пляжности, там это чистая, разверзающаяся стихия как таковая, вот она

* Маргарита Жаркова — культуролог; Юрий Лейдерман — художник, член группы "Медгерменевтика"

меня очень трогает и задевает. За счет северных морей я, может, пытаюсь выжечь в себе эту теплую пляжность, оставить чистую открытость.

М. Ж. Если брать во внимание портовый признак, то в Средиземноморье ни один город за короткий отрезок времени не дал столько талантливых людей, как Одесса. За счет чего же?

Ю. Л. Может, это связано с чисто советской ситуацией... Есть даль моря, просто за этим горизонтом Турция, Греция, Италия, но на самом деле ты никуда не можешь двинуться, ты прикован к берегу, к Дюку, к Привозу, ты смотришь в безграничные дали, следишь взглядом за уходящим судном, а потом — ну что ж? — ты идешь на Ланжерон, ложишься на песочек и — всё...

М. Ж. В прошлом году, находясь в Крыму, я прочитала, что когда-то прибрежная часть Крыма была холмистой, а потом резко упала в море, произошел геологический сдвиг, и вот этот обвал, подход моря к горам, дает особое, уникальное состояние в Крыму. И я подумала, что в Одессе свое уникальное состояние — безбрежная степь резко, как лезвием ножа, отсекается в безбрежное море, возникает особое ощущение соотношения двух равновеликих ровных поверхностей стихий.

Ю. Л. У меня все-таки больше ощущение города, где воздух, запахи степи порой доносятся, но лично для меня — это не соотношение степи и моря, а само море, оно в принципе — условное, если посмотреть на карту, оно похоже на озеро. Россия все время как-то тупо стремилась к обладанию Черным морем, трижды строила флот на Черном море и трижды, когда начиналась война, топила сама этот флот, т. к. выйти из Черного моря он не мог, т. е. с геополитической точки зрения Черное море — совсем не море. Это подтверждает ощущение невозможности вырваться, и вот эта невоплощенность, незаконченность провоцирует домысливания, переустраивания внутри себя, скажем, сублимация на уровне языка.

М. Ж. Одесса, рождая таланты и необычных людей, потом все делает для того, чтобы их вытолкнуть, те, кто непонятно почему остается — выдерживает не только прессинг творческий — это ерунда, — а вот выдержать экзистенциальный прессинг мало кому удается. Так же, как одесситы, уехавшие в Америку, ранее читавшие, говорившие о музыке, философии и т. д., сейчас думают и говорят только о деньгах, вэлфере, иншуренсе и т. д. Что вытолкнуло тебя из Одессы? Закончив учебу в Москве, ты пытался остаться в Одессе?

Ю. Л. Честно говоря, не пытался. Я чувствовал, что так или иначе — я буду в Москве, другого не было выхода, это была необходимость.

М. Ж. Ты попал в самое золотое время расцвета московского концептуализма, как раз была акция — "Золотой шар", одно из самых мощных действий, ты попал в самую гущу. Это явилось твоей основой художника-концептуалиста, а сам как ты определяешь это время для себя?

Ю. Л. Я сам все время думаю об этом. Если бы этот вопрос мне задали года 3-4 назад, я бы сказал — да, это время, это попадание в среду московских концептуалистов — моя основа, она меня сформировала, но сейчас я уже так не думаю. Конечно, когда впервые в Москве меня Сережа* привел к Монастырскому, я был совершенно очарован, передо мной открылся совершенно новый, иной мир, я был весь целиком поглощен мыслями, как в нем быть, находиться, развиваться, потом была "МГ"**, а вот в последнее время у меня такое странное движение внутреннее назад. Когда я ушел из "МГ", я стал делать попытки вернуться к чистому, первозданному Монастырскому, используя опыт "МГ". И вот сейчас я чувствую, что я продолжаю движение назад, стал приходить к каким-то ощущениям, вспышкам, которые у меня были в голове еще до того, как я попал к Монастырскому, еще в Одессе, к тому, что меня будоражило еще тогда, но уже используя опыт московского концептуализма.

М. Ж. А то, что ты делаешь сейчас, ты можешь как-то назвать, есть у тебя определения? Это постконцептуализм?

Ю. Л. Мне кажется, что когда в названиях появляется приставка "пост-", "нео-", это свидетельство того, что это движение, искусство находится в кризисе, что жизнь в этом месте уже закончилась. Поэтому мне хотелось бы думать, я имею в виду себя, что появляется что-то новое, имени которого мы еще не знаем. Мы что-то делаем, и где-то сбоку есть боковой ракурс, который нам кажется неважным, мы его учитываем, не особенно в него вдумываясь, а через некоторое время как раз окажется, что именно он, этот ракурс — главный, именно он даст толчок чему-то новому, но будет так, состоится — неизвестно, это только надежды. То, в чем мы сейчас находимся — эту ситуацию, — можно назвать постконцептуализмом, и это свидетельство тому, что мы по-прежнему находимся в кризисе.

М. Ж. Расскажи о скандале на выставке в Стокгольме, где Кулик кусался, ты принимал там участие?

Ю. Л. В кусаниях и прочем — не принимал участия, это было черт знает что. Если говорить серьезно, то, что там произошло — свидетельство глубочайшего застоя, я бы даже сказал, исчезновение той ниши, кото-

* Сергей Ануфриев

**Группа "Медгерменевтика"

рая называется — современное искусство. Ведь главная идея этой выставки — кооперация, коллаборация, а к ней подвязывали много красивых идей, слов, призывов о кооперировании, но если взять по сути — если есть собственные идеи — зачем кооперироваться? Сложно писать стихи или музыку совместно, можно разрабатывать идею вместе, но сама идея принадлежит одному человеку. Поэтому на этой выставке все и рухнуло, и то, что сделал Бренер, разрушив скульптуру китайского художника — это был закономерный ход: его идея — создание, идея Бренера — разрушение, в процессе кооперации — получился казус.

М. Ж. Хотелось бы услышать твое мнение об отношении твоего поколения и тех, кто моложе, к теме актуального, модного, особенно к теме брутального, примитивного вседозвола, инфернального. Ведь на этом многие молодые художники ломаются, теряют свою индивидуальность, свое видение, внутреннее движение.

Ю. Л. Да, и у нас, и за "бугром" чудовищная увлеченность актуальными, сиюминутными, модными темами, социальными вопросами и забвением личного "прикола", сугубо своего интереса. А. Монастырский както сказал, что появление темы актуальности — это смерть для настоящего, искреннего искусства. Когда человек увлечен темой актуальности, она его провоцирует на некий художественный жест; он должен выделиться на фоне актуального брутального, т. е. сделать супербрутальное. Получается своеобразная наркомания, где дозы все время повышаются, и человек оказывается в проигрыше, так как он не настолько мощный, как степень брутальности в чеченской войне, например. Есть, конечно, вещи, которые можно назвать брутальными, акции Дамиана Херста или инсталляции Мэтью Барни, но там, во-первых, есть личный "прикол", убедительное действие, что это необходимо сделать, выразить лично ему, именно так. А с другой стороны, ты чувствуешь, что это правда, что где-то, в каких слоях мира, в каких-то аспектах жизни — все так и происходит. И тем отчетливей на фоне таких работ выделяются попытки переиграть актуальность — они создают ощущение жуткой неправды, "высосаны из пальца", хотя привязаны к текущему событию.

М. Ж. А вот какова твоя погруженность в актуальность и зависимость от нее? Довлеют ли социальные проявления на тебя лично и на творчество?

Ю. Л. У мня на этот счет довольно простой взгляд. Я брошен в этот мир на ограниченный срок, и мне интересно в это ограниченное время узнать что-то, что касается только меня, того неповторимого во мне, что

и уйдет вместе со мной. Зачем мне думать о глобальных вещах типа — судьба России? Россия была до меня и будет после меня, и прекрасно о себе подумает, а мне интересно думать о том, что касается непосредственно меня. Я все время ставлю себе вопросы, какие-то эксперименты, на которые мне интересно получать ответы.

Насчет погруженности в актуальность могу сказать, что я и моя жизнь — разные вещи, ведь мы живем жизнью, которая во многом не зависит от нас, мы брошены в какие-то ситуации, семейные отношения, социальные обстоятельства, в которых нас как таковых — очень мало, то, что обусловлено всем бытийствованием, моя жизнь и я — довольно далекие друг от друга состояния. Я как таковой больше всего проявляюсь в творчестве. Творческий процесс для меня — интеллектуальное исследование, философствование, медиумный акт — все вместе. Я человек рационального плана сознания, и мой путь — расчистка, убирание в сторону рациональных слоев, попытка выйти на маленькие вспышки медитации, шаманства, т. е. рациональностью попрать рациональность, и там, в конце, на какой-то миг получить что-то совсем другое.

М. Ж. Плюс на плюс или минус на минус дает тебе электрический разряд?

Ю. Л. Да, или наоборот, когда возникает то, что я называю странным, образ, я возвожу вокруг него некую рациональную схему, и она призвана не объяснять этот образ, не вытаскивать его на свет божий, а наоборот, создать вокруг него стену, внутри которой он должен существовать.

М. Ж. Какие темы ты сейчас исследуешь? Раз у тебя идет от рацио, ты можешь это обозначить?

Ю. Л. Последнее время я кидаюсь в разные стороны, хватаюсь за разные вещи, но они непонятно как, но связаны между собой, хотя я не знаю как, это лишь ощущения, но я хочу не знать, хотя и иметь внутри своего сознания, что они каким-то образом, странно, но переплетаются. Если все-таки пытаться назвать темы, можно сказать, что в последнее время меня очень занимает тема электронов, какие-то элементарные микрофизические дела, попытка сочетания микромира, тонкой структуры с темой вымысла, т. е. эти электроны можно себе представить как сгустки вымысла, но я пока не могу это внятно вербализировать. Последняя моя работа — электроны, которые имели свои имена персонажей Троянской войны: электрон — Ахиллес, электрон — Одиссей и т. д. В общем — это попытка почувствовать структуры микрофизики как сгустки фантазии, литературы, что-то между этим.

М. Ж. А тебя интересует тема — Его Величество Случай?

Ю. Л. Да, да, очень. Что такое — случай, что мы называем случаем и что мы называем объяснением. Это важная для меня тема, по-моему, все современное сознание построено на идее поиска причин, ведь кажется, если что-то произошло, а мы это объяснили — то мы уже что-то поймали, но на самом деле — то, что произошло, имеет собственную причину, и это ничего не значит, ведь причина — ничто в сравнении с самим событием, с этим микровсплеском. Мне лично кажутся глупыми или бессмысленными теории фрейдовского или марксистского плана, там говорится — ты делаешь то-то и то-то — потому что. Ну и что — объяснение и причина не отменяют, не изменяют и не закрывают ни действие, ни то, что произошло. Непонятность, случайность этих вещей меня очень интересует.

М. Ж. Есть утверждение, что нет ничего полезнее, чем бесполезное. Все, о чем мы говорим, творчество, искусство — это все из сферы бесполезности. А между тем — творчество, особенно интеллектуальное искусство, необычайно ответственно, требует невероятной концентрации, сильнейшего эмоционального напряжения, в принципе, отдачи всей жизненной энергии.

Ю. Л. Да, недавно на вопрос — зачем нужен художник в современном мире — я сказал, что если есть вопрос — зачем нужен, есть — "зачемность", то есть и "незачемность", нужда в ком-то, кто будет представлять ее в этом мире, вот художник (в широком смысле этого слова) и есть представитель "незачемности" в мире.

М. Ж. А ты очень напрягаешься, занимаясь "незачемностью", постоянно ли перешагиваешь свои возможности, пытаешься поставить себя выше, дальше, за грани своих сил и возможностей?

Ю. Л. Да, все время приходится. И часто возникает ощущение, что ты у какой-то черты, иногда четко знаешь, что ты уперся в стену, потом как бы само проходит, идешь дальше.

М. Ж. В твоей экзистенции присутствуют тщеславие, честолюбие, амбиции? Что и в каких пропорциях?

Ю. Л. Все это у меня есть. Они у меня такого еврейского плана — стремление настоять на своем, доказать, что правду знаю именно я, а не Иванов, Петров, настоять на своем утверждении, которое не относится ни к какой группе людей, ни к какому движению, направлению. И амбиции мои — обрести статус, место сугубо свое, не относящееся к какому-либо сообществу, установке, стране.

М. Ж. Мне кажется, можно развести понятия — честолюбие, амби-

ции с "незачемностью", бесполезностью, дав условное обозначение, что "бесполезность" — это устремление небесное, а честолюбие — земное. Вот для тебя — между ними есть взаимосвязь или отталкивание?

Ю. Л. Для меня — это одно и тоже. Хоть мы и понимаем, что все амбиции — глупая и бессмысленная вещь, особенно имея в виду нашу конечность, но тем не менее, мы стремимся, даже когда это особо бессмысленно. Эти желания абсурдны, именно поэтому они мне нравятся, это подтверждает мою личную экзистенцию.

М. Ж. А как для тебя — тело и дух, имея в виду "загадочную русскую душу" и "русское коллективное тело", — тоже одно целое?

Ю. Л. Да, "загадочная русская душа" это и есть "коллективное русское тело", вообще, в современном мире понятие телесности стало гораздо шире, чем руки, ноги, тело и т. д., в культуре тема телесности очень модна, и не только в кино и литературе, все выставки забиты работами с темой физиологии, кожи, новые течения в "боди-арт". Я недавно понял, что образ Одиссея, который сопровождает меня с детства, — для меня очень телесен, все мои образы, фантазмы для меня совершенно телесны.

М. Ж. Как ты определишь хорошее современное произведение?

Ю. Л. Хорошее произведение — когда я чувствую, что это истина для самого художника, что для него это — то, что он выражает, — обстоит только так, что эти вещи находятся в таких энергетических, смысловых, силовых взаимоотношениях, это какой-то реализм, хотя вещь может быть сколь угодно фантазийна.

М. Ж. Внешние раздражители являются для тебя импульсом к созданию работы, какие именно — комфортные или отрицательные?

Ю. Л. Самые разные, бывает, что какое-то не сильное впечатление потом всплывает и начинает разворачиваться во мне, и становится очень важным. Один из самых сильных импульсов в работе дает мне путешествие, особенно на Запад, по своему энергетическому уровню пребывание там намного выше, чем здесь, я получаю сильный заряд там и от общения, и от музеев, и от морей северных, особенно в Голландии.

М. Ж. Значит, комфортное состояние все-таки более сильный импульс в работе, как же дозируется у тебя отдых и работа?

Ю. Л. Работа, в употреблении бытовом, для меня не существует. В этом смысле я чувствую себя счастливым, я могу заниматься тем, чем я хочу.

М. Ж. Сейчас даются два определения нашей сегодняшней жизни — "героический пессимизм" и "отчаянный оптимизм", какой тебе ближе?

Ю. Л. Мне — "героический пессимизм". Мы живем в месте, которое сейчас как бы не существует, происшедший в 80-х годах слом вывел наш мир в несуществующую субстанцию. Есть высказывание Маоши Кундера, что нам хорошо известна Италия эпохи Возрождения — войны, политика, культура, общественные пертурбации. В это же самое время в Африке происходило все то же самое — такие по своей силе события, но в истории цивилизации это не отражено, ничто за этим не последовало, этого как бы и не было. Вот и у нас сейчас — вроде бы что-то происходит, но это настолько несоотносимо с Западом, настолько далеко от процессов движения цивилизации, так неразличимо хотя бы чуть-чуть приемлемое будущее, что ощущение несуществования — самое сильное ощущение, а поскольку мы брошены в эту данность, то остается — "героический пессимизм".

М. Ж. Ну что ж, тогда желаю побольше путешествовать, в том числе и на родину, в Одессу. Хотя никого из родных у тебя не осталось, но есть — друзья, все тот же прекрасный город, Бугаз, места юности...

Ю. Л. Поскольку моя жизнь — беспрерывная работа, а в Одессе для меня нет работы, то вот и не выходит пока никак. К тому же теперь это — заграница, оставшаяся советской во всех вытекающих отсюда подробностях, намного приятнее поехать на Запад, так что остается ждать лучших времен для Одессы и для нас.

Одесса, 1995 г.
Публикация Юлии ЖАРКОВОЙ



Божена СУРУШКИНА

Записки эмигрантки

Автор – известная одесситам врач, которую пациенты и коллеги называют Буся Мироновна, – несколько лет живет в Германии.

Мы публикуем фрагменты ее заметок, написанные, несомненно, откровенным наблюдательным человеком, полным самоиронии...

* * *

Эмиграция — это интересное слово. Оно происходит от слова *миграция*, что означает перемещение людей, животных, вещей и всякого прочего скарба из одной страны в другую, чужую страну. Мне кажется, что слово *эмиграция* происходит еще от одного слова, а именно — *мигрень*. С той только разницей, что если мигрень с ее главным симптомом — головной болью — поражает, как правило, половину головы, то в эмиграции поражается головной болью и вторая половина головы: как выучить язык, как обустроиться, как интегрироваться в чужое общество, как лучше узнать страну и многим, многим другим...

Был сосуд — свой дом, свои стены, свой город, своя страна. И вдруг мы, словно эритроциты и лейкоциты внутри этого сосуда стали проникать через неповрежденную его стенку наружу. Нет! Что-то в этих стенках повредилось, и мы, как и многие другие, устремились через эти повреждения. А куда? Сначала точно в никуда, а просто магнитом тянуло в лучшую среду обитания.

И вот мы погрузили вещи, мы растеряны, но в нас теплится надежда... С нами наш песик, он — член семьи и тоже хочет лучшего. Дорога длинная, а в чужую страну кажется еще длинней. Потом кордоны. Один смешнее другого, каждый так и норовит что-то получить. "Животные есть?" — и тут, внутри, все замирает. Хотя документы, включая прививки на песика, дома все были сделаны, но... одно неосторожное движенье — и под видом штрафа — мзда. Мзда — понятие маленькое, но здесь она очень чувствительная. И вот шепчу: "Миленький, сиди тихонько, не то выгонят. Слышишь?". И это маленькое существо уже все поняло, притаилось и замерло в молчании. Ура! Проехали, песик забился под сиденье, и таможенник его не заметил. "Миленький, умненький, хороший песик", — беру его на руки, глажу, почесываю. Благодарный песик лижет мне руки, а всепонимающие его глазенки словно говорят: "Я выполнил команду, я правильно все понял". И снова глажу и целую это родное существо, перемещающееся с нами.

Сменился ландшафт не столь богатый степной на прекрасный лесной. Леса чередовались с лугами. Поражает сочность растительности, не выжженная солнцем желтизна, а насыщенная, глубокая зелень от присутствия в ней большого количества пигмента — хлорофилла. Чудо, чудо природы и чистый воздух, и необыкновенный порядок с чистотой, как тень за человеком, следуют друг за дружкой. День сменялся ночью, а ночь — рассветом следующего дня. Лиловое небо висело над головами низко, низко и, кажется, протяни руку, и окажешься на нем. Но это только кажется, до неба не дотянуться никогда и нигде. А само небо вдруг мрачнело, заволакивалось тучами, а сквозь тучи упорно, настойчиво пробивались лучи солнца — свидетели жизни, света и радости. Так тоска, душевная боль смягчались красотой живой природы, но, увы, природы чужой, да свежей, но холодной, ведущей к спазму сосудов, и не только головы, но и всего тела.

Песик бегает на остановках, суетится, обнюхивает и с трудом находит себе где-то место. Не шепчет ли ему кто-то, что не все можно, не везде, как прежде, а он пугливо озирается, беспокойно вздрагивает, но... естественно, берет свое, теперь уже среди лесов и на чистых лугах. А песику, видимо, нужен, как и нам, свой воздух, своя, пусть и выжженная степь. Не покидают мысли, что там осталось очень многое — люди, земля, воздух и все бесконечно родное. А когда говорим, что это не так, то лжем сами себе.

* * *

Ура! Вика зарегистрировали. Нет, все было непросто. То и дело слышали: "Невозможно, порядок, нельзя...". Но Вик — настоящий человек. Он не лаял, он вилял хвостиком — сработало. Люди — везде люди, и здесь — не исключение. Немцам в сентиментальности не откажешь. Да и Вик — красавец: серенький, пушистый, а прыгает как! Раньше насчитывали его прыжков до 200 раз, сейчас, правда, меньше, но все же более 100 раз. Уж ел и спал он, мясо-то очень любит, вот и ел его три раза в день, а потом гулял вволю.

Рядом было огромное кукурузное поле — сочные сильные стебли, а на них большие початки, которые красиво и аккуратно украшали это чистое поле. Дальше луг, за лугом — небольшой частный загон лошадей. Мы вспомнили песню: "Кони сытые бьют копытами", — и стали разглядывать лоснящихся от чистоты, сытости и ухоженности лошадей. Вскоре появилась русая отчаянная одетая по форме наездница. Завидев нас с пудельком, лошадь стала совершать круг почета. Вот тут-то Вик и залаял, словно говорил, что ему нравится лошадь и ее наездница, и тут же начал совер-

шать свои знаменитые прыжки, демонстрируя и свое умение, и удаль. До глубокой темноты мы сидели на скамеечке неподалеку, созерцая всю эту красоту и раздолье. Вик не стеснялся, что-то было в этом раздолье от наших вольных степей. Только быстро надвигающаяся ночь и зловещая тишина заставили нас вернуться в помещение, где быстро все вместе уснули безмятежным сном.

* * *

В эмиграции дорога не просто длинная, она еще и не прямая, а этапированная и очень трудная. Нашим следующим этапом было общежитие.

Комендант общежития не был сентиментальным, а совсем наоборот, это был грубый малообразованный человек, который вообще не улыбался. На людей он не просто смотрел, а когда смотрел и разговаривал, то обязательно прищуривался, отчего становилось даже жутковато. Что тогда было на уме у этого человека, одному Богу известно. И вот этот комендант на песика прореагировал плохо, и если нас он вынужден был терпеть, то уж пса... — сами понимаете. Злобно и грубо он сказал на ломанном русском языке: "Убирать кака!". На что я тотчас же мягко, как бы своей мягкостью стараясь смягчить и его, ответила: "Конечно, непременно", — теперь уже на ломанном иностранном языке.

Свидетелем этого разговора был мальчик семи лет на детском велосипеде. Звали его Эдик. Был он тоже из эмигрантов из Казахстана, жил с родителями уже несколько месяцев и был как бы свой и старожил. Вездесущий Эдичка все и всех знал, был в курсе всех событий и проблем общежития. С утра на своем велосипеде он объезжал все номера, справлялся, как идут дела, обязательно встречал прибывших и от всех с радостью принимал угощения, тщательно складывая их в сумочку, повешенную на руле велосипеда. Белобрысый, подчеркнуто вежливый, он не забывал сказать "спасибо" и отъезжал дальше. А уж если что-то кому-то говорил комендант, то Эдичка тотчас же вырастал там как из-под земли. И на сей раз не обошлось без Эдички. Уже с малолетства складывается характер у ребенка, его положительные и отрицательные качества, добро и зло, хорошо и плохо. А плохое на грани с низменным — подслушать, подсмотреть, а потом использовать это. И вырастает не очень хороший, если не больше, взрослый.

Песика мы выгуливали три раза в день — два раза на полянке рядом с общежитием. Полянка была огорожена от проезжей части дороги забором, а вдоль забора горделиво красовались клены и тополя. В третий раз

мы отправлялись на прогулку обычно часов в пять вечера к ближнему лесу. Я добросовестно выполняла указания коменданта.

Быстрыми шагами надвигалась осень, опавших листьев красота припорошила и полянку вдоль забора, где мы и гуляли. Именно туда, стремглав выбегая из нашего номера, всегда устремлялся песик, как бы поняв, что это место ему отведено для прогулок. Да и мы решили, что это самое подходящее место, чтобы поменьше топтаться на полянке. Однажды глубокой осенью наш карликовый пудель сходил у забора. Наклонившись, в опавшей листве я не нашла следов его освобождения. Только я поднялась, как увидела вездесущий хитроватый глаз Эдички из-за дерева неподалеку. Оказывается, глаз этот всегда следил за нами. И если не удавалось ни в чем уличить, он, недовольный, вразвалочку выползал неизвестно откуда и удалялся. А тут наконец-то Эдичка выскочил и прокричал: "А я расскажу коменданту, что вы не убрали". Эдичка не ждал объяснений, они ему просто не нужны были, он был рад удаче, был рад, что не нашлись следы испражнений песика — ему нужна была конфета.

* * *

Каждый день к пяти часам вечера, живя в общежитии, мы отправлялись на дальние прогулки — чаще в лес, но иногда на озеро. Дорога шла мимо огромного луга — необыкновенный зеленый ковер, травинка к травинке, чистота. Это просто большое пастбище для ухоженных коров. То и дело было слышно их мычание, но никакого запаха навоза. Вот где свежий воздух и раздолье для Вика! Дорога прямо через мостик над ручейком вела к лесу, а направо по склону — к озеру. По небольшой горке подымаемся в лес: девственный, красивый и тоже ухоженный. На опушке леса дорожки: пешеходные, беговые и велосипедные — размечены, культивированы и поражают чистотой. Лес смешанный — лиственные рощи и кустарники сменяют кленовые и дубовые посадки и, наконец, сосновый бор. Уходим в чащу леса, таинство и тишина леса завораживают, но и немного пугают, даже Вик далеко не уходит, оглядывается, боясь нас потерять. Временами лесную тишину нарушает на ветру шум ветвей и верхушек деревьев, которые как бы ведут меж собой разговор. И хочется молчать, дышать и жить, и жизнь за все благодарить. Больше всего нам нравится сосновый бор, и дорога наша лежит к нему.

Однажды, бродя по лесу, мы обратили внимание на отметины на стволах некоторых деревьев, а ведь это были отметины о вырубке их, да, стареньких, но еще живых деревьев. И снова волна тоски, пусть немного дру-

гой, но тоски, охватила нас. Верно, что болезнь и старость всегда взывают к сочувствию, состраданию. И вот истина — ведь этим деревьям тоже хочется жить, еще пожить, хоть молодыми никогда уже не быть!

С первыми лучами заходящего солнца мы отправляемся домой. Единение с природой делает нас здоровее, чище, лучше. Неожиданно наш пуделек побежал в сторону, что-то его обеспокоило. Быстрым шагом пошли за ним, и то, что мы увидели, вызвало просто умиление. Единое семейство — семья ежей бойко перемещалась, шурша опавшими осенними листьями. Завидев песика и учуяв опасность, они свернулись как по команде в четыре игольчатых комочка и замерли. Вик подскочил к одному, лапкой попытался коснуться его, но не тут-то было — укололся, отпрянул, но снова и снова повторял. Я подхватила его, он успокоился и понял, что нарушать идиллию покоя мирных хороших животных, как и человека, нельзя.

* * *

Позади осталось общежитие. Наконец мы в своей квартире. Она — просторная, полна света, солнца и воздуха. Нам нравится, Вику, видно, тоже. Он бегает, резвится, обнюхивает все углы, в ход пошли мячики для игр и резиновые его игрушки. Приятно за ним наблюдать. Неожиданно он притих, забился в какой-то угол, мы насторожились, а он сидит, както съежился, глазки прищурились. "Викочка! Что случилось?" — ответа, конечно, не последовало, да и не могло быть. Осталось только догадываться — он что-то вспомнил. Воспоминания, действительно, — благо, которое нужно душе, и подчас у человека желание вспомнить бывает очень сильным. Говорят, что воспоминания свойственны только человеку, а вот животные обладают памятью. Думаю, что и животные могут вспоминать, хотя и память у них особенно чувственная, много глубже. Те же игрушки и даже больше, хорошая квартира и даже лучше, чем прежде, но где же та? Там он жил с двухмесячного возраста, рос и все хорошо помнил. Всем взгрустнулось. Развеять тоску нам помог пейзаж, открывающийся перед домом с балкона и через кухонное окно. Перед домом — лужайка, зеленый чистый палисадник с чистой детской площадкой. Чуть поодаль, ближе к дороге — березовая роща, которая тоже родит воспоминания, будто мы дома.

Из кухонного окна открывается вид на речку — Рейн, пусть не всю, уголок ее, и все ближе, а вдоль речки лесные массивы. Ближе к дому сквозь верхушки деревьев просматривается розовый старинный баронский замок, а чуть дальше шпиль с крестом и часами старинной, построен-

ной в XV-XVI веке церкви святой Маргариты. Каждые полчаса раздается бой часов с колокольным звоном. В эту минуту душа как бы замирает, и ты понимаешь, что твой микрокосмос — часть космоса огромной Вселенной, а ты — его маленькая частица. В эти мгновения начинаешь понимать, что жизнь теперь состоит как бы из двух жизней: жизни, утраченной нами, и жизни, нами приобретенной, — с ее микрокосмосом, комфортом, качеством, которого раньше не было. Но! Та, большая часть жизни внутри своего сосуда, своей Земли, воздуха, пусть с неназойливым комфортом и худшим качеством — но наша жизнь, жизнь со своей нужностью людям, была и остается для нас бесценной!

* * *

Нашему Вику повезло, как и сотням тысяч собак и кошек в нашей стране. Их любят, холят, кормят лучшим и наделяют постелью. Но не меньшее, если не большее количество животных у нас не имеет крова. Эти бездомные бродячие голодные и больные кошки и собаки распространяют заразу бешенства, чумки, кишечных инфекций, глистов и всевозможных клещей и лишаев. Они никому не нужны. Что же не учтено, что не позаимствовано, почему ничего не делается? Печально. Разве не жаль их?

Здесь же бродячих кошек и собак — нет. Для них организованы приюты, где они ухожены, обезврежены, сыты, живут в тепле. Мы видели и маленькие домики, которые построили сами люди для бездомных кошек. Домики эти они утепляют и приносят туда еду и воду. Нигде не слышно собачьего лая, ибо каждый хозяин, воспитывая щенка, надевает на него на пару месяцев ошейник с зуммером на лай. Зуммер реагирует на лай и раздражает собаку, вырабатывается рефлекс. И затем собака лает только в особых случаях, когда ей грозит опасность.

Не менее интересно, что каждый рыболов-любитель, получая сертификат права, проходит инструктаж: рыбка, пойманная на удочку, не должна мучаться. В наборе рыболовецких снастей имеется молоточек, которым после извлечения ее из воды легонько ударяют по голове, чтоб не мучилась в судорожной агонии.

Также любопытно было узнать, что старым немощным лошадям выдают пенсии. Их не убивают, когда они выходят на пенсию, а отдают в частные загоны с пенсией. Люди берут их, жалеют, следят за ними, кормят, поят и воспитывают детей в любви к лошадям, наблюдении за ними.

* * *

Эмиграция далеко не лучшим образом сказывается на личных качествах человека. Зря рассчитывали, надеялись здесь в эмиграции на единение, поддержку всех выходцев из бывшего СССР, рожденных на одной земле, с одним менталитетом и воспитанных одной русской культурой. У многих, к сожалению, в эмиграции наступают мутации далеко не в лучшую сторону. Стыдно за них, когда с этим фактом сталкиваешься. Мало того что мы все оказались в необычных условиях с чужим менталитетом, не своим языком, чужой культурой, так еще и не с лучшей мутацией. Слава Богу, это касается не всех. Мне вообще не нравится, слово "все", когда и любят всех и ненавидят всех, не понимая, что творят уж грех. Есть очень хорошие, добрые, отзывчивые люди, которые полны желания помочь. А есть... И кажется, что плохих мутантов здесь много больше. Но почему? Каждый из нас со своим микрокосмосом, а в нем свои противоречия. Так, наверно, и должно быть, но не столько же... Уж очень сильно этот микрокосмос каждого в эмиграции поляризуется. Вот и захотелось разобраться в этом. Я стала собирать свои и чужие мироощущения. Быть может, это не нужно? Но хочется — думаю, желает этого каждый разумный человек. Тихонько во всем разобраться, чтобы впредь меньше ошибаться.

Что же происходит в эмиграции? Все эмигранты освободились от бытовых проблем, появилось свободное время. Спасибо этой стране, там нам, особенно пенсионерам, было бы теперь много хуже. У пожилых, которые не могут и не будут уже работать, хотя там еще и работали, высвободилось и это время. Но как его занять (это свободное время), как его реализовать? И оттого, кто на что горазд, какова степень его ущербности, зависит, какая наступает в нем мутация.

А вот молодые люди и люди среднего возраста заняты учебой или поисками ее, работой или поисками ее. Они заняты, но занятость эта проходит в условиях другого менталитета, не очень хорошего языка, в борьбе за свою реализацию, свое место под солнцем, свое существование. И в том, и в другом случае сильно поляризуется микрокосмос каждого, хотя и поразному у всех.

В каждом из нас есть добро и зло, плохое и хорошее, и даже низменное. В прежней жизни наличие второй сигнальной системы требовало от нас притормозить в себе плохое, заглянуть в себя, осмыслить и сказать себе "стоп". Времени свободного не было (работа, бытовые и другие проблемы), чтобы что-то растормаживать. Вот и жили с затаенным чувством ущербности, злобности — кто больше, кто меньше. А вот теперь, освобо-

дившись от ряда проблем, получив свободное время и в силу своей ограниченности не зная, как его занять, направили энергию на растормаживание тех дремлющих, низменных качеств с отрицательной энергией. Эта энергия, вырвавшись наружу, устремилась как на самого хозяина, так и на окружающих его людей, сделав невыносимой жизнь изнутри и снаружи. Болезни и страдания, страдания и болезни изнутри, а внешне — снаружи — смешные до парадоксов и анекдотов истории, когда каждый сочиняет, что в прошлой жизни он непременно был директором, начальником, главным инженером и даже профессором, суды и пересуды.

И что же? Выплескивается злоба, ненависть, гордыня с завистью, жадность и месть, а причиной тому неудовлетворенные желания, ущербность либо в прошлой жизни у одних, либо в настоящей жизни у других. Жалкие мещане, прикрываясь лицемерием, пытаются убедить в своих дружеских намерениях и предают. Какова же обида и разочарование в человеческой подлости. И поняла, что здесь мы — как в гостях, и очень откровенными нам нельзя быть, ибо вынужденно общаемся с людьми с самыми разными суждениями и воспитанием. Тут и умники, считающие всех недоумками, кроме себя, тут и те, которые уважают только свои убеждения, но не чужие, других угощают обидами, а обид себе не прощают. Чванство и даже предательство. Меняются взаимоотношения. В этом суть мутации в эмиграции. В каждом из нас есть зло и грех, но есть и добро, и надо бы, чтобы зла было поменьше, а добра побольше. Хочется, чтобы к тебе относились так, как ты относишься к другим. А в жизни все бренно, в мир иной все с собой не унесешь и там покой не обретешь. На ум приходят замечательные слова Б. Пастернака: "Силу подлости и злобы одолеет дух добра". Будем верить и надеяться на это!

* * *

Постепенно, но все настойчивее и настойчивее мы стали ощущать наступившие перемены — от природы, климата, среды обитания до людей и животных. Чужбина же, конечно, и тяжела, и трудна, а без языка и сложна. Чужбина — этим все сказано. Мы разрушили свое гнездо, а это страшно, решили убежать от сегодняшней реальности, ее проблем — ведь это так, а значит, убежать от себя. А от себя не убежишь. Где-то вычитала, и как в точку: "от себя не убежишь — силы слишком неравные".

Проблемы всегда были, есть и будут, и везде, а решать их надо — сегодняшние — сегодня и у себя, а не бежать от них черт знает куда. Разве что, если стар и не можешь. Хочется лучшего, стремимся к лучшему и оши-

баемся, когда думаем, что где-то нет проблем. Да, наверное, где-то и лучше, но стоит ли игра свеч, стоит ли эмигрировать за этим лучшим? Не уверена. Ведь нет, думаю, и не будет ни идеального места, ни идеального государства, а получив хороший бутерброд, надо не забывать, что он всегда падает маслом книзу. И не хлебом же единым сыт человек. Не лучше ли заглянуть в себя, осмотреться вокруг себя и найти хорошее, и просто жить, радоваться жизни. Тогда и проблемы будут решаться, и не придется бежать за тем, чего в природе вообще не существует. "Везде свои волки, и бежать от них не надо". Никто еще лучше не сказал, чем великий Шекспир: "Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться".

Точно, что человек, покинувший место, где родился и жил, явно несчастлив, и счастливым никогда не будет.

* * *

Какое счастье, что у многих эмигрантов из бывших стран СНГ, воспитанных на русской культуре, сохранилась любовь к русскому языку, русской литературе и своей земле. Естественно — любить свою Родину и продолжать любить ее, болеть за нее, оказавшись в эмиграции. Да, она подчас была несправедлива, да, были пещерные, зомбированные особи, которые натравливали людей друг на друга, но эта земля дала нам жизнь, воспитала нас, и мы стали такими, какие есть, дала образование, работу, мы прожили там большую часть жизни, какой она тогда там была, там остались родные, близкие и дорогие нам могилы. Человек, который не хранит любовь к своей стране, никогда не сможет и не будет любить никакую другую страну. И это понимают все!

Боль по родному языку и утраченной стране ничем и, по-видимому, никогда не будет восполнена, хотя мы и покинули ее. Ностальгия по утраченному остается в нас, и даже по тому, чего вообще не было. Это ли не есть любовь к своей земле? Да, это и есть любовь к ней, любовь, которая выражается даже в желании раскрасить ее, землю, в самые красивые тона. Где бы мы ни жили, язык, как память о своей Родине, будет с нами, в нас и никогда не забудется. Слава Богу, что так думают многие, и стыдно за тех, кто думает иначе. И чтобы язык не исчез и не умер внутри нас, как и русская культура, огромное спасибо с поклоном тому, кто создал русскую библиотеку и преумножает ее, а мы, пользуясь ею, будем развивать и сохранять язык, чтоб не умер в нас.

"Стать полезным винтом в машине..."







Когда листаешь страницы одесского журнала "Шквал", выходившего в 1924-33 гг., то в голове невольно начинает звучать "Марш энтузиастов". Издание существовало под патронатом Одесского Губкома КП(б)У, Губисполкома и Губпрофсовета, раз в две недели (а потом еженедельно) оно доказывало своим читателям, что "каждый, кто комсомолод", каждый рабочий должен "быть и слесарем, и наркомом". Таков был дух эпохи, и предыдущие поколения людей находили в той жизни свое место, ибо, как известно, "времена не выбирают".

Сегодня журнал интересен, прежде всего, документальной фиксацией фактов, событий, своей насыщенной иллюстративной частью.

Чрезвычайно любопытно читать фельетоны Суфи и чувствовать отношение к городу человека 20-х гг., услышать как бы его размышления о прошлой и настоящей экзотике Одессы.

Название одного из материалов ("То, чего нет") становится теперь рубрикой, в которую можно отнести описанные в "Шквале" материалы о музеях "Старая Одесса" и музее еврейской культуры, а также о таком удивительном месте, каким был в Одессе многие годы "Детский городок". Все это ушло из города, растворилось, потеряло первоначальное значение. Осталось, как говорится, только на бумаге...

Журнал старался знакомить читателей с хорошей литературой, поэтому мы находим на его страницах рассказы И. Бабеля, Ю. Яновского, В. Каверина, публикации Леся Курбаса, Д. Маллори (Бориса Флита), отрывок из романа М. Булгакова "Белая гвардия". В каждом номере публиковались стихи Э. Багрицкого, С. Кирсанова, С. Бондарина, Т. Тэс, И. Микитенко, В. Сосюры и многих других.

Репортажи с обильными фотоиллюстрациями сохранили для нас не только облик одесситов тех лет,











но и круг их интересов. Призыв "учись!" приводил к рассказу о городской уникальной публичной библиотеке. Корреспонденты следили за оперативным восстановлением оперного театра, который в 1925 году, как известно, пережил пожар. Интереснейшую подборку высказываний о творчестве Бабеля предложил в одном из номеров маститый одесский критик И. Крути. Выяснилось, что современники далеко не всегда однозначно принимали творчество писателя.

Останавливают внимание очерки Михаила Жука, художника и педагога, знавшего, кажется, весь цвет художественной интеллигенции. Со многими из них он вел активную переписку, о других оставил любопытные заметки. "Шквал" напечатал, в частности, его материалы о художниках Соломоне Кишиневском и Александре Мурашко.

Отметим, что это издание, спустя уже многие десятилетия, не теряет своей значимости при изучении социальной и художественной жизни Одессы середины 20-х – начала 30-х гг.

Татьяна ЩУРОВА

ТО, ЧЕГО НЕТ

(НОВЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОДЕССЕ)

Одесса — город экзотический. В каждой стране есть свой экзотический город, который совершенно непохож на остальные ее города. В этих городах все события заслуживают оценки только в грандиозном масштабе, и девять десятых из них входят в историю культуры так же просто, как и в хронику происшествий.



Сейчас двери подвала забиты и на них надпись "Тамбринус"

Такое слишком домашнее отношение к анналам истории порождает мнение о том, что все происходящее безусловно достойно истории уже потому, что оно произошло в Одессе. Во-вторых, оно рождает уверенность, что как бы Одесса ни старалась не войти в историю, она все-таки обязательно в нее войдет.

Это все знают, никто не спорит против того, что Одесса экзотический город.

Бабель ни за что не родился бы в Одессе, если бы только на секунду сомневался в ее действительной экзотике. Наконец, что бы делала в литературе Любка Козак, не будь экзотики и Одессы?

Но что прикажете делать путешественникам, которые специально приезжают посмотреть экзотический город и требуют, чтобы им подали экзотику наличными, без обмана, от поезда до поезда?

Такой человек может наделать много шума, если вместо экзотики ему показать только лестницу и памятник Ришелье или же подарить на память книжку "Одесские трущобы", написанную настоящим полицмейстером. Такому человеку нельзя втолковать и того, что Одесса — не заповедник экзотики, которая валяется без дела на улице, и что всю свою наличную экзотику Одесса давно уже экспортировала через Аркадия Аверчен-

ко и других, превратясь с тех пор в тихий и спокойный трудовой город.



Напрасно принято думать, что в классических странах только и делают, что фабрикуют классику. Это не так.

В классических Афинах все сплошь наполнено венскими подделками, и эллинские сокровища можно найти лишь в британском и берлинском музеях.

Лучшие ангорские козы водятся как раз не в Ангоре, а в Капштадте, а лучший кофе Мокко растет в Южной Америке, не в Аравии.

Все относительно.

Но тем не менее, сразу отмахиваться от всего и клясться, что никогда ни единая крупица экзотики не ночевала в Одессе, — нельзя. Какое-то "полное собрание сочинений города Одессы" быть должно, хотя бы для дачников.

Нужно пересмотреть весь старый арсенал занимательных историй и анекдотов, произвести чистку их и слегка освежить конструктивно, согласно требованиям публики, воспитанной на Сельвинском. Иначе получается старо. Кого не спросишь, все Маразли да Маразли. Ну, еще театр. Или — Гольдштейн из "Пале-Рояля".

Экзотическую летопись надо начать с А.С. Пушкина. Все, что до него, должно быть совершенно исключено, как относящееся к доанекдотической эпохе. А.С. Пушкин первый из русских людей не постеснялся назвать Одессу — блестящей Европой. Оттуда все и пошло. Ему же можно, кстати, приписать и каламбур, впоследствии известный как пословица: "семья не без урода", — в такой формуле: "как семья не без урода, так и Россия — не без Одессы".

К счастью, все это было в давно прошедшие времена и сохранилось лишь в преданиях.

В здешнем музее хранится тяжелая железная палка поэта, а из писем его мы знаем, что он обещал познакомить своего друга П.А. Вяземского "с подвижниками Иордаки и с гречанкою, которая целовала Байрона". Подвижников Иордаки можно опустить, но гречанку, целовавшую Байро-

на, обязательно следует ввести в основной курс местной экзотики. Также и палку.

Эти две свежие темы, неразрывно связанные с искусством, должны с успехом заменить надоевшие истории об отважных контрабандистах и комиссионерах.

Во времена более близкие нам путешественник приезжал в Одессу с твердым знанием того, что вся экзотика окопалась в "Гамбринусе". С пьяной руки Куприна маленький подвальчик легко вошел в большую литературу, а Сашка скрипач в положительное бессмертие. Лет двадцать тому назад Юшкевич приобщал к экзотике в залах "Гамбринуса" молодого драматурга Переца Гиршбейна. Впрочем, если бы записывать всех знаменитых гостей "Гамбринуса", пришлось бы издать особый справочник, вроде "Вся Одещина", и назвать его "Весь Гамбринус".

Сейчас двери подвала забиты, и на них еле видна историческая надпись "Гамбринус". И там, где когда-то Сашка-скрипач сделал Куприну один из лучших его рассказов, гниль и запустение символизируют пройденное прошлое.

Это хорошо, что Гамбринус закрыт.

Все классическое должно быть в покое.

Все классическое должно быть мертво.

Легенды создаются только о классическом, о том, чего нет. Забитые двери "Гамбринуса" — памятник на могиле экзотики. Когда-то она была украшением города, и самые степенные люди радовались тому, что у них все не так, как у других людей.



Еще один король не у дел

Быть потомком контрабандиста считалось очень неплохо. Налетчиками гордились. Купцы торговали воздухом.

Небольшой кусок товарного воздуха и пару накладных на него стоит сохранить для потомства, как образчик высокого производительного труда старой Одессы.

Пройдет еще немного лет, и новая жизнь сметет последние корешки

смешных воспоминаний о людях, которые не сеяли своего, а всегда только жали чужие нивы.

Далее, я предложил бы почтить память Леона Дрея, который был не только крупной литературной величиной, но и уважаемым, должно быть, муниципальным деятелем, одним из отцов города. Какими нарядными стали бы улицы, если бы можно было украсить стены домов мраморными досками: "Здесь жил тот, кто был Леоном Дреем". Таких досок могло бы понадобиться тысяч сто, я думаю, не меньше.



"Крыса" на трудовом пути

Над каким-нибудь столиком в кафе бывш. Фанкони нужно обязательно надписать "Здесь изволил сидеть Невзораки, он же граф Невзоров, горой Алексея Толстого". Особо настойчивым туристам показывать каракулевые шкурки, купленные Невзоровым в таможне.

А в старых, умирающих кварталах Молдаванки не трудно показать последних биндюжников из Бабелевской "Конармии". Самого Беню Крика я отнес бы к французской школе и рассказывал бы о его бытии попутно с историями о Ришелье и Ланжероне.

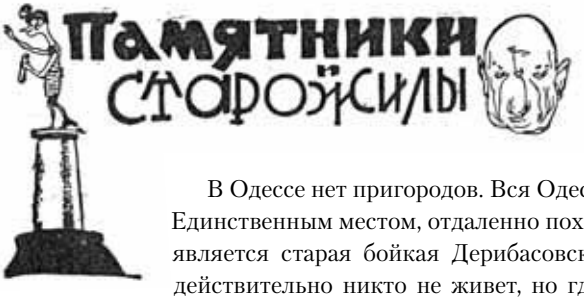
Нет ничего невероятного в том, что он окончил, быть может, Ришельевский лицей. Человек малограмотный не сумел бы сделать из своего отца короля Лира.

Для тех же, кто, справедливо поступая, не ищет экзотики прошлого, а требует от Одессы "патента на благородство" в настоящем, решительно необходимо напечатать списки одних только знаменитых поэтов и редакторов, экспортированных в Москву. Взять хотя бы... Впрочем, это в другой раз.

Достоин описания и бывший актер из беспризорных Крыса, неожиданно ставший на путь трудовой жизни под влиянием успеха фильм, в которых он снимался.

А в конце концов, если логически разбираться, так и в спасении Нобиле и Амундсена Одесса участвует своим человеком. Этим обстоятельством тоже нельзя пренебречь, составляя путеводитель по экзотике.

Суфи.



В Одессе нет пригородов. Вся Одесса живет в центре. Единственным местом, отдаленно похожим на пригород, является старая бойкая Дерибасовская, где как будто действительно никто не живет, но где все обязательно почему-то бывают. Вроде сегодняшнего Северного полюса, где нет ни одного коренного жителя, а вместе тем, и весело, и шумно, и модно.

Вся Одесса живет в центре. Человек с Молдаванки и человек с Зернового рынка одинаково честно уверяют, что центр именно там, где они живут. Я вот хочу жить у Александровского парка, так меня твердо уверили, что это-то как раз и есть самое бойкое место.

Впрочем, центральное место еще не обязательно самое бойкое. Например, самой центральной гостиницей является "Лондонская", а между тем, насколько известно, она едва ли самая бойкая.

Центр — понятие трудно уловимое и не всегда однозначащее, но во всяком случае всегда указывающее на солидность.

В старые времена центры определялись по памятникам. По числу их или, скажем, добротности устанавливался разряд центров. Но сейчас с памятниками совершенно неблагополучно. Взять хотя бы старые памятники. Ну, вот, Ришелье, скажем. Невоспитанно и грубо: стоит себе человек в купальном халате и показывает пальцем на морские ванны и на лиман. Дескать, купайтесь во имя мое, дорогие граждане. Это — грубая курортная реклама, а не исторический памятник. Или взять другой памятник, на пл. К. Маркса. Очень непонятно и сложно: стоит каменное бревно, и на бревне совершенно пусто, даже надписи никакой нет. Я пытался было установить прежний вид памятника у старожилов, но оказалось, что хуже всего, что давно уже в Одессе нет никаких старожилов.

Кого ни спросишь:

— Не одессит ли вы, гражданин?

— Что вы, что вы, я человек новый, приезжий.

— И давно здесь?

— Да нет, каких-нибудь, пятнадцать лет всего. Я сам, знаете, из Балты.

И когда приглядишься ко всем этим приезжим, выходит, что корен-

ных, обывателей всего только и есть какой-нибудь куцый десяток: два-три грека из Салоник, полдюжины немцев-колонистов, да гостиничный комиссионер, которому просто полагается все знать в городе лучше других, а он не знает и говорит, что он такой старожил, что даже ничего не помнит.

— Я знаю? — спрашивает он вас. — Если я здесь и родился, и учился, и женился, и трижды судился, так — по-вашему — я могу еще что-нибудь помнить? Я же такой старожил...



Старожилы

Старожилов в Одессе надо различать по степени знаменитости. Единственно верный способ.

Не успел Марк Тарловский напечатать свои стихи в 6-ой книжке "Нового мира", как все вдруг вспомнили:

— Кстати. Ведь он же — одессит.

Бабель до "Конармии" считался, должно быть, приезжим. Из Витебска, из Парижа — все равно.

В Одессе очень любят стихи и отлично знают их наизусть. Только потому, что самый ходкий тип старожила — поэт. Если бы все местные поэты вдруг стали бы знамениты, обывателю некогда было бы говорить прозу. Времени для прозы не хватило бы. С утра, скажем, под Веру Инбер, в полдневный пафос — под Багрицкого, пятое-десятое — под Кирсанова, а там уже вечер, смотришь, и спать пора.

Так весь день в поэтическом трансе и пройдет. И еще неиспользованные поэты останутся, за недостатком времени.

Некий исследователь литературы придерживается того мнения, что не напиши Пушкин большую часть своего "Онегина" в нашем городе — так Пушкина, очень просто, здесь и не знали.

И памятника ни в коем случае ему не поставили бы.

А так одесситы очень культурный народ. Все читали и все знают. И не мудрено — либо сами писали, либо о них писали. Но вы представляете, что могло бы выйти, возьми Одесса курс не на поэтов, а — скажем — на одних бухгалтеров...

А возвращаясь к вопросу о центрах, придется сознаться, что вся Одесса живет в центре. Вот Херсон какой-нибудь — это уже не то. Херсон — сплошь пригород. Про Одессу же ничего этого сказать нельзя: куда ни посмотришь — всюду центр.

СУФИ.



Портфель Ахматовой

УЧЕБА

Чтоб смотреть за собою в оба.
Стать полезным винтом в машине,
будем —
Смазывать винт учебы,
мерить азбуки на аршины.
Чтобы каждый,
кто комсомолод,
знал заране,
что в нашей власти
мало только держать за молот,
но —
гранит расколоть на части! —
Мало этого.
Движем большим:
с каждым винтиком будь знакомым,
потому что рабочий должен
быть и слесарем и наркомом.
Если книжка берется боем,
нужно быть и в учебе стойким.
Лишь тогда хорошо построим,
если будем учиться стройке.
Город
может сгореть от спички,
а от воли —
горит работа.
Если труд и наука в смычке,
бей хоть залпами пулемета.
Нам
дорога ясна.
Наводчик
дал наводку —
ее не сменим.
Перед нами
Один и тот же,
был и будет
Владимир Ленин.

Сергей Бондарин.

ЖИЛБЫТ







ДЖУНГЛИ КНИГ...

Вы, должно быть, догадываетесь, о чем идет речь. Ну, конечно, о "публичке", о публичной библиотеке, о гордости нашего района.

"Публичка" это — леса книг... Нет, не леса, а — джунгли.

Публичная библиотека была выстроена в 1907 году. Она имела огромные книгохранилища и мощный читальный зал на 300 человек.

Строители считали: в год поступает в библиотеку 4-5 тыс. томов книг, — следовательно, хранилища хватит на несколько десятилетий.

Прошло только одно десятилетие от Октября, и библиотека стала задыхаться в своих бетонных стенах.

Вместо довоенных 5000 томов сейчас за год поступает в "публичку" около 60.000 томов.

Книгохранилищ — не хватает. Сейчас в последних закоулках хранилищ лежат этакими "беспризорными" 100.000 томов, которые некуда девать. Штабелями кирпичей, ярусами, которые грозят "обвалами", навалены книги.

Тесным оказался и читальный зал: библиотека насчитывает 11.000 читателей.

Выдача книг выросла от 161.000 в 1915 году до 320.000 в 1927 году.

Вы можете здесь застать до ста человек, ожидающих очереди, чтоб занять место за столом.

Болезнь роста...

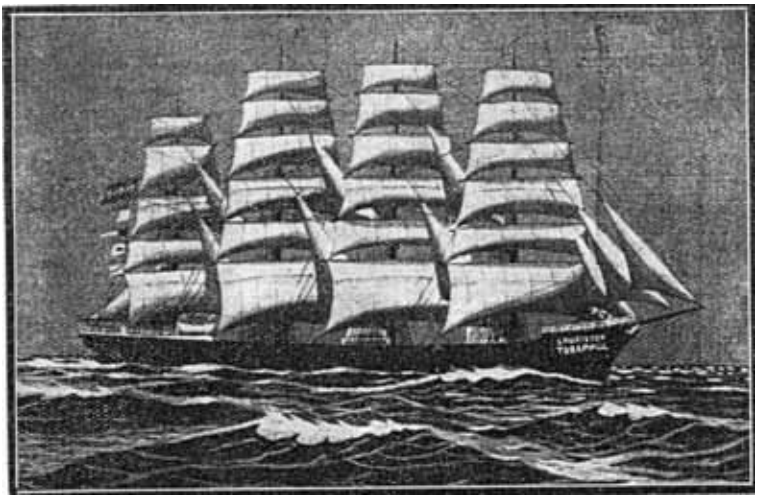
Библиотеке необходимо расширить книгохранилище и читальный зал. Это все прекрасно понимают. Все в этом вопросе — "за!".

Но вопрос о передаче соседнего дома тормозится и тянется уже два года. Тормозится также вопрос об отводе другого дома по переулку — под новое книгохранилище.

Нужно, чтобы это дело было двинуто более решительно.

Ал. Светлов.





ГЛОБУС

...Слышишь,
Ветер, скрученный и плотный
На канатах мачтовых повис,
Загудели белые полотна
Широко развернутых страниц,
Поворачиваю глобус осторожно,
Розовеет жадная рука
И земли распластанное ложе
Выплывает в озеро зрачка.
Вот оно.
В медлительном покое
Водами тугими потекло
Адриатики, набухшей зноем,
Голубое, дряхлое стекло.
О, полет, неслыханно-упругий
Иноземных, непонятных слов,
На борту медлительной фелюги
Горбоносый, греческий улов...
Дальше, дальше. Триполи, Марокко,
Гибралтара синяя ладонь...
И не нам ли вспомнить, как далеко
Виден миру Английский огонь,
И не нам ли, с накипью несладкой
Бормотанью злобному внимать, —
И встает над глобусом раскатом
Нашей жизни огненная рать.
Наклонюсь над глобусом — и вольно
Мысль неугомонная звенит, —
Ходят по морю тугие волны,
По над морем движутся огни,
Гул и грохот городского дыма,
Скрип да ветры тихих деревень, —
Над страной встает неутолимый
Распахнувшийся
Рабочий день!
...Но конец. И медленно, и сонно
Ветра замедляется полет
И скрипят
Натруженно полотна,
Возвращаясь в жесткий переплет.

Татьяна Тэс


ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА 2-й ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
РАВНЯЙТЕСЬ ПО ЛУЧШИМ!
ОКТЯБРЬ
№ 68
ПОЗИКА
ІНДУСТРІЯЛІЗАЦІЯ СРС

Бабель и его критики

Талант всегда: или покоряет себе или восстанавливает против себя. Но равнодушным никогда не оставляет. Чем талантливее, чем ярче, чем оригинальнее — тем острее любовь или вражда, тем категоричнее признание или отрицание.

Эту судьбу писателя познал ныне и Бабель, за чьим литературным развитием особо чутко следит пролетарская общественность Одессы, в которой он последние годы жил, откуда он добровольно пошел в Конармию и куда он с войны вернулся, чтобы здесь, в тиши одинокой комнаты на окраинной Молдаванке, оттачивать остроту своих миниатюр, ставших сейчас предметом ожесточенного литературного спора.

..."Гражданин Бабель рассказывает нам про Конную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-белье, с ужасом по-бабьи рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу; выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет...

Т. Буденный выступает на защиту тех, кого "дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти", — так резко и, конечно, несправедливо, как увидим ниже, оценивает в № 3 "Октября" творчество Бабеля командарм конной т. Буденный. За этим категорическим отрицанием Бабеля следует ряд критиков, "предостерегающих" Бабеля от тысячи ожидающих его "напастей" и ставящих поэтому вопрос о его писательском лике.

П. Ионов в "Правде", в рецензии о пятой книге "Красной Нови", пишет:

..."В одной из своих миниатюр Бабель пишет о командире эскадрона Мельникове: "И он мне рассказывал о женщинах так подробно, что мне было стыдно и приятно слушать. Это, я думаю, потому, что нас потрясли одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, на луг, по которому ходят женщины и кони". Это место бросает чрезвычайно яркий свет на Бабеля. Интеллигент, "сведенный с ума воспоминаньем о мечте своей, об Аполеке", нашел, что у него общее с героями конармии... в авантюристическо-гедонистском взгляде на жизнь, как на луг, где пасутся кони и женщины!

На этом же моменте в творчестве Бабеля останавливается и Н. Осинский, в новогоднем номере "Правды" ("Литературный год") решительно пишущий:

..."Не конармия оказалась состоящей исключительно из деклассированных типов, видящих все свое сногсшибательный номер, гоняться за жеребцами и назначение в том, чтобы покрепче выпить, отмочить кобылками"...

хотя несколько выше, опровергая и себя, и впечатления т. Буденного, тот же Осинский констатирует:

..."И тут же — отличная (не во всем) картинка "Колесников", где описан Буденный — редкий образчик в беллетристике хорошего портрета, не описания типа (тип можно строить по своему усмотрению), а описания конкретного человека, так что он похож"...

Это умение дать "конкретного человека" отмечает и В. Плетнев в "Альманахе Пролеткульта":

..."Язык бытовой он (Бабель) знает до тла, слововыбор у него для его сюжетов отличный, перевоплотиться иль трансформироваться из казака-красноармейца в Мишку-Япончика, веселого короля воров, ему ничего не стоит, и тот и этот, как живые".

Последнее, правда, со своей узкой формалистской точки зрения, но метко объясняет в "Лефе" № 6 В. Шкловский, полагающий, что Бабель

"чужой в армии, он иностранец с правом удивления. Он подчеркивает при описании военного быта "слабость и отчаяние" зрителя"...

Против приведенных выше мнений, с решительной апологией Бабеля, выступает в большой статье в "Красной Нови" (№ 5) т. Воронский:

..."Как редактору "Красной Нови", в которой печатается Бабель, автору статьи пришлось выслушать ряд самых жестоких упреков от некоторых виднейших военных работников в Красной армии...

...Подобные упреки основаны на целом ряде недоразумений...

...Бабель, как это очевидно из его миниатюр, прошел в конармии суровую и здоровую школу. Конармия научила его ценить правду, истинность, справедливость, непреложность и самоценность "бабищи" — жизни в противовес мечтательной отвлеченности. Здесь он увидел, что правда Афоньки, Балмашева, Сашки неизмеримо выше правды "зрителей без бинокля", Альфредов и Альфредиков.

Понимание этой правды — смутное, туманное, отвлеченное, но крепко засевшее в голову. Они почти все правдоискатели: Сашка Христов, Балмашев, Левка, Мельников, Сашка Эскадронная, Афонька, даже Курдюков, даже Король из "Одесских рассказов", даже Конкин, "обиженный" махновцами.

...Бабель глубоко заглянул в народную толщу Афонек и там даже под покровом жестокостей увидел правду их жизни, непреложной, как роса, воздух, солнце, море, горы. Считать художника близким к какой-то контрреволюции на том основании, что он не дал настоящих коммунистов, значит пройти мимо основного содержания его творчества. Бабель больше наш, чем многие иные, старательно наклеивающие на свои вели ответственный ярлык коммунизма и пролетарского искусства!!

Решительно положительной является оценка Н. Смирнова, который в "Известиях ВЦИК" пишет: "Мы обращаем внимание читателя на... Бабеля, как на значительное и выдающееся событие в литературной жизни.

Бабель — талантливый писатель. Прежде всего, рассказчик, мастерски владеющий своим материалом... Рассказы Бабеля заставляют вспомнить наших лучших литературных мастеров. Но если в творчестве Бабеля и преломляется несколько влияний (Лесков, Замятин), то все же он глубоко — самостоятелен и целен.

...Он сюжетен. Но его сюжетность... в его неожиданной и неизменно оправдываемой заостренности...

...Он образен... Редкий, но яркий образ сквозит во всем его повествовании. Словно северное сияние над льдами.

Мы уверены, что Бабель даст нашей литературе многое!"

...Такова оценка, данная творчеству Бабеля нашей критикой. Успехи Бабеля велики и не меньши поэтому его неудачи. Его выдающееся мастерство признано даже оспаривающими. А из тех противоречий, которые в его творчестве в известной степени и имеются, помогут ему, думаем, выбраться его острый глаз, чуткое ухо, твердое и неуклонное стремление осознать и воплотить в кованные строки своего письма героической великой Революции.

И. КРУТИ.



СОЛОМОН КИШЕНЕВСЬКИЙ



Соломон Яковович Кишеневський народився в м. Одесі року 1862 в родині ремісника-робітника. З малих років, ще бувши учнем у хедеру, С. Я., не дивлячись ні на які перепони ортодоксального осередку, С. Я. ще на ослонах тої специфічної школи почав захоплюватися образотворчим мистецтвом. В яких умовах було єврейство другої половини минулого сторіччя у февдально-поміщицькій царській Росії, добре знає кожний. Єврейському юнакові ще з дитинства призначилося бути або дрібним крамарем, або дрібним ремісником. Дальше за таку перспективу єврейській бідняцькій молоді не дозволялося нічого бачити. І, звичайно, прояв любові в дитині до малювання мусів засмучувати і добрих знайомих і саму родину Кишеневського.

Без допомоги, без будь-якої школи до 18 років С. Я. малює пейзажі з натури й лише у 18 літ вступає до одеської художньої школи, яку і закінчив. Коли пишеш за єврейського культурного робітника, то мимоволі згадуєш тяжку долю кожної єврейської дитини минулого. Наприклад, відомий мандрівник Вамбері (єврей з Буда-Пешту) своє дитинство провів у пивниці вдовиматері, де під столами вивчав східні мови й де веселі відвідувачі обливали дитину рештками недопитків з пива. Так було в царській Росії, так на Угорщині, так і по всіх капіталістичних країнах.

І не дивно, що по закінченні одеської художньої школи, де С. Я. відзначено двома срібними медалями та одним бронзовим — він опинився на вулиці, бо єдиний шлях — до педагогіки йому, як євреєві, був закритий. Без грошей, без якої будь підтримки С. Я. все таки потрапляє за кордон, спочатку до Мюнхену, потому до Берліну, Риму й Парижу. Уперто студіює він старе мистецтво, захоплюється новим і вже з поворотом на Україну, до м. Одеси, року 1888 виступає на виставці, як молодий, закінчений художник.

Тоді його "ласкаво" помічають. Він стає популярний через дві-три виставки, його купує "Третьяковка", його приймають "передвижники". Та й С. Я. охоче йде з "передвижниками", їхні народницькі ідеї цілком відповідають настроєві молодого майстра. Підо впливом Маковського, Рєпіна, особливо першого (з боку тематики та сприймання речі) С. Я. малює будні звичайного життя. І які були будні — такий був і колорит тодішнього Кишеневського: непривітний, суворий, але переконаний у своїй народницькій правді. Бездомні діти, покидьки капіталістичного болота, забруджені околиці портового міста, самий порт з чорними баржами, з вантажними пароплавами, світанки на порожніх вулицях, де від учора залишилося стільки смітника та недоїдків, бездомні пси, що з тих світанків найбільшо задоволені, — от той можливий світ, який впливає на художника.

Можливий тому, бо глибше не можна було аналізувати соціяльної нерівности тодішньої буденщини — все одно такого твору царська цензура не дозволила би експонувати, як це бувало з картинами художника Миколи Ге. Великий оптиміст С. Я. викопує будні навмисне. Бо їх, як і в кожному календарі, буває найбільше. Дуже. Уся його художня праця, цілих сорок років, відбулася на Україні. І його роля, яко культурного діяча, внесла свою частину в розвиток мистецтва нашої країни. Кишеневський — дійсний художник: ні холод, ні голод перших часів революції не спинили його роботи, ні погані матеріяльні умови сьогодні не створили злобливости в його істоті. Він такий же бадьорий у 67 літ, як і колись. Постійний учасник всеукраїнських виставок, захоплений революційною тематикою, — С. Я. демонструє тепер свою працю за ювілейний період. Громадянство повинно широко відгукнутися на таку подію. Ретроспективна виставка в Політехнікумі образотворчих мистецтв (вул. 10-річчя Черв. армії 16) — повинна переконати глядачів як у майстерній вдатності С. Я. так і в тій любови до мистецтва, що він виявив протягом такого великого часу.

Проф. МИХ. ЖУК.



Цього року минуло десять літ, як у Києві невідомі бандити вбили одного з кращих художників-українців — Олександра Олександровича Мурашку. Мурашко народився в Києві 26-го серпня 1875 року. Батько його Олександр Іванович був власником відомої в Києві і на Україні іконостасні, де Олександр Олександрович уперше познайомився з художніми матеріялами і малярським мистецтвом, працюючи над іконами для провінціяльних церков. Дядько його Микола Іванович був художник, що заснував у Києві першу художню школу, де О. О. і одержав початки художнього виховання. 18 років, при енергійній підтримці проф. Прахова, що переконав О. О. в його художній талановитості, він виїхав до Петрограду в майстерню І.Є. Рєпіна.

За конкурсну працю — велику картину "Похорон Кошового" О. О. дістав закордонне відрядження, що потім того поновлялося аж двічі по поданні праць, виконаних у Мюнхені та Парижі. Тоді ж таки деякі його праці придбала Академія Мистецтва та музей Олександра III. В Парижі та Мюнхені Мурашко завершив свою художню освіту. Потім повернувся до Петербургу, де прожив до весни 1909 року. Того ж саме року назавжди переїхав до Києва, де його обрали на вчителя Київської худ. школи. Але вже 1912 р. Мурашко пориває з казенним отточенням школи і відкриває власне ательє, де працює спільно з Козловим та Крігер-Праховою. Мурашкова майстерня дуже популярна серед худ. молоді





проіснувала аж до народження Укр. Акад. Мист. у Києві. Мурашко здійснив свою колишню мрію, щоб побачити в рідному місті справжнє вогнище вищої художньої культури. Він брав діяльну участь у комісії для заснування Академії і, як професор вищої школи, мав любов і пошану від своїх товаришів та учнів.

Як художник О. О. відомий не тільки на Вкраїні та Росії, але й далеко за їх межами. З 1909 р. включно до початку імперіялістичної війни він виставляє свої картини в Германії (Мюнхен) — на міжнародній виставці, де 1909 року одержав золоту медалю за картину "Карусель", куплену до Будапешту. Потім в Берліні 1911 року він улаштував свою невеличку виставку в приватній галереї Шульте, відкіля вона була потім переведена до Дюсельдорфу та Кельну.

1910 року на міжнародній виставці у Венеції Мурашко виставляє цілий ряд робіт, як от "Недільний день", "Жінки в білому" та інші. Усе продано до Америки (Нью-Йорк) та до Бухарештів. 1912 року на міжнародній виставці в Амстердамі О. О. теж виставляє чимало речей, які розкуповали аматори — знавці та колекціонери.

Мурашко темпераментний та великого кругозору художник. Його майстерність в обсягу рисунку та широкі барвні компонування, завжди тішили глядача тою вільністю й співом, що давали полотна на кожній виставці.

Це були якісь хори глибоких переживань, де художників пензель як диригентова паличка, керував незнану симфонію. Від бадьорого вихрястого настрою "Каруселі", де водометом бризкала людська, здорова втіха, до лірики смутку "Тихого горя", до цілого ряду майстерно виконаних портретів, — доторкнувся його чарівний пензель, і вони довго житимуть на втіху людям.

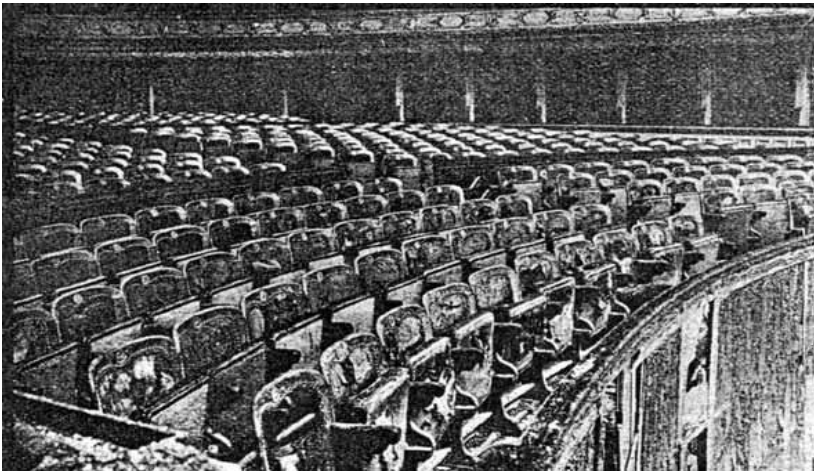
Треба гадати, що спадщину в роботах О. О., яку посідає його дружина, надбає держава до народньої галереї. Д. В. У. в своїому пляні має найближчим часом випустити монографію Мурашка.

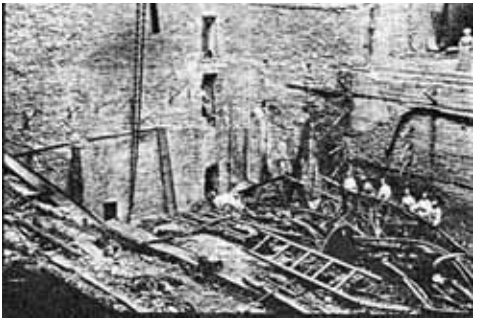
Звичайно, давно слід популяризувати такого видатного майстра.

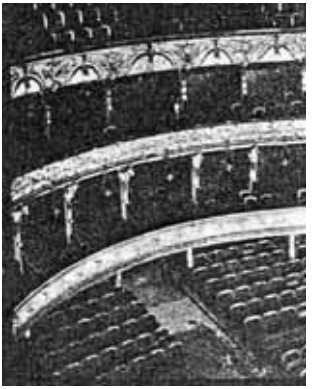
Проф. Мих. Жук

Пожар им. Луна

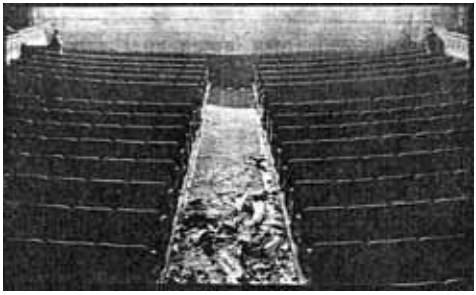


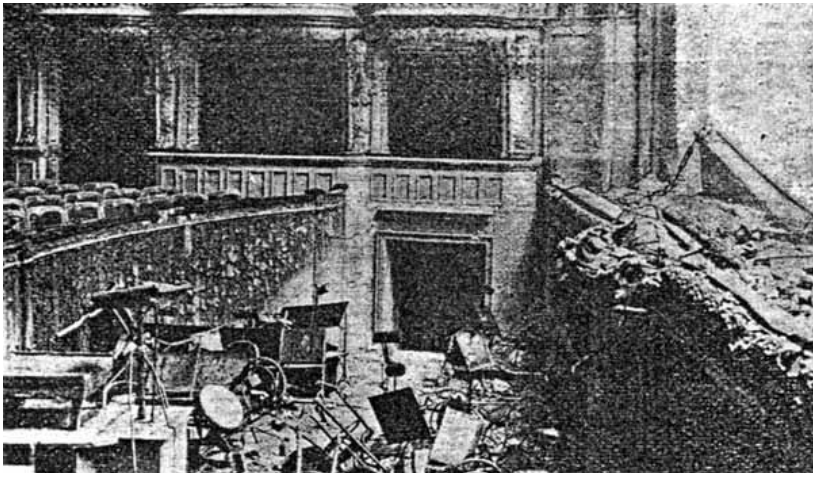






театра чарского









Олег ГУБАРЬ

Инвестор

Жоре Балясникову 76 лет, но все называют его Жорой. Не подумайте, будто он терпит амикошонство и со всеми запанибрата, вовсе нет. Жора — человек непростой, тонкий, и при самом невоздержанном совместном возлиянии умеет деликатно и притом весело держать дистанцию. Да так, что никому не придет в голову считать его высокомерным — ни в коем случае, напротив, все принимают его чуть ли не за рубаху-парня. Жора блистательный специалист в области разработки инвестиционных проектов, уважаемая фигура, и при этом в свои 76, между прочим, ежедневно играючи потребляет по бутылке водки. Никакой роскоши он не признает. Благодаря крепкой советской закваске довольствуется малым, каковое выпивает с задорным достоинством в удовольствие. При таких запросах сбережения у Жоры имелись и прежде, и он не совсем понимал, на что они ему вообще. А недавно еще и продал квартиру в Москве.

Все изложенное — преамбула к диалогу, ради которого я, собственно говоря, и стал огород городить.

Да, так вот, вчера Жора Балясников на полном серьезе решил проконсультироваться со своим (и моим, надо сказать) неизменным собутыльником, Вовой Великановым. А надо еще уточнить, что Вову все ценят как финансиста-аналитика, именуя не иначе как "генетическим экономистом". Далее — подслушанный диалог.

Жора: "Вова, ты понимаешь, у меня тут капиталец кое-какой образовался. Так посоветуй, как его правильно разместить".

Вова: "Жора, как-то неловко спрашивать... Нет, нет, я не о сумме твоих сбережений, это как раз по нашему давнему приятельству было бы как раз тактично... Как бы это тебя спросить..."

Жора: "Да спрашивай, спрашивай, чего это ты мнешься".

Вова: "Ну ладно, Жора. Раз так, придется спросить... Жора, сколько тебе лет?"

Балясников с недоумением взглянул на Великанова и запнулся.

Вова: "Ну?"

Жора: "Ты что, сам не знаешь?"

Вова: "Вот-вот, я об этом и говорю".

Жора: "Ну?"

Вова: "Ну, как тебе сказать... Нет, можно, конечно, квартиру купить. Так надо же потом евроремонт делать. Потом сдавать. А там ходить, проверять, где и чего дети постояльцев ободрали. Оно все тебе надо?"

Жора: "Не надо".

Вова: "Вот и я говорю".

Жора: "Так что предлагаешь?"

Вова: "Нет, можно, конечно, в банк положить, относительно надежный. Сейчас такие есть. "Аваль" там, почтово-пенсионный. Его, кстати, теперь иностранцы какие-то солидные купили... Или "Приватбанк" — самый крупный в стране... Или еще есть один, немецкий, что ли, или австрийский — где раньше "Эпсилон" был..."

Жора: "А-а-а, знаю".

Вова: "Но ты же знаешь, Жора, что инфляция эти жалкие проценты галопообразно опережает, цокает, так сказать, когтями по паркету..."

Жора: "Ну?"

Вова: "Оно тебе надо? Смысла нет".

Жора: "Ладно, так что же ты конкретно предлагаешь?"

Вова: "Нет, можно, конечно, бар открыть. Дело хорошее и любимое. Так мы же все оттуда вылезать не будем. Прогоришь ты, парень..."

Жора: "Ну хорошо, так что же делать?"

Вова: "Жора, сколько тебе лет?"

Балясников снова недоуменно выпучивает глаза.

Жора: "Вова, что ты паясничаешь?! Я тебя серьезно спрашиваю, консультируюсь как со специалистом, а ты мне, понимаешь, голову морочишь".

Вова: "Вспомнил! Тебе 76 лет..."

Жора: "Это не новость".

Вова (как бы в сторону): "Что делать? Придется ему объяснить..."

Жора: "Объясни, будь добр".

Вова: "Жора, ты сколько еще собираешься, как бы это поделикатнее сформулировать... Сколько лет ты еще собираешься водку пить? И вообще..."

Балясников задумывается. Вова снова задает наводящие вопросы.

Вова: "Ну, пять?"

Жора молчит.

Вова (бодро): "Ну, десять?"

Жора молчит.

Вова (энергично): "Ну, пятнадцать?"

Жора (охотно): "Ну, да".

Вова: "Ты, это, в круиз не собираешься?"

Жора (убежденно): "Нет".

Вова (назидательно): "А мог бы жену свозить раз в жизни".

Жора (убежденно): "Неинтересно".

Вова: "Может, гардеробчик сменишь на фирменный или там голдяков на себя понавесишь?"

Жора (убежденно): "Нет".

Вова: "Ну?"

Жора: "Что?"

Вова: "Как что?"

Жора: "Не понял".

Вова: "Жора, твою мать, сколько тебе лет?!"

Жора: "Не понял"

Вова (раздраженно): "Так проживи ты их, идиот, эти бабки! Сколько тебе, дураку, осталось?!"

Жора (примирительно): "Понял. Знаешь, я и сам так думал... Только воспитание же, понимаешь, не то — как-то не привык инвестировать себя..."

Вова: "А ты попробуй... Пока не поздно".



Олег СОЛЯЩАНСКИЙ

Выпускной альбом

Они представляли из себя такой разгул творчества! Овимовские выпускные альбомы той незапамятной поры. Свободные до неприличия, веселые до хулиганства! Как всплеск ничем не ограниченной фантазии, рожденной в морской, тельняшечной среде, да еще и в сугубо мужском вузе. Для иллюстрации — описание одного из фото одного из альбомов, на котором группа курсантов, а среди них и будущий начальник факультета, кандидат наук и прочее на зеленом травяном склоне своими телами выложили общеизвестное заборное слово из трех букв. И тогдашний курсант, а впоследствии кандидат технических наук, образованнейший, интеллигентнейший и прочее, своим телом в этом неприличном слове изображал очень важную и ответственную деталь — черточку в букве "И". Со временем эта бурлящая озорной инициативой вольница попала под начальственный надзор, и их альбом выглядел уже чинно и правильно, что-то потеряв в сравнении с прежними, но вполне благопристойно.

Когда-то в их славной и известной на всю Одессу высшей мореходке по утрам можно было наблюдать некое явление. Когда грозные офицеры, до того неусыпными церберами сопровождавшие подчиненных им курсантов, закованных в чернобушлатные колонны, при подходе к лестнице, что вела вверх от Дюковского парка, вдруг тихо и скромно исчезали, и далее колонны уже следовали сами. А объяснением сему было то, что стену на самом верху, в которую упиралась лестница, традиционно испещряли надписи, касавшиеся непосредственно этих самых офицеров, содержания типа: "Череп — законченный урод", "Майор (далее фамилия) — идиот" или такой-то кретин недоразвитый и прочее, и прочее. Надписи эти регулярно стирались, но так же регулярно и появлялись, зачастую в нецензурной форме и с завидным постоянством. И стена эта "народного гнева" функционировала довольно долго и едко.

Не обходила вниманием эта стена и самого главного из них, начальника этих офицеров. Он, кстати, как рассказывали, фигурировал на фото в одном из праальбомов, где в фотомонтаже, как есть, при кортике и погонах красовался с пышнотелой блондинкой в очень неприличной позе. Этот начальник чернобушлатные колонны не сопровождал, но почему-то считал своим священным долгом отлавливать курсантов, самовольно ушедших с лекций, устраивая им засады.

И занятно было видеть большой глобусно-круглый живот в морском

кителе, торчащий из-за дерева или стены Дюковского парка, стоящего в засаде большого начальника. Со временем пузатого начальника сменил другой начальник, уже засад не устраивавший, но у которого была другая "фишка" — провожать под оркестр колонны курсантов на занятия. И радовали глаз комично выглядевшие ежеутренние "парады" — новый начальник с рукой под козырек в многозвездном офицерском окружении и чернобушлатные колонны, плетущиеся мимо них с папками и портфелями под марш "Прощание славянки", и среди них, как правило, двоетрое, а то и более, с жесточайшего бодуна после вчерашних возлияний, и все это под язвительные комментарии высунувшихся из экипажных окон тех, кто по тем или иным причинам не шел на лекции. Функционально все эти офицеры в больших чинах, от "каплея" и до капитана второго ранга, выполняли роли воспитателей, и в воспитуемые им автоматически попадали не только вчерашние школьники, но и уже отслужившие в армии, и даже те, которым под... а то и за тридцать. И все сопутствующее военщине — поверки, построения, строевые занятия и наряды, мешающие учебе, и истошный крик дневального при появлении дежурного офицера: "Рота! Смирно!", и далее по уставу. И все это, как ни странно, в сугубо гражданском учебном заведении с высококвалифицированным преподавательским составом и чрезвычайно насыщенной и сложной учебной программой. И это на живой одесской почве, свободолюбивой и открытой вольным морским просторам. Такой спорный гибрид, естественно, был источником иронии и бурсаческих выходок, порождая стихийное сопротивление типа стены "народного гнева", массу казусов и анекдотов, в герои которых чаще всего попадал некий майор К., вечно ловивший курсантов, идущих из самоволки. "Возвращается как-то курсант из самоволки, а возле забора уже майор затаился. Только курсант над забором показался, а майор хвать его мичманку, а курсант не растерялся и хвать майорову фуражку. Стоят по разные стороны забора. "Товарищ курсант, немедленно отдайте мою фуражку!" — "А вы отдавайте мою!". Думал, думал майор. "Ладно, давайте меняться. Под счет "раз, два, три" перебрасываем через забор фуражки, вы мою, а я вашу". К концу учебы к офицерскому прессу отношение было все более наплевательское. А у них уже на четвертом курсе как-то отмочили — привязав к тумбочке дневального уличного бездомного пса. И дежурного офицера вместо вопля: "Рота! Смирно!" встретила тишина и симпатичный пес, виляющий хвостом, с повязкой дневального на лохматой шее.

И он шлепнулся ему в руки, тяжелый и огромный, в темно-вишневой

толстой обложке его выпускной альбом, страшно себе представить, уже другого, ушедшего века, и произошло чудо — прорва годов, месяцев, дней, отделявших те далекие альбомные времена от наших, вдруг мгновенно сузилась, альбом машиной времени перенес его в другую, минувшую эпоху, и на него нахлынули во множестве лица, люди, характеры, со всем присущим им и бывшим. Как ему казалось, уже давно им забытые, а на самом деле реальные, живые и осязаемые, и чуть ли не родные ему. Возродив массу воспоминаний, в том числе и вышеописанных. Его альбом долгие годы дремал где-то на антресолях, как дремлет мина в сине-зеленых морских глубинах, терпеливо выжидая своего часа. И это час настал. Он листал свой на долгие годы забытый альбом, и что-то слезоточиво-сентиментальное нахлынуло на него, порождая одновременно в душе его умиление и грусть.

И уже захлопнув было его, вдруг вспомнил, как курс на год старше их оригинально отметил свой последний звонок. Достав где-то заранее рынду (судовой колокол), солнечным весенним утром идеально наглаженные и начищенные в синеве голландок и гюйсов и ряби тельняшек, торжественные и осознающие всю значимость момента все семьдесят пять человек, они строем последовали по улицам ими любимой Одессы. Первая же ими встреченная винарка, удар в рынду "дон-динь", и все семьдесят пять торжественно спускаются по ступеням в винарку, чтобы принять на морскую грудь по стакану вина, не более. И снова строй, торжественный и чинный, следует по любимой Одессе, следующая винарка, удар в рынду "дон-динь", и еще по стакану вина на морскую грудь, не больше. Сколько им встретилось на пути винарок, трудно сказать, наверное, немало, но к концу следования они уже были никакие. Последнее "динь" прозвучало возле здания нынешней мэрии г. Одессы. Рынду они утопили в соленых водах родимого Черного моря, нечаянно, потому что в конце всего уже плохо ориентировались во времени и пространстве. А на следующий день разразился страшный скандал, и, как и бывает, посыпались громы и молнии на их грешные головы, и началась уже другая история, печальная и совсем не интересная.

Николаев



Лада ПРОКОПОВИЧ

Шишки, акации и березки

Что растет на елке?

Что растет на елке?
Шишки да иголки.
Разноцветные шары
Не растут на елке.
Не растут на елке
Пряники и флаги,
Не растут орехи
В золотой бумаге.
Эти флаги и шары
Дед Мороз развесил
Для веселой детворы,
Чтобы год был весел.

Б. Заходер

Лозунг о том, что для детей нужно все делать как для взрослых, только еще лучше, давно стал прописной истиной. Другое дело, что понимание того, что значит "лучше", — у каждого свое. В том числе и у издателей детских книг.

Есть, например, совершенно роскошная, огромного формата книга "Мир животных".

Появление этой книги в нашем доме стало для нас настоящим праздником. Мы подолгу рассматривали чудные фотографии зверей, птиц, рыб... Читали интригующие комментарии: "Морской конек. Новорожденные морские коньки растут в сумке на животе отца, питаясь его кровью". Для меня, как для матери подрастающего одесского оболтуса, этот факт стал некоторым утешением. Значит, не все дети пьют кровь из своих матерей. Некоторые, вот, пьют ее из отцов.

Ох, мудра природа! Мудра.

Но изображение клеста стало почему-то смущать. Что-то здесь было не так. Я долго приглядывалась к птичке, пока не поняла, что дело не в ней, а в ветке, на которой она сидит.

— Смотри, Игорь, — говорю я мужу, — ветка еловая, а шишка на ней — сосновая!

— Действительно... Вот что значит компьютерный дизайн. Лепят, что хотят! А дети на этом растут. Потом вырастают и попадают в такие истории, — сказал Игорь и поведал мне не то сказку, не то быль.

* * *

Жена профессора Долгорукова под Новый год купила на Привозе еловые ветки с шишками.

— Смотри, Вольдемар, — восхищенно щебетала она, — какие прекрасные ветки! Какая густая ароматная хвоя! Какие живописные шишки!

— А ты знаешь, дорогая, что на елках шишки не растут? — профессорским тоном охладил ее восторги супруг.

— Как?! — опешила она. — А это что?

— А ты посмотри внимательней: они же проволочкой прикручены.

Жена надела очки. Присмотрелась.

— Да... но...

Это "но" не давало ей покоя целый год. До следующего Нового года. Тогда она опять купила еловые ветки. С шишками. И они (ну что ты будешь делать!) тоже оказались прикрученными к веткам тонкой проволокой.

Она — хоть и не профессор, а только жена профессора, но прекрасно знала, что в науке один факт — это ничто, а ряд повторяющихся фактов — это уже объективная закономерность.

Пришлось таки признать, что на елках шишки не растут.

О своем открытии супруги поведали другу — профессору Нестанову. Тот был ошеломлен:

— Да вы, что, ребята?! Елок никогда не видели? Как это — елки без шишек?!

— А вот так! Они их проволочкой прикручивают.

— Ну это, наверно, чтобы они не обломались при транспортировке... Да и не на каждой красивой ветке растут красивые шишки... Но это не значит, что они вообще на них не растут!

Но переубедить новоиспеченных натуралистов было невозможно.

Тогда профессор Нестанов во время очередной поездки на дачу специально свернул в соседний лесок, чтобы сломать еловую ветку с шишками.

Как величайшее сокровище вез он эту ветку в Одессу, своим друзьям.

Того требовала научная истина.

Того требовало желание хоть как-то противостоять нашей жуткой, всеохватывающей, всепроникающей (кхе-кхе) урбанизации.

Женские слезы

— Что делают с нашей Одессой?! Почему уничтожают деревья? — возмущается няня двухлетней Сонечки, обводя презрительным взглядом городской парк. — Раньше, когда в Одессе цвела акация, ее запах доходил до Турции!

Мое воображение тут же нарисовало экзотическую сказочную страну, жители которой, побросав вдруг все свои дела, стали принюхиваться... принюхиваться... Ну, точно! В Одессе акация зацвела!

— Понасадили везде этих каштанов, — вернул меня из Турции голос няни. — Куда ни глянешь, кругом каштаны, каштаны...

— Они тоже красиво цветут, — вступилась я за каштаны.

— Ну и что? Разве это наше дерево?

Тут уж я возражать не стала.

Увлеченные этой беседой, мы не заметили, как Соня, не разделявшая нашей тревоги о судьбах зеленых насаждений, заскучала, потом стала тихонько похныкивать, а под конец совсем разревелась. Няня, которая теперь уже никак не могла игнорировать присутствия своей воспитанницы, подвела ее к первому попавшемуся дереву. Та обняла дерево, пару раз всхлипнула и успокоилась.

— Самый эффективный способ! — заметила няня. — Сейчас кору начнет обдирать.

И действительно, Соня, забыв о том, что ей нужно плакать, стала самозабвенно ковырять пальцем ствол полуголого платана.

— Правильно, Соня, — сказала я, — на Руси испокон веков бабы плакали у березок. Правда, это — не совсем березка... Но ведь и мы — не простые бабы! Мы — одесситки. Значит, плакать должны у платанов.

Не у акаций же!



"Городок" — пятый угол

Наука умеет много гитик

* * *

В виварий входит врач "скорой" с чемоданчиком. На полу лежит профессор, возле него лаборант.

ВРАЧ. Что здесь случилось?

ЛАБОРАНТ. Не знаю. Профессор проводил эксперимент с обезьяной, вот тут записи.

ВРАЧ (*читает*). "В тот момент, когда обезьяна взяла в руки палку, она сделала первый шаг на пути к человеку".

ПРОФЕССОР (*приподнимается с пола, держась за голову*). А потом эта уродина сделала второй шаг и ударила меня по голове...

* * *

Ученый и работник стоят у клеток с множеством голубей.

УЧЕНЫЙ. Вот это твое место работы. Работа простая. Берешь алюминиевое колечко, одеваешь птичке на лапку и отпускаешь. И так тысячу раз в день.

РАБОТНИК. А кому это нужно?

УЧЕНЫЙ. Темнота! Это нужно науке! Эти гордые птицы пролетают тысячи километров. Изучать жизнь голубей — это счастье!

РАБОТНИК. За пятьсот в месяц — счастье?

УЧЕНЫЙ. Много ты понимаешь в науке! Работай давай! Сейчас еще люди подойдут.

У него звонит мобильный телефон. Он отходит в сторонку и говорит, прикрывая трубку.

УЧЕНЫЙ. Да-да, герр Книксен, я все организовал! Поставки начинаем сегодня. Как договаривались, по полтонны алюминия в день...

* * *

По саду идут селекционер и корреспондент.

КОРР. Вот тут вот, значит, вы и развиваете науку о природе. Эксперименты, приборы, анализы, формулы. А вот народные приметы — они вам тоже помогают? Или это все чушь собачья?

СЕЛЕКЦИОНЕР. Ну зачем вы так? В приметах заключена вековая мудрость народная, ее и приборы подтверждают. Вот, к примеру, старинная примета. Если в эту пору года размять в руке кусок земли, и он будет суховатый и твердый, то урожай будет небогатый. И приборы могут только подтвердить, что в такой земле мало влаги и содержание гумуса недостаточно.

КОРР. Как интересно! (*Достает из травы кусок и разминает в руке.*) А если он влажный и мягкий, это что значит? Это и есть гумус?

СЕЛЕКЦИОНЕР (*смотрит ему в руку*). Пока нет... Это значит, что собак здесь много развелось...

Жизнь полна неожиданностей

* * *

В небольшом цветочном магазине покупатель и продавец. Мужчина разглядывает цветы.

ПРОДАВЕЦ. Берите розу! Не надо жалеть деньги на красоту!

ПОКУПАТЕЛЬ. Да мне у вас почти каждый день розу покупать приходится.

ПРОДАВЕЦ. Наверное, за женщиной ухаживаете?

ПОКУПАТЕЛЬ. Да это жене! Я человек горячий — часто жену плохими словами обижаю. Но потом: извини-прости, роза — и все в порядке!

ПРОДАВЕЦ. Так купите жене не одну розу, а целый букет! Красота — это волшебная сила! Вот! (*Показывает букет.*) За такой букет она вам вообще все простит!

ПОКУПАТЕЛЬ. Да у меня сегодня и на одну розу денег не хватит! Тридцатник всего.

ПРОДАВЕЦ. А, ладно! Я вам как постоянному клиенту этот букет подарю! Для доброго дела не жалко! Держите!

ПОКУПАТЕЛЬ. Спасибо, друг! Так что, получается, я свой тридцатник сэкономил? Тогда дайте мне вот этот черенок от лопаты — он как раз 30 рублей стоит. (*Смотрит на букет.*) Ну, букет! Да за такую красоту, думаю, я ее и поколотить смогу!

* * *

Пьяный водитель на очень дорогой машине останавливается на перекрестке. Вдруг откуда ни возьмись возле машины возникает гаишник.

ГАИШНИК. Лейтенант Сидоров!

ВОДИТЕЛЬ. А! А! Чур тебя! Откуда ты взялся?

ГАИШНИК. Вы, кажется, пьяны? Дыхните в трубочку.

ВОДИТЕЛЬ. Щас. Только ты меня вначале ущипни. Чтоб я понял, что ты не белочка. (*Гаишник щипает водителя, тот ойкает.*)

ГАИШНИК. Сейчас оформим, три года прав не увидишь. Или будем как-то решать вопрос на месте?

ВОДИТЕЛЬ. Командир, отпусти, ради Бога! Я тебе штуку зелени дам, прямо здесь.

ГАИШНИК. Сколько?!

ВОДИТЕЛЬ. Тысячу долларов. (*Достает пачку долларов.*) Вот, бери!

ГАИШНИК. Тысяча долларов!.. Только ты меня тоже вначале ущипни, чтобы я понял, что ты не белочка...

* * *

В приемной тюрьмы надзиратель и посетитель. Посетитель выкладывает из сумки на стол 2 пирожка и баночку сметаны.

ПОСЕТИТЕЛЬ. Я тут, гражданин начальник, опять братану передачку принес — пирожки, сметану...

НАДЗИРАТЕЛЬ. Щас проверим. А вдруг ты в пирожках что-то недозволенное принес? (*Рвет пирожки на кусочки и запихивает их себе в рот.*) Так. Тут ничего. А это что? (*Открывает сметану, сует туда палец, облизывает.*) Тут тоже ничего. Неплохая сметана. (*Разочарованно.*) Это все, что ли?

ПОСЕТИТЕЛЬ. Нет. Вот, гражданин начальник. (*Вынимает грелку.*)

НАДЗИРАТЕЛЬ. Ха! Вы с братаном играться со мной вздумали, за дурака меня держите? В грелку спирта налил? Или водки? Щас поглядим. (*Выливает из грелки в стакан, выпивает, его перекашивает.*) Ой! Тьфу! Что это за дрянь? Тьфу! Не будет он это пить! Что это?!

ПОСЕТИТЕЛЬ. Это? Касторка. Он, конечно, это пить не будет... Но я был уверен, что вы будете!

* * *

В убогий медпункт к фельдшеру влетает подвыпивший папаша с ребенком лет 3-4. Папаша в панике, чуть не плачет. Там фельдшер.

ПАПАША. Доктор, помогите! Помогите! Даже не знаю, что делать! Какой ужас! Что делать?!

ФЕЛЬДШЕР. Успокойтесь! Объясните, что случилось?

ПАПАША. Доктор, случилось ужасное! Спасите, доктор! Спасите!!

ФЕЛЬДШЕР. Да тихо вы! Что случилось?

ПАПАША. Ребенок проглотил штопор! Счастье, что в этом чертовом дачном поселке хоть медпункт есть! Надо же что-то делать!! (*Ребенку.*) Рот открой! Пусть дядя посмотрит!

ФЕЛЬДШЕР (*смотрит*). М-да... Понимаете, я же простой фельдшер, а не хирург. Боюсь, что я не смогу достать этот штопор.

ПАПАША. Ну не можете достать ЭТОТ штопор, достаньте другой! У нас только бутылка вина с пробкой осталась! Надо же что-то делать!!

* * *

В кабинете врач и больной.

ВРАЧ. На что жалуетесь?

БОЛЬНОЙ. На жену. То есть в смысле это не я жалуюсь, а жена жалуется, понимаете?

ВРАЧ. Понимаю. Но вы, видимо, не по адресу — я врач по профзаболеваниям.

БОЛЬНОЙ. Так вот жена мне и говорит. Ты, говорит, уже 20 лет работаешь на фабрике мягкой игрушки. Может, это у тебя профзаболевание?

* * *

Муж приходит домой в скромную квартиру. Жена и ребенок сидят за скромно накрытым столом.

ЖЕНА. Явился! Ты хоть помнишь, что у твоего сына сегодня день рождения?

МУЖ. Конечно, помню.

ЖЕНА. А денег на подарок, конечно, нет? Как мне надоела эта нищета!

МУЖ. Есть подарок! И я думаю, что когда-то именно Петенька избавит нас от нищеты.

ЖЕНА. Это как это?

МУЖ. А вот так это! Я решил, что наш Петенька вырастет и станет киллером. На, сынок, тренируйся! (*Дает ребенку игрушечную винтовку с оптическим прицелом.*)

ЖЕНА. Киллером?! Как у тебя язык повернулся? Каким еще киллером?

МУЖ. Добрым киллером! Он будет убивать только плохих дядек и за большие деньги.

ЖЕНА. Да как в твою глупую башку такая мысль пришла! Каким киллером, балда? (*Показывает на ребенка в сильных очках.*) У ребенка минус 10...

Историческая неправда

Толстый жизнерадостный Моцарт и сухой смурной Сальери садятся за столик в ресторане.

САЛЬЕРИ. Сегодня, друг мой Моцарт, я угощаю. Официант!

Подходит официант в черном фраке.

МОЦАРТ. О! Черный человек пришел. Ха-ха!

САЛЬЕРИ. Мне, пожалуйста, кофе без кофеина и без сахара с обезжиренным молоком и кусочек хлеба с отрубями с маслом без холестерина.

МОЦАРТ. А мне вина и жареного мяса, поострее да пожирнее!

САЛЬЕРИ. Вольфганг, не надо...

МОЦАРТ. И гуся!.. С гарниром!

САЛЬЕРИ. Ну, не надо этого, я тебя прошу...

МОЦАРТ. И колбаски поджарьте на шампуре. С сальцом, чтоб аж шипели...

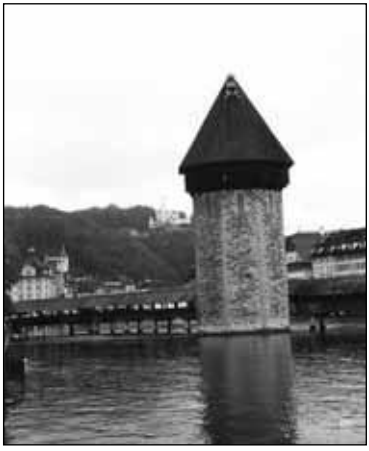
САЛЬЕРИ. Моцарт, я тебя умоляю, это же яд...

МОЦАРТ. Отстань! (*Официанту.*) И трубочку табачку!

САЛЬЕРИ (*себе*). Ну вот. А потом все будут говорить, что я его отравил...

Феликс КОХРИХТ

"Что за прелесть Люцерн..."



Фраза, вынесенная в заголовок, принадлежит не автору этих путевых заметок, а Льву Николаевичу Толстому и полностью выглядит так: "Что за прелесть Люцерн и как мне все здесь приходится — чудо! Я живу в пансионе Даман на берегу озера... Домик стоит в саду, весь обвит абрикосами и виноградником... Под окнами густые яблони с подпорками, некошеная трава, озеро и горы. Тишина, уединение, спокойствие".

Это — цитата из письма Толстого В.П. Боткину, датированного июнем 1857 года. И мы впервые увидели Люцерн в жарком июне, но спустя 148 лет. Удивительным образом здесь мало что изменилось. Разумеется, город — центр одноименного кантона — обладает всеми достижениями современной техники, граждане и гости его живут с отменным комфортом, однако не только архитектурные ансамбли, но и отдельные здания, рестораны, магазины, мастерские искусных ремесленников в большинстве своем — на тех же местах и при тех же хозяевах, вернее, их потомках. Мне не удалось разыскать патриархальный пансион Даман, откуда в Россию ушло письмо Боткину, но другой его люцернский адрес — гостиница "Швайцерхоф" ("Швейцарский двор") — и сегодня принимает гостей. Так же, как и отель "Тольденер Адлер" ("Золотой орел"), в котором останавливался Гете.

В старинном кабачке "Хиршхен" ("Олененок"), куда любили захаживать авторы "Воскресенья" и "Фауста", мы по совету хозяйки попробовали местный "специалитет" — крестьянский сырный пирог — и запили его отличным белым вином...

И отель, и площадь с фонтаном, и ратуша, и соборы — все сохранилось практически таким, каким их видел Лев Толстой, работая здесь над повестью "Казаки", рассказами, один из которых так и назвал — "Люцерн". Швейцария ведь не воевала с наполеоновских походов, да и вмешательства современных архитекторов в городскую застройку предельно ограничены.

В Люцерне сохранился и находится в прекрасном состоянии самый древний в Европе (1300 г.) крытый деревянный мост Капельбрюкке, соединяющий деловой центр со Старым городом. Он перекинут над озером и заканчивается массивной башней, вырастающей прямо из воды...

По этому мосту мы, приехав ранним утром из Лозанны, пришли с вокзала в Люцерн, по нему и вернулись под вечер на перрон, где ждал нас экспресс "Вильгельм Телль", держащий курс на Цюрих...

Хороша страна Швейцария! Об этом — рифмованные строки путевого дневника.

Хороша страна Швейцария

За кружкой старого портвейна
здесь можно повстречать Эйнштейна...
С сачком Набоков пробежал...
Жан-Жак Руссо прошкандыбал...
На примерах сказок Гоцци
учит деток Песталоцци...
Ленин с Крупской помирились —
пьют сладчайший шоколад...
Герцен с дочкою под ручку
совершают променад...
Гуляют здесь животные невиданной красы
И Чаплин улыбается в прикольные усы...
Еще идут швейцарские часы...

* * *

Луна над белым рогом Маттерхорна...
И виден свет в тоннеле Сен-Готарда...
И кроме свежевымытой сорочки,
Скажу по совести, мне ничего не надо...

* * *

Хороша страна Швейцария:
Что ни город — то Кесария.
Горы — словно Карузина ария —
С флагом взберется не каждый Кантария...
Шутил бы и дальше — да с рифмой авария...

Ушел на отдых наш стрелок...
На старость малость приберег:
солнцезащитный козырек,
моченых яблочек кадушку...
Если рядом воробей — он заводит пушку...

* * *

Швейцарским праведникам, наверняка,
светит за гробом от бога награда:
реки альпийского молока
и берега из шоколада.

* * *

Далеко от города Сиона
до развалин башен Вавилона.
Здесь живут прилежные швейцарцы:
мужики в подвалах варят горы сыра,
бабы в чисто вымытых квартирах
вышивают уточек на пяльцах.
Языков смешенье здесь — в законе,
в виноградном Валлисе-кантоне,
где псалом "На реках Вавилонских"
вам споют на четырех языцах —
на немецком, на французском, итальянском,
на диковинном, на рето- на романском,
а туристы — даже на японском...
Лето...
Старый город утопает в ароматах —
кофе, кальвадоса, яблок конских...

* * *

— Пожалуйста, не дергайтесь, месье,
ведите себя спокойненько:
я — из старинного рода врачей!
— Прекрасно, месье, но вот в чем беда:
я-то из рода покойников...

* * *

Нейтральная страна — очей очарованье...
Ну надо ль оглашать названье?
На тучных ягодных лугах
пейзане тщательно пасут овецев.
В суде Женевском златоусты-адвокаты
права качают в интересах человецев.
А в банковских подвалах тишком-нишком
шустрят веками базельские гномы —
перебирают горы золотишка...
Здесь в армии — Вильгельмы Телли.
Здесь на утесах лепятся отели.
Здесь хорошо и сирым и горбатым.
Здесь ко второму подают салаты.
Здесь каждый — гражданин.
И нет стройбатов.
Нейтральная страна — очей очарованье...
Нам с вами так не жить...
Не верьте обещаньям.

* * *

Ленин в Цюрихе живал...
Шоколадом пробивался,
Сполна кондитеру платил —
Для потомков счет остался...
С обер-кельнером шутил,
С дадаистами общался...
Очень Цюрих полюбил —
Вот бы там и оставался!

* * *

Пахнет сеном над лугами —
Поезд движется в Лугано!
Наш попутчик-итальяно —
Посыпает пиццу сыром —
Натурале-пармезано,
Угощает нас чинзано!
Приезжаем сыто-пьяно
В симпатиссимо Лугано!

* * *

В Швейцарии все есть.
Лозанны есть и круассаны,
И Гельвеции, и фортеции.
И Меркьюри, и секьюрити,
И Люцерны, и концерны,
Кальвинисты и артисты.
Католики и алкоголики,
Агностики и басурмане,
Термы есть — иначе бани...
Не забыть бы про фондю.
(Дело близится к дождю...)
Полунадежные банкиры
И прекрасные сортиры,
Твердая валюта — франки...
Читатель ждет уж рифмы — "банки" —
Так на, возьми ее — скорей:
На четверть Чаплин был — еврей!
А в Роне — уйма окуней...
А с "банки" лудится — "останки"...
Мемориальных досок — уйма —
Они на каждом полустанке!
Подробней ты прочтешь в буклетах...
В трактирах — жаркие раклеты...
Но где пожарские котлеты —
Услада дней моих младых?
Здесь вам предложат паровых...
Зато отменной лыжной мази
Здесь, как у нас, в Тамбове, — грязи!
И негр, черный, словно ад,
Уже грызет свой шоколад,
Полный грешными зубами!
Здесь старцы прыгают козлами!
Здесь ступа с бабою Ягой!
Потанин — с длинною рукой!
Здесь царь Кощей над златом чахнет!
Здесь сырный дух!
Здесь сыром пахнет!

* * *

В озере вода — наподобие невской...
Мы — в городе имени Юли Женевской!
Здесь кофе — дорогое, дешевые — часы,
и негры улыбаются в пшеничные усы!
Девчата здесь покладисты, сомнительной красы,
возьмут с тебя пол-литра, кусочек колбасы...
Здесь мильонеры — женятся!
Здесь пиво шибко пенится!
Швейцарский франк еще стоит —
И никуда не денется!

Фото автора

Виртуальный ансамбль



О.И. ГУБАРЬ
"Одесса: Пале-Рояль"
Иллюстрированный альбом.
Серия "Одессика"
Издание "IP–Одесса"
Художник В. Стоянов
Фото И. Череватенко

Начну с того, что я бы назвал это издание иллюстрированной монографией. И дело даже не в том, что объем текста больше, чем предполагает альбом, а во всеохватности, научности, документальности этого текста, который при всем этом легко читается (Олег Губарь остается Олегом Губарем!), так как остается личностным разысканием, субъективным взглядом на объективные факты.

Мы узнаем не только, как замышлялся Пале-Рояль, как строился, как десятилетия истории вносили "поправки" к замыслу, и то, что сегодня еще именуют Пале-Роялем, уже практически не соответствует замыслу архитектора, но живет в нашем воображении, в нашей памяти.

Как хорошо было бы, если бы в серии "Одессика" строители, изменяющие облик старой Одессы, как пошутил на презентации альбома М. Жванецкий, заботились бы об исторической справедливости. Давая деньги для издания таких замечательных книг, которые вместе могли бы представить виртуальный образ нашего города в середине XIX века, в начале XX, тем самым запечатлели бы Одессу времен ее расцвета.

Об учителях и учениках



Дина ФРУМИНА
"Мои воспоминания"
Одесса, Галерея "Мост", 2005

Галерея "Мост", где прошло несколько выставок Дины Михайловны Фруминой, издала крошечным тиражом — в сто экземпляров — книгу воспоминаний замечательной художницы. И благодарность хочется выразить не только автору, но и руководителю галереи, искусствоведу Тамаре Михайличенко, которая в этом случае оказалась и редактором, и составителем, а точнее тем мотором, который сделал возможным выход этой книги.

Дине Михайловне Фруминой было уже за 90 лет. И естественно, в таком возрасте человеку есть что рассказать о себе. Но она удержалась от того, чтобы написать традиционные мемуары. Ей захотелось рассказать о своих учителях, часто несправедливо забытых, таких, как М. Гершенфельд; о Т. Фраермане и М. Жуке, о своих учениках.

Достаточно вспомнить, что за годы преподавания в Художественном училище имени М.Б. Грекова (1948-1968) ее мастерскую прошли М. Ивницкий, Л. Межберг, И. Островский, Г. Малышев, Э. Павлов и многие, многие другие.

Детали, черточки их воспитания, их вхождения в искусство рассказаны живо, легко, профессионально. Думаю, что эта небольшая книжка станет настольной для тех, кто будет изучать развитие "одесской школы", как в предвоенные, так и в послевоенные годы.



Борис РЕЗНИК
Пациент из моего детства. Большая печаль
Одесса, "Зодиак", 2005
Оформление А. Голубовской

Главы из этой повести публиковались в двух номерах альманаха "Дерибасовская — Ришельевская" и поэтому, радуясь выходу книги, мы знакомим читателя с предисловием к ней, написанным известным одесским хирургом С.А. Гешелиным.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Воспоминания Бориса Мироновича Резника можно было бы озаглавить "О времени и о себе". Именно так! Сначала — о времени, о людях, определявших это время, о городе, стране, семье и — наконец — о себе. Известный врач, хирург-уролог, автор многочисленных научных публикаций, кавалер боевых орденов и медалей, которому есть чем заслуженно гордиться, не выпячивает свою автобиографию, а предлагает вниманию читателя широкую панораму трагичного и героического времени — первой половины двадцатого века.

В "Пациенте из моего детства" воскресают забытые приметы времени, когда "страна только начала восстанавливаться после следовавших одна за другой войн, революций, оккупации, интервенций и нашествий". Автор бережно воспроизводит архитектурную географию старой Одессы с невзорванным собором и неразрушенным кинотеатром "Бомонд", аптекой Гаевского и "Пассажем", бездумно уничтоженным фуникулером и чудом уцелевшим памятником Воронцову. Он напоминает о забытых персонажах — старьевщиках, шарманщиках, примусниках, биндюжниках, угольщиках, керосинщиках. Мягким юмором отмечены воспоминания о цербакоопах, распредах, домовых кухнях, Торгсине — непременных атрибутах нашего небогатого прошлого. Небогатого, но нашего! И потому что наше прошлое — это и его прошлое, прошлое автора, он его не стыдится, а вспоминает с ностальгической грустью. Слияние личных переживаний с историей страны звучит доминантой в воспоминаниях доктора Резника.

"Большая печаль" начинается с трагического аккорда, который становится камертоном всего повествования. В День Победы ушла из жизни Циля Давидовна, жена, друг, Циленька, первая любовь, спутница всей жизни. Воистину — праздник со слезами на глазах! Повествование посвящено самому критическому периоду в истории нашей страны — первому году Великой Отечественной войны. До победы далеко, и личная трагедия становится прелюдией к воспоминаниям о трагедии страны. Собственная биография "тесно переплелась с воспоминаниями о событиях, происходивших в нашем молодом тогда государстве, которое было всего на четыре года старше меня", — пишет Борис Резник, подтверждая нерасторжимость личных судеб и истории страны. Эта доминанта более гражданственна, чем злой и мрачный набат "Окаянных дней" признанного классика русской литературы.

В канун войны бетховенской темой судьбы, сурово обозначившей границу между жизнью и смертью, звучит процедура вручения по-

смертного медальона. Потрясающе сильно описан исход евреев-беженцев из Бобруйска.

"В каждом мужчине заложена любовь к оружию", и молодой, еще необстрелянный боец Боря Резник с удовольствием разбирает и собирает затвор, чистит, смазывает и лелеет свою винтовку. Метко стреляя, он признает, что сумеет выстрелом поразить на расстоянии врага, однако не представляет себе, что сможет вонзить штык в находящегося рядом живого человека. Психологически точное наблюдение, характеризующее этику цивилизованного человека, вынужденного в условиях войны действовать противоестественно.

Большой интерес представляют воспоминания очевидца, который глазами современника оценивает выступление Сталина 6 ноября 1941 года и значение парада на Красной площади, состоявшегося 7 ноября, когда фашистские войска стояли у стен Москвы. В те годы коммунистическая партия возглавила основную ударную силу, обеспечившую разгром фашистских армий во второй мировой войне. Знаменитая фотография "Политрук", на которой изображен молодой командир с двумя кубиками в петлицах и пистолетом в руке, подымающий бойцов в атаку, стала неофициальным символом партии. В это трудное и непредсказуемое время Борис Резник вступает в партию, подтверждая не на словах, а на деле взаимозависимость судеб отдельной личности и страны.

Автор прошел с боями всю войну. "Обратный путь" от Ельца и Задонска через Белоруссию и Польшу до Кенигсберга, где в честь победного салюта капитан Резник расстрелял все патроны из магазина своего трофейного "вальтера", лишь упомянут на последних страницах. Книга Бориса Мироновича Резника, врача, посвятившего себя сохранению здоровья и спасению жизни людей, офицера Советской Армии, внесшего свой вклад в победу над фашизмом, содержит интересные исторические и краеведческие материалы, увлеченно читается и, несомненно, найдет своего благодарного читателя.

Сергей ГЕШЕЛИН



Возрождение праздников



Ростислав АЛЕКСАНДРОВ
Ришельевская симфония
Одесса, "Optimum", 2005

Как нам порой не хватает веселья, забав, того солнечного настроения, которым всегда отличалась Одесса!

Если взять календарь, то чуть ли не каждый листок там отведен Дню металлурга или Дню шахтера, Дню работника коммунального хозяйства или Дню стоматолога... А веселья это не вызывает, скорее, тоску по тому времени, когда календари были менее говорливы, зато жизнь — более музыкальной, танцевальной, шутливой и ироничной... Так какими они были, праздники "старой Одессы"?

Прежде всего, и это естественно, обратимся к А.С. Пушкину, в одной главе "Путешествия Онегина" создавшего энциклопедию одесской жизни. И конечно, сразу найдем множество ответов. Не все, естественно, но кардинальные, в первую очередь — театр, затем рестарации, кофейни, казино и, конечно же, море. Оно и само по себе праздник, и поднимает дух, и олицетворяет свободу. Так что у Ростислава Александрова, когда он брался за свою очередную книгу, смысл которой видел в том, чтобы возродить дух старой Одессы, ее веселье, нравы, забавы и праздники, на памяти был тот лучший путеводитель, который дала Одессе история и литература. Современный автор шел вслед за Пушкиным, вникая в детали его описаний, хотя, впрочем, не только за ним — вслед за множеством великих писателей, оставивших образ нашего города в своих сочинениях.

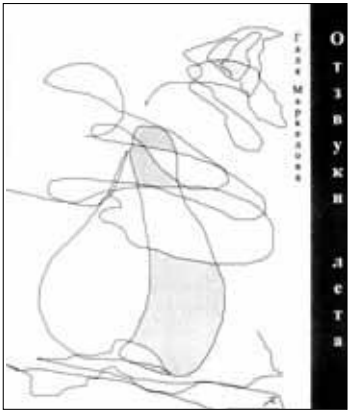
Не моя задача пересказывать находки Ростислава Александрова и эту книгу, которая, как и все прежние его книги, отталкивается от старых газетных статей, архивных бумаг, бесед со старожилами... Не моя задача цитировать отдельные абзацы, чтобы современный читатель почувствовал, как литературное краеведение само может стать литературой. Моя задача в ином. Небольшая книга, меньше чем в двести страниц, насыщена таким количеством одесских реалий — от адресов до фамилий, что, как старин-

ный сундучок, таит в себе множество разгадок того, что поверхностному взгляду и не казалось загадочным.

Я убежден, что каждый, кто внимательно прочтет эту и предыдущие книги Р. Александрова, сам отправится в бесконечное путешествие, где годы нельзя пересчитать только по дням или по количеству этнических общин Одессы... Дело, скорее, в другом, насколько раскованно здесь — не побоюсь этого выражения — "прожигали жизнь", а может быть, именно жили, понимая, что сколь бы ни грозны были таможни, карантины, цензуры и чиновники, все равно ветер свободы, юго-западный дух поэзии преодолеет препоны, пробьет еще одно окно в Европу.

Да, в этом городе жили весело. И если даже рекламное объявление "Кооператив идиотов". Запись продолжается" на неделю вызвало бурю толков и разговоров, то следует ли удивляться, что спустя десятилетия придуманный Олегом Губарем "Клуб городских сумасшедших" все пополняется и пополняется любителями одесской старины.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ



"Вся жизнь моя доведена до снов..."

Галя МАРКЕЛОВА

Отзвуки лета

Одесса, "Инга", 2005

И без признания лирической героини это очевидно, достаточно знать автора этой сентенции лет этак ...дцать, чтобы утвердиться в знании — это не возрастная Галина Маркелова "по паспорту", а юная Галя — поэт по судьбе. Легко ли это, когда в одной руке — стило, а в другой... Да что угодно: кошелка с продуктами, ведро с водой, анализы заболевшего родича или друга... Галина и Галя (при всем типологическом различии) едины в одном. Они верны давним привязанностям. И в жизни, и в поэзии.

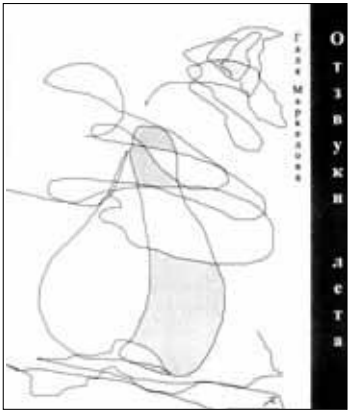
Одно из самых пронзительных стихотворений нового сборника Г. Маркеловой ("Отзвуки лета", изд. "Инга", Одесса, 2005) посвящено памяти ушедшего товарища, и в нем она упоминает и ныне сущих, с которыми прожиты годы:

ный сундучок, таит в себе множество разгадок того, что поверхностному взгляду и не казалось загадочным.

Я убежден, что каждый, кто внимательно прочтет эту и предыдущие книги Р. Александрова, сам отправится в бесконечное путешествие, где годы нельзя пересчитать только по дням или по количеству этнических общин Одессы... Дело, скорее, в другом, насколько раскованно здесь — не побоюсь этого выражения — "прожигали жизнь", а может быть, именно жили, понимая, что сколь бы ни грозны были таможни, карантины, цензуры и чиновники, все равно ветер свободы, юго-западный дух поэзии преодолеет препоны, пробьет еще одно окно в Европу.

Да, в этом городе жили весело. И если даже рекламное объявление "Кооператив идиотов". Запись продолжается" на неделю вызвало бурю толков и разговоров, то следует ли удивляться, что спустя десятилетия придуманный Олегом Губарем "Клуб городских сумасшедших" все пополняется и пополняется любителями одесской старины.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ



"Вся жизнь моя доведена до снов..."

Галя МАРКЕЛОВА

Отзвуки лета

Одесса, "Инга", 2005

И без признания лирической героини это очевидно, достаточно знать автора этой сентенции лет этак ...дцать, чтобы утвердиться в знании — это не возрастная Галина Маркелова "по паспорту", а юная Галя — поэт по судьбе. Легко ли это, когда в одной руке — стило, а в другой... Да что угодно: кошелка с продуктами, ведро с водой, анализы заболевшего родича или друга... Галина и Галя (при всем типологическом различии) едины в одном. Они верны давним привязанностям. И в жизни, и в поэзии.

Одно из самых пронзительных стихотворений нового сборника Г. Маркеловой ("Отзвуки лета", изд. "Инга", Одесса, 2005) посвящено памяти ушедшего товарища, и в нем она упоминает и ныне сущих, с которыми прожиты годы:

Мост Строгановский. Красное вино и августа кончина
друзей хмельные, чуть расслабленные лица,
мы живы...
Уходящее тепло еще согреет ранние морщины,
пройдется лапками у азиатских глаз Хруща,
прищуренных колючим цепким взглядом.
участливо потреплет орлиный профиль Фимы...

Здесь — все узнаваемы для пирующих узкого круга и, тем не менее, вполне — персонажи античной мистерии, которую уже много лет Галя сочиняет из наших обыденных биографий — то ли во сне она это делает, то ли наяву... Подчас вырываются у нее горькие признания: "О, пытка памятью, о, ужас бытия...", но все же чаще дух Вакханки довлеет над нашей землячкой, остро ощущающей смену веков:

Пусть говорят, что время — умирать —
я бормочу свое:
"Давай допьем коньяк",
чтоб отвязаться напрочь,
расслабленной рукою выводя:
Тысячелетье третье, помяни меня
хмельную, предыдущими двумя...

Ну кто из нас отказался бы подписаться под этими строками?

Феликс КОХРИХТ

Одесское языковое чудо



Є.М. СТЕПАНОВ
Російське мовлення Одеси
Одеса, "Астропринт", 2005

В современной лингвистике проблема языка города является наименее изученной. Территориальные диалекты (язык деревни) еще в XIX в. стали вспомогательной базой диахронического изучения языка и до сих пор служат одним из оснований в определении путей формирования литературных языков, закономерностей и тенденций этноязыкового развития. Изучение социальных диалектов (профессио-

Мост Строгановский. Красное вино и августа кончина
друзей хмельные, чуть расслабленные лица,
мы живы...
Уходящее тепло еще согреет ранние морщины,
пройдется лапками у азиатских глаз Хруща,
прищуренных колючим цепким взглядом.
участливо потреплет орлиный профиль Фимы...

Здесь — все узнаваемы для пирующих узкого круга и, тем не менее, вполне — персонажи античной мистерии, которую уже много лет Галя сочиняет из наших обыденных биографий — то ли во сне она это делает, то ли наяву... Подчас вырываются у нее горькие признания: "О, пытка памятью, о, ужас бытия...", но все же чаще дух Вакханки довлеет над нашей землячкой, остро ощущающей смену веков:

Пусть говорят, что время — умирать —
я бормочу свое:
"Давай допьем коньяк",
чтоб отвязаться напрочь,
расслабленной рукою выводя:
Тысячелетье третье, помяни меня
хмельную, предыдущими двумя...

Ну кто из нас отказался бы подписаться под этими строками?

Феликс КОХРИХТ

Одесское языковое чудо



Є.М. СТЕПАНОВ
Російське мовлення Одеси
Одеса, "Астропринт", 2005

В современной лингвистике проблема языка города является наименее изученной. Территориальные диалекты (язык деревни) еще в XIX в. стали вспомогательной базой диахронического изучения языка и до сих пор служат одним из оснований в определении путей формирования литературных языков, закономерностей и тенденций этноязыкового развития. Изучение социальных диалектов (профессио-

нальных и корпоративных арго) дало толчок формированию и дальнейшему развитию социолингвистики. Исследование же особенностей языка горожан долгое время считалось нецелесообразным. Однако тщательное изучение этого вопроса, что и было сделано Е.Н. Степановым в монографии "Російське мовлення Одеси" (Издательство "Астропринт", 2005 г.), доказывает, что язык горожан — это феномен, который необходимо исследовать как самостоятельный лингвистический объект, формирующийся и развивающийся по своим внутренним законам.

Основная цель, которую ставит перед собой автор, — выявить фонетические, лексические, словообразовательные, грамматические, фразеологические особенности речи одесситов как специфического языкового образования на фоне других образований общенародного русского языка. По нашему мнению, Е.Н. Степанов успешно достиг поставленной цели. Заслуживает внимания систематизация фонетических отклонений от литературно-языковой произносительной нормы. Различные артикуляторные особенности автор объясняет межъязыковыми контактами одесситов, смешением русского языка как языка межэтнического общения с иноязычными субстратами колонистов разных этнических групп, в частности, украинским, еврейским, итальянским, греческим, молдавским.

Во многих краеведческих работах об Одессе, в художественной литературе, мемуаристике, где упоминается Одесса и речь ее жителей, часто можно встретить замечания авторов об особенной одесской интонации. Е.Н. Степанов сумел доказать систематичность и регулярность особенного одесского интонирования, определил его субстратный характер.

Лексические, фразеологические и грамматические исследования, в ходе которых было обработано большое количество произведений художественной литературы, мемуаристики, газетной и журнальной публицистики, рукописных текстов, материалов социолингвистических опросов горожан и лично "подслушанного" материала, позволили автору раскрыть экстралингвистические причины специфичности языка жителей большого полиэтнического и многоязыкового колониального города, каковым является Одесса: этнический, социальный (в том числе социально-экономический), географический и хронологический.

Применение исторического и социолингвистического подходов к изучению языка одесситов позволяет автору квалифицировать систему речи одесситов, в которой взаимодействуют нормы литературного русского языка и местные речевые особенности, как одесское городское койне. Автор выделяет четыре периода его функционирования. Использование

Е.Н. Степановым именно этих подходов и учения В.В. Виноградова об общенародном языке дает возможность выдвинуть на страницах книги интересное и справедливое утверждение, с которым нельзя не согласиться, о существовании в конце XIX в. — в 1-й трети XX в. не только московской и петербургской, но и одесской русской речевой нормы. В основу этой нормы еще в XIX в. было положено одесское городское койне. Особенности одесской речевой нормы активно проникали в первой половине XX в. в русское общеупотребительное просторечие и даже в литературный язык.

Все вышеупомянутое дает основание сделать вывод о том, что научная монография Е.Н. Степанова "Російське мовлення Одеси" отличается новизной, честностью, систематичностью подходов, обоснованностью предлагаемых решений и является ценным вкладом в разработку актуальных вопросов социолингвистики.

Татьяна ТУЛИНА,
доктор филологических наук,
профессор Черкасского государственного университета

Издана обновленная версия книги Михаила Пойзнера "С Одессой надо лично говорить..." (дизайн Леонида Брука, иллюстрации Григория Палатникова), пользующейся большим читательским спросом. Предлагаем вашему вниманию предисловие, написанное членом редколлегии альманаха и одновременно близким другом автора этого замечательного издания.

Неисчерпаемость дружбы



Михаил ПОЙЗНЕР
С Одессой надо лично говорить...
Одесса, Полиграф, 2005

С Михаилом Борисовичем Пойзнером мы дружим много лет. Так много, что можно, казалось бы, изрядно обрыднуть друг дружке. Мы знаем друг о друге все и сверх того. Мы, вероятно, знаем друг друга лучше, чем самих себя. Мы уже просто отражаемся друг в друге, "как небо в воде". Куда же дальше? Куда ж, изъясняясь высоким штилем, нам плыть? Дальше, как принято говорить, некуда (тишина)?

Е.Н. Степановым именно этих подходов и учения В.В. Виноградова об общенародном языке дает возможность выдвинуть на страницах книги интересное и справедливое утверждение, с которым нельзя не согласиться, о существовании в конце XIX в. — в 1-й трети XX в. не только московской и петербургской, но и одесской русской речевой нормы. В основу этой нормы еще в XIX в. было положено одесское городское койне. Особенности одесской речевой нормы активно проникали в первой половине XX в. в русское общеупотребительное просторечие и даже в литературный язык.

Все вышеупомянутое дает основание сделать вывод о том, что научная монография Е.Н. Степанова "Російське мовлення Одеси" отличается новизной, честностью, систематичностью подходов, обоснованностью предлагаемых решений и является ценным вкладом в разработку актуальных вопросов социолингвистики.

Татьяна ТУЛИНА,
доктор филологических наук,
профессор Черкасского государственного университета

Издана обновленная версия книги Михаила Пойзнера "С Одессой надо лично говорить..." (дизайн Леонида Брука, иллюстрации Григория Палатникова), пользующейся большим читательским спросом. Предлагаем вашему вниманию предисловие, написанное членом редколлегии альманаха и одновременно близким другом автора этого замечательного издания.

Неисчерпаемость дружбы



Михаил ПОЙЗНЕР
С Одессой надо лично говорить...
Одесса, Полиграф, 2005

С Михаилом Борисовичем Пойзнером мы дружим много лет. Так много, что можно, казалось бы, изрядно обрыднуть друг дружке. Мы знаем друг о друге все и сверх того. Мы, вероятно, знаем друг друга лучше, чем самих себя. Мы уже просто отражаемся друг в друге, "как небо в воде". Куда же дальше? Куда ж, изъясняясь высоким штилем, нам плыть? Дальше, как принято говорить, некуда (тишина)?

Невероятно, но факт: несмотря на сказанное, нам, судя по всему, вовсе не грозит взаимное разочарование. Почему? Да потому, надо полагать, что в нас и, следовательно, в наших отношениях не угас потенциал роста. Коль скоро мы эволюционируем сами, соответственно эволюционируют и наши взаимоотношения, открываются их новые грани, пусть порой и шероховатые — я всегда говорил, что на гладкой поверхности не бывает хорошего сцепления с жизнью, которая продолжается.

Да, говорю я, жизнь длится и длится, вне зависимости от нашего в ней участия или неучастия. Жизнь не считается с нами, а мы, случается, притворяемся, что отвечаем ей взаимностью, то есть игнорируем. Как бы не так. Остается лишь один достойный выход — подыгрывать жизни, расцвечивать то и дело меркнущие ее краски. Иного не дано. А если кому по душе увлекательная жуть саморазрушения, так и это из области прав человека, на которые не смею посягать. Выбор за нами.

Михаил Пойзнер — пессимист по содержанию и оптимист по форме, а в итоге величайший гуманист — наполняет мир питательными соками жизнеутверждения во всех его проявлениях: в чутко подхваченной шутке, добром курьезе, стоической самоиронии, жизнелюбии "у бездны на краю" и "смерти вопреки". Горький привкус торжества — так бы я охарактеризовал все его "иллюстрации к жизни". Какие разные, кажется, проекты он осуществляет — "Из подсмотренного и подслушанного", "Корабли моего детства", "Одесса: оккупация, 1941-1944" — какие, казалось бы, полярные, в диапазоне от смешного до трагического! Предполагаю, М.Б. Пойзнер и сам не всегда отчетливо отдает себе отчет в побудительных мотивах, а просто-напросто моделирует горячие и не остывающие узлы (угли?) собственного сознания, его саднящие ожоги. Это пламя тяжко носить в себе безостановочно — выношенное, оно сжигает носителя изнутри, требуя выхода в мир, рождения. На обиходном языке такое человеческое свойство прозаически называют энергичностью или творческим потенциалом — всего-навсего. Есть и изысканные метафоры — "бродильное вещество" и т. д. В каких единицах измеряется количество означенной энергии, потенциала, "бродильного вещества" и т. п.? Черт его знает. Что касается Пойзнера, я говорил бы не об исчисленной энергоемкости, а о неисчерпаемости. Поскольку на очереди стоят уже несколько новых и очень мощных его издательских проектов, а там он непременно "забеременеет" следующими.

Но главное, что эгоистично продолжает радовать лично меня, — неисчерпаемость наших отношений. Я уже рассказывал о "Подсмотренном

и подслушанном", об абсолютном слухе Михаила Борисовича, умеющего выслушивать родной город с тою же заинтересованностью, с какой добрый доктор прослушивает легкие и сердце захворавшего ребенка. О его поистине героическом подвижничестве в реализации грандиозного проекта, связанного с изданием иллюстрированного альбома об оккупации Одессы в годы Великой Отечественной войны. Повторюсь: Пойзнер доводит до успешного завершения все свои проекты без исключения, даже и самые неподъемные, полуфантастические. И в этом как раз и заключается один из феноменов Его Личности, быть может, наиболее яркий, рельефный. На этом фоне как-то даже тускнеет и пропадает из виду основной, если хотите, профессиональный род занятий М. Б. — одного из ведущих специалистов (не только в масштабах страны!) в морской отрасли, академика, профессора, маститого ученого и блестящего педагога. Опять-таки, повествовал о том, как он спокойно (но не хладнокровно!) и, вместе с тем, самоотверженно решает дежурные проблемы всех своих друзей, а то и вовсе посторонних просителей. И, подчеркиваю, к решению этих "второстепенных", вроде бы, проблем Пойзнер относится столько же пламенно, сколько к осуществлению собственных проектов. У него нет градации типа "свое — чужое". И в этом другой значимый феномен Личности открывается мне во все большей широте или, как нынче говорят, в новом формате.

Могут заметить, возможно, что неуместно серьезничаю. Наверное. Хочу признаться: мне осточертел этот наш пожизненно ернический пошловатый "одесский тон", при котором всякая здравая мысль откаламбуривается, отфутболивается из области сознания в область звуковых эффектов. В конце концов, надо хотя бы изредка говорить друг другу нечто внятное. Ибо если этого не делать никогда, то жизнь профукивается коту под хвост и далее по тексту. Именно поэтому на страницах задорной, иронической, а то и как бы абсолютно абсентеистской книжки Михаила Пойзнера веселая или ехидная ухмылка нередко соседствует с гримасой боли, беспечность — с озабоченностью, радость — с горечью. Странно предположить, что еще живы одесситы, содрогающиеся от воспоминаний, в которых этот "милый город", "дивный город" "в акациях белых", такой доброжелательный, такой как бы хрестоматийно веротерпимый и интернациональный, предавал и в костную муку перемалывал своих граждан. Мир хрупок — вот один из лейтмотивов "легковесной" книжки Пойзнера, — мир на самом деле висит на честном слове, чтобы не сказать жестче. Мы видим это каждый божий день, видим и... не замечаем, безостановочно хмыкая и подначивая, отшучиваясь и открещиваясь. Михаил — по-

мнит, ненавязчиво напоминает. И он же парадоксально продолжает верить в счастливую исключительность этого города.

Михаил Борисович Пойзнер — великий романтик. Неясно, зачем я периодически пытаюсь его разуверить, призываю к взрослению? И что есть взросление? Потеря (дефлорация) веры в Деда Мороза, в чудеса, в сказку со счастливым исходом, в неизменную победу Добра над Злом? Пусть живет себе, поражая своею позитивною неисчерпаемостью, пусть продолжает персонифицировать Добро, пусть остается эксклюзивным Дедом Морозом — моим, моих детей, моих друзей. Ему много отпущено, он много и отдает. Вот и вам досталось. Читайте!

Олег ГУБАРЬ



"Прощай!"



Много лет назад Григорий Поженян назвал так свой фильм, действие которого разворачивается в годы Великой Отечественной на Черном море.

В этой работе, на мой взгляд, сполна реализовался основной принцип классицизма: единство времени, места действия и характера героя. А еще — эту ленту сегодня можно смело отнести к авторскому кино, хотя сорок лет назад ни искусствоведы, ни сам автор такого термина не знали. Поженян — хотя и не был профессиональным кинематографистом — не только написал сценарий и тексты песен, но блестяще справился с ролью режиссера-постановщика.

Он был одарен во всем. И в цирковом деле (в трудном отрочестве зарабатывал на хлеб "верхним" в труппе акробатов), и в боксе (курсантом военно-морского училища стал чемпионом Черноморского флота в весе "перышка"), и в ратном труде (начал войну матросом-разведчиком, закончил капитан-лейтенантом, командиром группы спецназа), и в поэтическом (его сборники — на золотой полке российской словесности)...



Предложение-перечисление получилось длинным, но и оно не вместило всех достоинств и особенностей Григория Михайловича. Пожалуй, лучше всего прибегнуть к сравнению. По убеждению друзей, поклонников и поклонниц, Григорий Поженян был удивительно схож с героем первой Отечественной войны 1812 года, поэтом и воином Денисом Давыдовым. И отвагой, при этом не только в бою (на миру и смерть красна...), но и в обыденной жизни. Он бил морду стукачам в литинституте, несколько раз становился невыездным и непечатаемым за то, что отказывался участвовать в травле диссидентов и подписывал письма в их защиту... Да и умением очаровывать барышень и дам гусарский полковник и каплей-черноморец отличались смолоду и до поздних седин...

Поженян сражался и на Черном море, и на Северном, на Дунае и на



многих участках театра военных действий, участвовал в диверсионных операциях, о которых не рассказывал нам даже во время дружеских застолий. Они случались в дни круглых и не только годовщин Победы, когда он приезжал в наш город. Ему были бы рады, его ждали в Севастополе и Рыбачьем, Москве и Керчи, но Григорий Михайлович выбирал Одессу, может быть потому, что здесь началась его легендарная фронтовая судьба. Он рассказал о своей юности в еще одном замечательном фильме — "Жажда". О том, как в знойном августе 1941-го отряд флотских разведчиков взял штурмом Беляевскую насосную станцию и на несколько часов дал воду осажденной Одессе. Мама рассказывала, как набирала ее в ведра, кастрюли, плошки и затем несколько дней поила меня — полуторагодовалого...

Разведчики базировались в здании холодильного института — Пастера, 27. На мемориальной доске выбиты фамилии бойцов, и среди них — Григорий Поженян. Об этом его стихи:

Это было — трижды десять —
тридцать с лишним
лет назад.
В южной солнечной Одессе
шел по улице отряд...

Удивительное совпадение — мистика цифр...

Поженян написал эти строки в 1971 году, когда отмечалось 30-летие начала обороны Одессы. Он был почетным гостем города и впервые читал балладу об Отряде на обрывистом склоне вблизи Мемориала 411-ой батареи. Тогда он удостоил меня своей дружбы и подарил сборник с этим стихотворением...

И вот вновь прошли "трижды десять — тридцать с лишним лет"...

Сентябрь 2005 года стал последним в долгой жизни Григория Михайловича. Удивительно, но и в XXI веке он оставался не просто классиком и ветераном, но блистательным, востребованным поэтом и благородным гражданином.

Свидетельство тому — его страстные и полные убедительного пафоса

выступления в защиту памяти героев Великой Отечественной, русского языка и культуры.

Свидетельство тому — стихи, которые он за год до Ухода подарил нашему альманаху, членом редакционного совета которого был с первых номеров:

Так издавна заведено
под нашим непреклонным небом:
одним — всегда рождаться хлебом,
другим — молоть его зерно.
Но все старанья не пусты.
Жить можно и без одобренья.
Хватило б сил и прямоты,
и краткой жизни для прозренья.

Много лет Григорий Михайлович жил и работал в Переделкино, откуда в Одессу приходили бандероли со стихами, новые сборники, его письма — удивительно сердечные, но и с вполне заслуженной мною ехидцей...

В 1960 году на похоронах опального Бориса Пастернака Григорий Поженян положил на его грудь стихи, написанные в этот день.

В 2005-м ученик упокоился на одном Погосте с учителем.

Феликс КОХРИХТ

Содержание

От редакции 3

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Александр ТРЕТЬЯК
Система порто-франко в Одессе 6

Елена ПОЛЕВЩИКОВА
Неизвестное и известное о маркизе де Кастельно 15

Олег ГУБАРЬ
Военный спуск 27

Елена ДЬЯКОВА
А будет ли праздник на улице Щепкина? 36

Вадим КОРОБ
В походе 44

ВИКТОРУ СЕМЕНОВИЧУ ФЕЛЬДМАНУ – 90!
Олег ГУБАРЬ
Одессит до седьмого колена 54

ПРОЗА

Виктор МАТИЗЕН
Созвездие Кролика 57

Андрей КРАСНОЖОН
Нерубайский underграунд 61

Владимир КАТКЕВИЧ
Окольцевали 74

Леонид ЗИЛЬБЕР
Государственная тайна 78

Анатолий КОНТУШ
Краткая история пьянства 82

Владимир ЕФИМЕНКО
Бах 98

Константин К.
Индульгенция на вседозволенность 101

ОДЕССА – ДЮССЕЛЬДОРФ
Галина ПЕДАХОВСКАЯ
Ночь в Амстердаме 105

Раф АЙЗЕНШТАДТ
Revisor 128

ПОЭЗИЯ

Юрий МИХАЙЛИК
"Из тех, кто помнил мой город..." 138

Елена ИСАЕВА
Хорошо и просто 143

Аркадий КОБЗЕНКО
"Живут счастливо наши души..." 146

Юрий ШТЕРН
"...Я живу в Ерусалиме" 150

Вячеслав ТУЛЯКОВ
Осенний дождь 152

Олексій МАРДАШКО
"Осінь ступає, кроки розмірені..." 155

ВИАГРА

Олег ГУБАРЬ
Честное слово 159

Игорь БОЖКО
Виагра 162

Кира САПГИР
Дуэт Соломона и царицы Савской 168

Татьяна ОРБАТОВА
Home Art 170

ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО – ЖИЗНЬ

Роман БРОДАВКО
Саксаганский возвращается в Одессу 174

Евгения РУДЫХ
Поэт 178

Аркадий ЛЬВОВ
Александрийский многочлен 183

Валентина ГОЛУБОВСКАЯ
Мраморы Каррары 195

Ирина ТИМОХОВА
Памяти Станислава Сычева 201

Ольга БАРКОВСКАЯ
"Красок дым волнующий и тонкий..." 208

Белла ВЕРНИКОВА
Кстати, о птичках 218

ПУБЛИКАЦИИ

Ирина ТЮТЮННИК-ВИШНЕВСКАЯ
Наш учитель по имени Лева 231

ДИА-МОНО-ЛОГИ
Вся европейская цивилизация порождена морем 237
Публикация Юлии ЖАРКОВОЙ

Божена СУРУШКИНА
Записки эмигрантки 245

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"Стать полезным винтом в машине..." 255

АХ, ОДЕССА

Олег ГУБАРЬ
Инвестор 279

Олег СОЛЯЩАНСКИЙ
Выпускной альбом 282

Лада ПРОКОПОВИЧ
Шишки, акации и березки 285

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" — пятый угол 296

ПУТЕШЕСТВИЕ

Феликс КОХРИХТ
"Что за прелесть Люцерн..." 294

ИЗДАНО В ОДЕССЕ

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Виртуальный ансамбль 301

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Возрождение праздников 305

Феликс КОХРИХТ
"Вся жизнь моя доведена до снов..." 306

Татьяна ТУЛИНА
Одесское языковое чудо 307

Олег ГУБАРЬ
Неисчерпаемость дружбы 309

Феликс КОХРИХТ
"Прощай!" 313

Литературно-художественное издание

ДЕРИБАСОВСКАЯ — РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Одесский альманах

Книга 23

DERIBASOVSKAYA — RISHELIEVSKAYA

Odessa almanac

Book 23

Издается с 2000 года

Технический редактор Андрей Вишненко
Корректор Татьяна Коциевская

Оригинал-макет, верстка
ТИА "Вікна-Одеса"
Тел. 23-13-60

Подписано в печать хх.хх.2005.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60х84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Зак. № 2. Тираж 500 экз.

www.odessitclub.org

Отпечатано в типографии издательства "ВМВ"
Свидетельство ДК № 225 от 25.12.2000.
65053 Одесса, прт. Добровольского, 82-а
Тел. 52-22-03